Николай Лесков



НА КРАЮ СВЕТА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЧУДЕСА

На краю света (сборник)
Николай Семёнович Лесков

Аннотация
Николай Семёнович Лесков. На краю света (сборник)
На краю света
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Глава одиннадцатая
- Глава двенадцатая
- Глава тринадцатая

Очарованный странник
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая

Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Мелочи архиерейской жизни. (Картинки с натуры)
Предисловие к первому изданию
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая

Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая

Аннотация

Н. С. Лесков, выходец из духовенства, лучше всех своих современников раскрыл тему праведности и греха, подлинной святости и оголтелого безбожия. В основе произведения «На краю света» лежит подлинный случай из миссионерской деятельности в Сибири Ярославского архиепископа Нила. В своей повести Лесков описывает жизнь одного из наиболее угнетенных «диких» народов России, обреченных на смерть. Долгий путь к раскаянию и обретению душевного покоя предстоит герою «Очарованного странника».

Портреты архиереев в разных жизненных ситуациях автор оценивает с точки зрения здравомыслящего человека в повести «Мелочи архиерейской жизни».

Николай Семёнович Лесков
На краю света (сборник)

© ООО «Издательство АСТ», 2018

На краю света

Глава первая

*Р*анним вечером, на Святках, мы сидели за чайным столом в большой голубой гостиной архиерейского дома. Нас было семь человек, восьмой наш хозяин, тогда уже весьма престарелый архиепископ, больной и немощный. Гости были люди просвещенные, и между ними шел интересный разговор о нашей вере и о нашем неверии, о нашем проповедничестве в храмах и о просветительных трудах наших миссий на Востоке. В числе собеседников находился некто флота капитан Б., очень добрый человек, но большой нападчик на русское духовенство. Он твердил, что наши миссионеры совершенно неспособны к своему делу, и радовался, что правительство разрешило теперь трудиться на пользу слова божия чужеземным евангелическим пасторам. Б. выражал твердую уверенность, что эти проповедники будут у нас иметь огромный успех не среди одних евреев и докажут, как два и два — четыре, неспособность русского духовенства к миссионерской проповеди.

Наш почтенный хозяин в продолжение этого разговора хранил глубокое молчание: он сидел

с покрытыми пледом ногами в своем глубоком вольтеровском кресле и, по-видимому, думал о чем-то другом; но когда Б. кончил, старый владыка вздохнул и проговорил:

— Мне кажется, господа, что вы господина капитана напрасно бы стали оспаривать; я думаю, что он прав: чужеземные миссионеры положительно должны иметь у нас большой успех.

— Я очень счастлив, владыко, что вы разделяете мое мнение, — отвечал капитан Б. и, сделав вслед за сим несколько самых благопристойных и тонких комплиментов известной образованности ума и благородству характера архиерея, добавил:

— Ваше высокопреосвященство, разумеется, лучше меня знаете все недостатки русской церкви, где, конечно, среди духовенства есть люди и очень умные и очень добрые, — я этого никак не стану оспаривать, но они едва ли понимают Христа. Их положение и прочее… заставляет их толковать все… слишком узко.

Архиерей посмотрел на него, улыбнулся и ответил:

— Да, господин капитан, скромность моя не оскорбится признать, что я, может быть, не хуже вас знаю все скорби церкви; но справедливость была бы оскорблена, если бы я решился признать

вместе с вами, что в России го́спода Христа понимают менее, чем в Тюбингене, Лондоне или Женеве.

— Об этом, владыко, еще можно спорить.

Архиерей снова улыбнулся и сказал:

— А вы, я вижу, охочи спорить. Что с вами делать! От спора мы воздержимся, а беседовать — давайте.

И с этим словом он взял со стола большой, богато украшенный резьбою из слоновой кости, альбом и, раскрыв его, сказал:

— Вот наш Господь! Зову вас посмотреть! Здесь я собрал много изображений его лица. Вот он сидит у кладезя с женой самаритянской — работа дивная; художник, надо думать, понимал и лицо и момент.

— Да; мне тоже кажется, владыко, что это сделано с понятием, — отвечал Б.

— Однако нет ли здесь в божественном лице излишней мягкости? не кажется ли вам, что ему уж слишком все равно, сколько эта женщина имела мужей и что нынешний муж — ей не муж?

Все молчали; архиерей это заметил и продолжал:

— Мне кажется, сюда немного строгого внимания было бы чертой нелишнею.

— Вы правы может быть, владыко.

— Распространенная картина; мне доводилось ее часто видеть, по преимуществу у дам. Посмотрим далее. Опять великий мастер. Христа целует здесь Иуда. Как кажется вам здесь господень лик? Какая сдержанность и доброта! Не правда ли? Прекрасное изображение!

— Прекрасный лик!

— Однако не слишком ли много здесь усилия сдерживаться? Смотрите: левая щека, мне кажется, дрожит, и на устах как бы гадливость.

— Конечно, это есть, владыко.

— О да; да ведь Иуда ее уж, разумеется, и стоил; и раб и льстец — он очень мог ее вызвать у всякого… только, впрочем, не у Христа, который ничем не брезговал, а всех жалел. Ну, мы этого пропустим; он нас, кажется, не совсем удовлетворяет, хотя я знаю одного большого сановника, который мне говорил, что он удачнее этого изображения Христа представить себе не может. Вот вновь Христос, и тоже кисть великая писала — Тициан: перед Господом стоит коварный фарисей с динарием. Смотрите-ка, какой лукавый старец, но Христос… Христос… Ох, я боюсь! смотрите: нет ли тут презрения на его лице?

— Оно и быть могло, владыко!

— Могло, не спорю: старец гадок; но я, молясь, таким себе не мыслю Господа и думаю, что это неудобно? Не правда ли?

Мы отвечали согласием, находя, что представлять лицо Христа в таком выражении неудобно, особенно вознося к нему молитвы.

— Совершенно с вами в этом согласен и даже припоминаю себе об этом спор мой некогда с одним дипломатом, которому этот Христос только и нравился; но, впрочем, что же?… момент дипломатический. Но пойдемте далее: вот тут уже, с этих мест у меня начинаются одинокие изображения Господа, без соседей. Вот вам снимок с прекрасной головы скульптора Кауера: хорош, хорош! — ни слова; но мне, воля ваша, эта академическая голова напоминает гораздо менее Христа, чем Платона. Вот он, еще… какой страдалец… какой ужасный вид придал ему Метсу!.. Не понимаю, зачем он его так избил, иссек и искровянил?… Это, право, ужасно! Опухли веки, кровь и синяки… весь дух, кажется, из него выбит, и на одно страдающее тело уж смотреть даже страшно… Перевернем скорей. Он тут внушает только сострадание, и ничего более. — Вот вам Лафон, может быть и небольшой художник, да на многих нынче хорошо потрафил; он, как видите,

понял Христа иначе, чем все предыдущие, и иначе его себе и нам представил: фигура стройная и привлекательная, лик добрый, голубиный взгляд под чистым лбом, и как легко волнуются здесь кудри: тут локоны, тут эти петушки, крутясь, легли на лбу. Красиво, право! а на руке его пылает сердце, обвитое терновою лозою. Это «Sacre coeur»[1], что отцы иезуиты проповедуют; мне кто-то сказывал, что они и вдохновляли сего господина Лафона чертить это изображение; но оно, впрочем, нравится и тем, которые думают, что у них нет ничего общего с отцами иезуитами. Помню, мне как-то раз, в лютый мороз, довелось заехать в Петербурге к одному русскому князю, который показывал мне чудеса своих палат, и вот там, не совсем на месте — в зимнем саду, я увидел впервые этого Христа. Картина в рамочке стояла на столе, перед которым сидела княгиня и мечтала. Прекрасная была обстановка: пальмы, аурумы, бананы, щебечут и порхают птички, и она мечтает. О чем? Она мне сказала: «ищет Христа». Я тогда и всмотрелся в это изображение. Действительно, смотрите, как он эффектно выходит, или, лучше сказать, износится, из этой тьмы;

---

[1] Примечания: 1

«*Sacré coeur*» («Пресвятое сердце») — культ Сердца Христова, возникший в XVII веке во Франции.

за ним ничего: ни этих пророков, которые докучали всем, бегая в своих лохмотьях и цепляясь даже за царские колесницы, — ничего этого нет, а только тьма… тьма фантазии. Эта дама, — пошли ей бог здоровья, — первая мне и объяснила тайну, как находить Христа, после чего я и не спорю с господином капитаном, что иностранные проповедники у нас не одним жидам его покажут, а всем, кому хочется, чтобы он пришел под пальмы и бананы слушать канареек. Только он ли туда придет? Не пришел бы под его след кто другой к ним? Признаюсь вам, я этому щеголеватому канареечному Христу охотно предпочел бы вот эту жидоватую главу Гверчино, хотя и она говорит мне только о добром и восторженном раввине, которого, по определению господина Ренана, можно было любить и с удовольствием слушать… И вот вам сколько пониманий и представлений о том, кто один всем нам на потребу! Закроем теперь все это, и обернитесь к углу, к которому стоите спиною: опять лик Христов, и уже на сей раз это именно не лицо, — а лик. Типическое русское изображение Господа: взгляд прям и прост, темя возвышенное, что, как известно, и по системе Лафатера означает способность возвышенного богопочтения; в лике есть выражение,

но нет страстей. Как достигали такой прелести изображения наши старые мастера? — это осталось их тайной, которая и умерла вместе с ними и с их отверженным искусством. Просто — до невозможности желать простейшего в искусстве: черты чуть слегка означены, а впечатление полно; мужиковат он, правда, но при всем том ему подобает поклонение, и как кому угодно, а по-моему, наш простодушный мастер лучше всех понял — кого ему надо было написать. Мужиковат он, повторяю вам, и в зимний сад его не позовут послушать канареек, да что́ беды! — где он каким открылся, там таким и ходит; а к нам зашел он в рабьем зраке и так и ходит, не имея где главы приклонить от Петербурга до Камчатки. Знать ему это нравится принимать с нами поношения от тех, кто пьет кровь его и ее же проливает. И вот, в эту же меру, в какую, по-моему, проще и удачнее наше народное искусство поняло внешние черты Христова изображения, и народный дух наш, может быть, ближе к истине постиг и внутренние черты его характера. Не хотите ли, я вам расскажу некоторый, может быть не лишенный интереса, анекдот на этот случай.

— Ах, сделайте милость, владыко; мы все вас просим об этом!

— А, просите? — так и прекрасно: тогда и я вас прошу слушать и не перебивать, что я начну сказывать довольно издали.

Мы откашлянулись, поправились на местах, чтобы не шевелиться, и архиерей начал.

Глава вторая

— Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лет назад: это будет относиться к тому времени, когда я еще, можно сказать довольно молодым человеком, был поставлен во епископы, в весьма отдаленную сибирскую епархию. Я был от природы нрава пылкого и любил, чтобы у меня было много дела, а потому не только не опечалился, а даже очень обрадовался этому дальнему назначению. Слава богу, думал я, что мне хотя для начала-то выпало на долю не только ставленников[2] стричь да пьяных дьячков разбирать, а настоящее живое дело, которым можно с любовию заняться. Я разумел именно то наше малоуспешное миссионерство, о котором господин капитан изволил вспомнить в начале нашей сегодняшней беседы. Ехал я к своему месту, пылая рвением и с планами самыми обширными, и сразу же было и всю свою энергию остудил и, что еще важнее, — чуть-чуть было самого дела не перепортил, если бы мне не дан был спасительный урок в одном чудесном событии.

---

[2] Примечания: 2

Ставленник — лицо, готовящееся принять духовный сан.

— Чудесное! — воскликнул кто-то из слушателей, позабыв условие не перебивать рассказа; но наш снисходительный хозяин за это не рассердился и отвечал:

— Да, господа, обмолвясь словом, могу его не брать назад: в том, что со мною случилось и о чем начал вам рассказывать — не без чудес, и чудеса эти начали мне являться чуть не с самого первого дня моего прибытия в мою полудикую епархию. Первое дело, с которого начинает свою деятельность русский архиерей, куда бы он ни попал, конечно есть обозрение внешности храмов и богослужения, — к этому обратился и я: велел, чтобы везде были приняты прочь с престолов лишние Евангелия и кресты, благодаря которым эти престолы у нас часто превращаются в какие-то выставки магазина церковной утвари. Заказал себе столько ковриков с орлецами[3], сколько нужно было, чтобы они лежали на своих местах, чтобы не шмыгали у меня с ними под носом, подбрасывая их под ноги. С усилием и под страхом штрафов воздерживал дьяконов не

[3] Примечания: 3

Орлец — круглый коврик с изображением града и орла, подкладываемый под ноги епископу во время богослужения; град — в знак его епископства во граде, орел — в знак чистого и правильного богословского учения (орел — символ высокого парения духа Иоанна Богослова).

ловить меня во время служения за локти и не забираться рядом со мною на горнее место[4], а наипаче всего не наделять тумаками и подзагривками бедных ставленников, у которых оттого, после приятия благодати Святого Духа, недели по две и загорбок и шея болит. И никто из вас мне не поверит, сколько все это стоит труда и какие приносит досады, особенно человеку нетерпеливому, каким я тогда был и остаюсь таковым же, к моему стыду, отчасти и доселе. Окончилось с этим, — надо было приниматься за второе архиерейское дело первой важности: удостовериться, умеют ли причетники читать хоть уж если не по писаному, то по крайней мере по печатному. Эти экзамены долго меня заняли и сильно досаждали мне, а порою и смешили. Безграмотный, или по крайней мере «неписьменный», дьячок или пономарь и теперь еще, пожалуй, отыщется в селе или в уездном городишке и внутри России, что и оказалось, когда им, несколько лет тому назад, пришлось в первый раз расписываться в получении жалованья. Но тогда, — во время оно, да еще в Сибири, — это было явление самое обыкновенное. Я их велел учить; они на меня,

[4] Примечания: 4
Горнее место — возвышение за престолом в алтаре.

разумеется, плакались и прозвали меня «лютым»; приходы жаловались, что нет чтецов, что архиерей «церкви разоряет». Что тут делать! я стал отпускать на места таких дьячков, которые хоть на память читать умели, и — о боже! — что за людей я видел! Косые, хромые, гугнявые, юродивые и даже… какие-то одержимые. Один вместо «приидите, поклонимся Цареви нашему Богу», закрыв глаза, как перепел, колотил: «плитимбоу, плитимбоу» и заливался этим так, что удержать его было невозможно. Другой — уже это именно был одержимый, — он так искусился в скорохвате, что с каким-нибудь известным словом у него являлась своя ассоциация идей, которой он никак не мог не подчиняться. Такое слово для него было, например, «на небеси». Начнет читать: «Иже на всякое время, на всякий час на небеси…» и вдруг у него что-то в голове защелкнет, и он продолжает: «да святится Имя Твое, да приидет царствие». Что я с этим тираном ни мучился, все было тщетно! Велел ему по книге читать, — читает: «Иже на всякое время, на всякий час на небеси», но вдруг закрыл книгу и пошел: «да святится имя Твое», и залопотал до конца, и возглашает: «от лукавого». Только тут и остановиться мог: оказалось, что он не умеет читать. За грамотностью дьячков

очередь переходит к благонравию семинаристов, и опять начинаются чудеса. Семинария была до того распущена, воспитанники пьянствовали и до того бесчинствовали, что, например, один философ при инспекторе, кончая вечерние молитвы, прочел: «упование мое — Отец, прибежище мое — Сын, покров мой — Дух Святый: Троица Святая, — *мое вам почтение*»; а в богословском классе другая история: один после обеда благодарит, «яко насытил земных благ», и просит не лишить и «небесного царствия», а ему из толпы кричат: «Свинья! нажрался, да еще в царство небесное просишься».

Надо было подыскать как можно скорее инспектора, подходящего под мой дух, — тоже лютого; при большой спешности и небольшом выборе попался такой: лютости в нем оказалось довольно, но уже зато ничего другого не спрашивай.

— Я, — говорит, — ваше преосвященство, приму все это по-военному, чтобы сразу…

— Хорошо, — отвечаю, — примись по-военному…

Он и принялся и с того начал, что молитвы распорядился не читать, но петь хором, дабы устранить всякие шалости, и то петь по его команде. Взойдет он при полном молчании и, пока

не скомандует, все безмолвствуют; скомандует: «Молитву!» и запоют. Но этот уже очень «по-военному» уставил; скомандует: «Молитв-у-у!» Семинаристы только запоют «Очи всех, Господи, на Тя упов…» — он на половине слова кричит: «Ст-о-ой!» и подзывает одного:

— Фролов, поди сюда!

Тот подходит.

— Ты Багреев?

— Нет-с, я Фролов.

— А-а: ты Фролов?! Отчего же это я думал, что ты Багреев?

Опять хохот, и опять ко мне жалобы. Нет, вижу — не годится этот с военными приемами, и нашел кое-как цивилиста[5], который был хотя не столь лют, но благоразумнее действовал: перед учениками притворялся самым слабым добряком, а мне все ябедничал и повсюду рассказывал ужасы о моем зверстве. Я это знал и, видя, что эта мера оказывается действительною, не претил его системе.

Насилу этих своею «лютостию» в повиновение привел, в зрелом возрасте чудеса пошли: доносят мне, что в соборного протоиерея воз сена в

---

[5] Примечания: 5

Цивилист — здесь: штатский.

середину въехал и не может выехать. Посылаю узнавать; говорят: действительно так. Протопоп был тучный; после обедни крестил в купеческом доме и вдоволь облепихою угостился, а что от этой облепихи, что от другой тамошней ягоды, дикуши[6], хмель самый тяжелый и глупый. То и с этим сталось: пришел домой, часа четыре заснул, встал и, выпив жбан квасу, лег грудью на окно, чтобы поговорить с кем-то, кто внизу стоял, и вдруг… воз с сеном в него въехал. Ведь все это глупое такое, что даже противно сделается, а разделается, так, пожалуй, еще противней станет. На другой день келейник подает мне сапоги и докладывает, что «слава богу, говорит, из отца протопопа воз с сеном уже выехал».

— Очень рад, — говорю, — таковой радости; но подай-ка мне эту историю обстоятельно.

Оказывается, что протопоп, имевший двухэтажный дом, лег на окно, под которым были ворота, и в них в эту минуту въехал воз с сеном, причем ему, от облепихи и от сна до одури, показалось, что это в него въехало. Невероятно, но, однако, так было: credo, quia absurdum.[7]

---

[6] Примечания: 6

Дикуша — сибирская черная смородина.

[7] Примечания: 7

Верю, потому что нелепо (*лат.*).

Как же сего дивотворного мужа спасли?

А тоже дивотворно: встать он ни за что не соглашался, потому что в нем воз сидит; лекарь не находил лекарства против сего недуга. Тогда шаманку призвали; та повертелась, постучала и велела на дворе воз сена наложить и назад выехать; больной принял, что это из него выехало, и исцелел.

Ну, после этого делайте с ним что хотите, а он свое уже сделал: и людей насмешил, и шаманку призвал идольскими чарами его пользовать; а такие вещи там не в мешочке лежат, а по дорожке бежат. «Что-де попы, — они ничего не значат и сами наших шаманов зовут шайтана отгонять». И идут себе да идут этакие глупости. Долго я приправлял, как мог, сии дымящие лампады, и приходская часть мне через них невыносимо надокучила; но зато настал давно желанный и вожделенный миг, когда я мог всего себя посвятить трудам по просвещению диких овец моей паствы, пасущихся без пастыря.

Забрал я себе все касающиеся этой части бумаги и присел за них вплотную, так что и от стола не отхожу.

Глава третья

Ознакомясь с миссионерскими отчетностями, я остался всею деятельностью недоволен более, чем деятельностью моего приходского духовенства: обращений в христианство было чрезвычайно мало, да и то ясно было, что добрая доля этих обращений значилась только на бумаге. На самом же деле одни из крещеных снова возвращались в свою прежнюю веру — ламайскую или шаманскую; а другие делали из всех этих вер самое странное и нелепое смешение: они молились и Христу с его апостолами, и Будде с его буддисидами[8] да тенгеринами[9], и войлочным сумочкам с шаманскими ангонами[10]. Двоеверие держалось не у одних кочевников, а почти и повсеместно в моей пастве, которая не представляла отдельной ветви какой-нибудь

---

[8] Примечания: 8

Буддисиды — существа, достигшие совершенства в следовании учению Будды; боги и полубоги.

[9] Примечания: 9

Тенгерины — в шаманизме — духи, олицетворяющие природу, стихии и т. д.

[10] Примечания: 10

Ангоны (или онгоны) — шаманские идолы, олицетворяющие души умерших предков.

одной народности, а какие-то щепы и осколки бог весть когда и откуда сюда попавших племенных разновидностей, бедных по языку и еще более бедных по понятиям и фантазии. Видя, что все, касающееся миссионерства, находится здесь в таком хаосе, я возымел об этих моих сотрудниках мнение самое невыгодное и обошелся с ними нетерпеливо сурово. Вообще я стал очень раздражителен, и данное мне прозвище «лютого» начало мне приличествовать. Особенно испытал на себе печать моего гневливого нетерпения бедный монастырек, который я избрал для своего жительства и при котором желал основать школу для местных инородцев. Расспросив чернецов, я узнал, что в городе почти все говорят по-якутски, но из моих иноков изо всех по-инородчески говорит только один очень престарелый иеромонах, отец Кириак, да и тот к делу проповеди не годится, а если и годится, то, хоть его убей, не хочет идти к диким проповедовать.

— Что это, — спрашиваю, — за ослушник, и как он смеет? Сказать ему, что я этого не люблю и не потерплю.

Но экклезиарх мне отвечает, что слова мои передаст, но послушания от Кириака не ожидает, потому что это уже ему не первое: что и два мои

быстро друг за другом сменившиеся предместника с ним строгость пробовали, но он уперся и одно отвечает:

— «Душу за моего Христа положить рад, а крестить там (то есть в пустынях) не стану». Даже, говорит, сам просил лучше сана его лишить, но туда не посылать. И от священнодействия много лет был за это ослушание запрещен, но нимало тем не тяготился, а, напротив, с радостью нес самую простую службу: то сторожем, то в звонарне. И всеми любим: и братией, и мирянами, и даже язычниками.

— Как? — удивляюсь, — неужто даже и язычниками?

— Да, владыко, и язычники к нему иные заходят.

— За каким же делом?

— Уважают его как-то исстари, когда еще он на проповедь ездил в прежнее время.

— Да каков он был в то, в прежнее-то время?

— Прежде самый успешный миссионер был и множество людей обращал.

— Что же ему такое сделалось? отчего он бросил эту деятельность?

— Понять нельзя, владыко; вдруг ему что-то приключилось: вернулся из степей, принес в

алтарь мирницу и дароносицу[11] и говорит: «Ставлю и не возьму опять, доколе не придет час».

— Какой же ему нужен час? что он под сим разумеет?

— Не знаю, владыко.

— Да неужто же вы у него никто этого не добивались? О, роде лукавый, доколе живу с вами и терплю вас? Как вас это ничто, дела касающееся, не интересует? Попомните себе, что если тех, кои ни горячи, ни холодны, Господь обещал изблевать с уст своих, то чего удостоитесь вы, совершенно холодные?

Но мой экклезиарх оправдывается:

— Всячески, — говорит, — владыко, мы у него любопытствовали, но он одно отвечает: «Нет, говорит, детушки, это дело не шутка, — это страшное… я на это смотреть не могу».

А что такое страшное, на это экклезиарх не мог мне ничего обстоятельного ответить, а сказал только, что «полагаем-де так, что отцу Кириаку при проповеди какое-либо откровение было».

---

[11] Примечания: 11

Мирница — сосуд для хранения миро — благовонного масла, освящаемого для последующего за таинством крещения миропомазания.

Дароносица — сосуд, в котором хранятся святые дары (освященные для причастия хлеб и вино).

Меня это рассердило. Признаюсь вам, я недолюбливаю этот ассортимент «слывущих», которые вживе чудеса творят и непосредственными откровениями хвалятся, и причины имею их недолюбливать. А потому я сейчас же потребовал этого строптивого Кириака к себе и, не довольствуясь тем, что уже достаточно слыл грозным и лютым, взял да еще принасупился: был готов опалить его гневом, как только покажется. Но пришел к моим очам монашек такой маленький, такой тихий, что не на кого и взоров метать; одет в облинялой коленкоровой ряске, клобук толстым сукном покрыт, собой черненький, востролиценький, а входит бодро, без всякого подобострастия, и первый меня приветствует:

— Здравствуй, владыко!

Я не отвечаю на его приветствие, а начинаю сурово:

— Ты что это здесь чудишь, приятель?

— Как, — говорит, — владыко? Прости, будь милостив: я маленько на ухо туг — не все дослышал.

Я еще погромче повторил.

— Теперь, мол, понял?

— Нет, — отвечает, — ничего не понял.

— А почему ты с проповедью идти не хочешь и

крестить инородцев избегаешь?

— Я, — говорит, — владыко, ездил и крестил, пока опыта не имел.

— Да, мол, а опыт получивши, и перестал?

— Перестал.

— Что же сему за причина?

Вздохнул и отвечает:

— В сердце моем сия причина, владыко, и сердцеведец ее видит, что велика она и мне. немощному, непосильна… Не могу!

И с сим в ноги мне поклонился. Я его поднял и говорю:

— Ты мне не кланяйся, а объясни: что ты, откровение, что ли, какое получил или с самим Богом беседовал?

Он с кроткою укоризною отвечает:

— Не смейся, владыко; я не Моисей, божий избранник, чтобы мне с Богом беседовать; тебе грех так думать.

Я устыдился своего пыла и смягчился, и говорю ему:

— Так что же? за чем дело?

— А за тем, видно, и дело, — отвечает, — что я не Моисей, что я, владыко, робок и свою силу-меру знаю: из Египта-то языческого я вывесть — выведу, а Чермного моря не рассеку и из степи

не выведу, и воздвигну простые сердца на ропот к преобиде духа святого.

Видя этакую образность в его живой речи, я было заключил, что он, вероятно, сам из раскольников, и спрашиваю:

— Да ты сам-то каким чудом в единение с церковью приведен?

— Я, — отвечает, — в единении с нею с моего младенчества и пребуду в нем даже до гроба.

И рассказал мне препростое и престранное свое происхождение. Отец у него был поп, рано овдовел; повенчал какую-то незаконную свадьбу и был лишен места, да так, что всю жизнь потом не мог себе его нигде отыскать, а состоял при некоей пожилой важной даме, которая всю жизнь с места на место ездила и, боясь умереть без покаяния, для этого случая сего попа при себе возила. Едет она — он на передней лавочке с нею в карете сидит; а она в дом войдет — он в передней с лакеями ее ожидает. И можете себе вообразить человека, у которого этакая была вся жизнь! А между тем он, не имея уже своего алтаря, питался буквально от своей дароносицы, которая с ним за пазухою путешествовала, и на сынишку он у этой дамы какие-то крохи вымаливал, чтобы в училище его содержать. Так они и в Сибирь попали: барыня

сюда поехала дочь навестить, которая была тут за губернатором замужем, и попа с дароносицей на передней лавочке привезла. Но как путь был далекий, да к тому же еще барыня тут долго оставаться собиралась, то попик, любя сынишку, не соглашался без него ехать. Барыня подумала-подумала — и, видя, что ей родительских чувств не переупрямить, согласилась и взяла с собою и мальчишку. Так он сзади за каретою переехал из Европы в Азию, имея при сем путевым долгом охранять своим присутствием привязанный на запятках чемодан, на котором и самого его привязали, дабы сонный не свалился. Тут и его барыня и его отец умерли, а он остался, за бедностию курса не кончил, в солдаты попал, этап водил. Имея меткий глаз, по приказанию начальства, не целясь, вдогон за каким-то беглым пулю пустил и без всякого желания, на свое горе, убил того, и с той поры он все страдал, все мучился и, сделавшись негодным к службе, в монахи пошел, где его отличное поведение было замечено, а знание инородческого языка и его религиозность побудили склонить его к миссионерству.

Выслушал я эту простую, но трогательную повесть старика, и стало мне его до жуткости жалко, и чтобы переменить с ним тон, я ему говорю:

— Так, стало быть, это, что подозревают, будто ты чудеса какие-нибудь видел, это неправда?

Но он отвечает:

— Отчего же, владыко, неправда?

— Как?… так ты видел чудеса?

— Кто же, владыко, чудес не видел?

— Однако?

— Что однако? Куда ни глянь — все чудо: вода ходит в облаке, воздух землю держит, как перышко; вот мы с тобою прах и пепел, а движемся и мыслим, и то мне чудесно; а умрем, и прах рассыпется, а дух пойдет к тому, кто его в нас заключил. И то мне чудно: как он наг безо всего пойдет? кто ему крыла даст, яко голубице, да полетит и почиет?

— Ну, это-то, мол, мы оставим другим рассуждать, а ты скажи мне, не виляя умом: не было ли с тобою в жизни каких-либо необычайных явлений или чего иного в сем роде?

— Было отчасти и это.

— Что же такое?

— Очень, — говорит, — владыко, с детства я был взыскан божиею милостию и недостойно получал дважды чудесные заступления.

— Гм? рассказывай.

— Первый раз это было, владыко, в сущем

младенчестве. В третьем классе я был еще, и очень мне в поле гулять идти хотелось. Мы, трое мальчишек, пошли у смотрителя рекреацию[12] просить, да не выпросили и решились солгать, а зачинщик всему тому я был. «Давай, говорю, ребята, всех обманем, побежим и закричим: отпустил, отпустил!» Так и сделали; все с нашего слова и разбежались из классов и пошли гулять и купаться да рыбчонку ловить. А к вечеру на меня страх и напал: что мне будет, как домой вернемся? — запорет смотритель. Прихожу и гляжу — уже и розги в лохани стоят; я скорей драла, да в баню, спрятался под полок, да и ну молиться: «Господи! хоть нельзя, чтобы меня не пороть, но сделай, чтобы не пороли!» И так усердно об этом в жару веры молился, что даже запотел и обессилел; но тут вдруг на меня чудной прохладой тихой повеяло, и у сердца как голубок тепленький зашевелился, и стал я верить в невозможность спасения как в возможное, и покой ощутил и такую отвагу, что вот не боюсь ничего, да и кончено! И взял да и спать лег: а просыпаюсь, слышу, товарищи-ребятишки весело кричат: «Кирюшка! Кирюшка! где ты? вылезай

---

[12] Примечания: 12

Рекреация — перерыв для отдыха между занятиями.

скорей, — тебя пороть не будут, ревизор приехал и нас гулять отпустил».

— Чудо, — говорю, — твое простое.

— Просто и есть, владыко, как сама троица во единице — простое существо, — отвечал он и с неописаннейшим блаженством во взоре добавил:

— Да ведь как я, владыко, его чувствовал-то! Как пришел-то он, батюшка мой, отрадненький! удивил и обрадовал. Сам суди: всей вселенной он не в обхват, а, видя ребячью скорбь, под банный полочек к мальчонке подполз в дусе хлада тонка и за пазушкой обитал…

Я вам должен признаться, что я более всяких представлений о божестве люблю этого нашего русского бога, который творит себе обитель «за пазушкой». Тут, что нам господа греки ни толкуй и как ни доказывай, что мы им обязаны тем, что и бога через них знаем, а не они нам его открыли; — не в их пышном византийстве мы обрели его в дыме каждений, а он у нас свой, притоманный[13] и по-нашему, попросту, всюду ходит, и под банный полочек без ладана в дусе хлада тонка проникнет, и за теплой пазухой голубком

---

[13] Примечания: 13

Притоманный — коренной, основной, собственный.

приоборкается.

— Продолжай, — говорю, — отец Кириак, — о другом чуде рассказа жду.

— Сейчас и про другое, владыко. Это было, как я стал уже дальше от него, помаловернее, — это было, как я сюда за каретою ехал. Взять меня надо было из российского училища и сюда перевести перед самым экзаменом. Я не боялся, потому что первым учеником был и меня бы без экзамена в семинарию приняли; а смотритель возьми да и напиши мне свидетельство во всем посредственное. «Это, говорит, нарочно, для нашей славы, чтобы тебя там экзаменовать стали и увидали, каковых мы за посредственных считаем». Горе было нам с отцом ужасное; а к тому же, хотя отец меня и заставлял, чтобы я дорогою, на запятках сидя, учился, но я раз заснул и, через речку вброд переезжая, все книжки свои потерял. Сам горько плачучи, отец прежестоко меня за это на постоялом дворе выпорол; а все-таки, пока мы до Сибири доехали, я все позабыл и начинаю опять по-ребячьи молиться: «Господи, помоги! сделай, чтобы меня без экзамена приняли». Нет; как его ни просил, посмотрели на мое свидетельство и велели на экзамен идти. Прихожу печальный; все ребята веселые и в чехарду друг через дружку

прыгают, — один я такой, да еще другой, тощий-претощий, мальчишка сидит, не учится, так, от слабости, говорит «лихорадка забила». А я сижу, гляжу в книгу и начинаю в уме перекоряться с Господом: «Ну что же? думаю, ведь уж как я тебя просил, а ты вот ничего и не сделал!» И с этим встал, чтобы пойти воды напиться, а меня как что-то по самой середине камеры хлоп по затылку и на пол бросило… Я подумал: «Это, верно, за наказание! помочь-то бог мне ничего не помог, а вот еще и ударил». Ан смотрю, нет: это просто тот больной мальчик через меня прыгнуть вздумал, да не осилил, и сам упал и меня сбил. А другие мне говорят: «Гляди-ка, чужак, у тебя рука-то мотается». Попробовал, а рука сломана. Повели меня в больницу и положили, а отец туда пришел и говорит: «Не тужи, Кирюша, тебя зато теперь без экзамена приняли». Тут я и понял, как бог-то все устроил, и плакать стал… А экзамен-то легкий-прелегкий был, так что я его шутя бы и выдержал. Значит, не знал я, дурачок, чего просил, но и то исполнено, да еще с вразумлением.

— Ах ты, — говорю, — отец Кириак, отец Кириак, да ты человек преутешительный!.. — Расцеловал я его неоднократно, отпустил и, ни о чем более не расспрашивая, велел ему с завтрашнего

же дня ходить ко мне учить меня тунгузскому и якутскому языку.

Глава четвертая

Но отступив со своею суровостию от Кириака, я зато напустился на прочих монахов своего монастырька, от коих, по правде сказать, не видал ни Кириакова простодушия и никакого дела на службу веры полезного: живут себе этаким, так сказать, форпостом христианства в краю язычников, а ничего, ленивцы, не делают — даже языку туземному ни один не озаботился научиться.

Щунял я их, щунял келейно[14] и, наконец, с амвона[15] на них громыхнул словом царя Ивана к преподобному Гурию, что «напрасно-де именуют чернецов ангелами, — нет им с ангелами сравнения, ни какого-либо подобия, а должны они уподобляться апостолам, которых Христос послал учить и крестить!»

Кириак приходит ко мне на другой день урок давать и прямо мне в ноги:

— Что ты? что ты? — говорю, подымая его, —

---

[14] Примечания: 14

Щунял… келейно… — бранил, усовещивал наедине.

[15] Примечания: 15

Амвон — место перед царскими вратами (центральным входом в алтарь).

учителю благий, тебе это не довлеет ученику в ноги кланяться.

— Нет, владыко, уж очень ты меня утешил, так утешил, что я и в жизнь не чаял такого утешения!

— Да чем, — говорю, — божий человек, ты так мною обрадован?

— А что велишь монахам учиться, да идучи *вперед учить, а потом крестить*; ты прав, владыко, что такой порядок устроил, его и Христос велел, и приточник[16] поучает: «идеже несть учения души, несть добра». Крестить-то они все могучи, а обучить слову нетяги[17].

— Ну, уж это, — говорю, — ты меня, брат, кажется, шире понял, чем я говорил; этак ведь, по-твоему, и детей бы не надо крестить.

— Дети христианские другое дело, владыко.

— Ну да; и предков бы наших князь Владимир не окрестил, если бы долго от них наученности ждал.

А он мне отвечает:

— Эх, владыко, да ведь и впрямь бы их, может, прежде поучить лучше было. А то сам, чай,

---

[16] Примечания: 16

Приточник — говорящий притчами (*церковнослав.*).

[17] Примечания: 17

Нетяги — слабосильны, не дюжи.

в летописи читал — все больно скоро варом вскипело, «понеже благочестие его со страхом бе сопряжено». Платон митрополит мудро сказал: «Владимир поспешил, а греки слукавили, — невежд ненаученных окрестили». Что нам их спешке с лукавством следовать? ведь они, знаешь, «льстивы даже до сего дня». Итак, во Христа-то мы крестимся, да во Христа не облекаемся. Тщетно это так крестить, владыко!

— Как, — говорю, — тщетно? Отец Кириак, что ты это, батюшка, проповедуешь?

— А что же, — отвечает, — владыко? — ведь это благочестивой тростью писано, что одно водное крещение невежде к приобретению жизни вечной не служит.

Посмотрел я на него и говорю серьезно:

— Послушай, отец Кириак, ведь ты еретичествуешь.

— Нет, — отвечает, — во мне нет ереси, я по тайноводству святого Кирилла Иерусалимского правоверно говорю: «Симон Волхв в купели тело омочи водою, но сердце не просвети духом, и сниде, и изыде телом, а душою не спогребеся, и не возста». Что окрестился, что выкупался, все равно христианином не был. Жив Господь и жива душа твоя, владыко, — вспомни, разве не писано будут

и крещеные, которые услышат «не вем вас», и некрещеные, которые от дел совести оправдятся и внидут, яко хранившие правду и истину. Неужели же ты сие отметаешь?

Ну, думаю, подождем об этом беседовать, и говорю:

— Давай-ка, — говорю, — брат, не иерусалимскому, а дикарскому языку учиться, бери указку, да не больно сердись, если я не толков буду.

— Я не сердит, владыко, — отвечает.

И точно, удивительно был благодушный и откровенный старик и прекрасно учил меня. Толково и быстро открыл он мне все таинства, как постичь эту молвь, такую бедную и немногословную, что ее едва ли можно и языком назвать. Во всяком разе это не более как язык жизни животной, а не жизни умственной; а между тем усвоить его очень трудно: обороты речи, краткие и непериодические, делают крайне затруднительным переводы на эту молвь всякого текста, изложенного по правилам языка выработанного, со сложными периодами и подчиненными предложениями; а выражения поэтические и фигуральные на него вовсе не переводимы, да и понятия, ими выражаемые, остались бы для этого бедного люда недоступны. Как рассказать им

смысл слов: «Будьте хитры, как змии, и незлобивы, как голуби», когда они и ни змеи и ни голубя никогда не видали и даже представить их себе не могут. Нельзя им подобрать слов: ни мученик, ни креститель, ни предтеча, а пресвятую деву если перевести по-ихнему словами *шочмо Абя*, то выйдет не наша богородица, а какое-то шаманское божество женского пола, — короче сказать — богиня. Про заслуги же святой крови или про другие тайны веры еще труднее говорить, а строить им какую-нибудь богословскую систему или просто слово молвить о рождении без мужа, от девы, — и думать нечего: они или ничего не поймут, и это самое лучшее, а то, пожалуй, еще прямо в глаза расхохочутся.

Все это мне передал Кириак, и передал так превосходно, что я, узнав дух языка, постиг и весь дух этого бедного народа; и что всего мне было самому над собою забавнее, что Кириак с меня самым незаметным образом всю мою напускную суровость сбил: между нами установились отношения самые приятные, легкие и такие шутливые, что я, держась сего шутливого тона, при конце своих уроков велел горшок каши сварить, положил на него серебряный рубль денег да черного сукна на рясу и понес все это, как выученик,

к Кириаку в келью.

Он жил под колокольнею в такой маленькой келье, что как я вошел туда, так двоим и повернуться негде, а своды прямо на темя давят; но все тут опрятно, и даже на полутемном окне с решеткою в разбитом варистом горшке астра цветет.

Кириака я застал за делом — он низал что-то из рыбьей чешуи и нашивал на холстик.

— Что ты это, — говорю, — стряпаешь?

— Уборчики, владыко.

— Какие уборчики?

— А вот девчонкам маленьким дикарским уборчики: они на ярмарку приезжают, я им и дарю.

— Это ты язычниц неверных радуешь?

— И-и, владыко! полно-ка тебе все так: «неверные» да «неверные»; всех один Господь создал; жалеть их, слепых, надо.

— Просвещать, отец Кириак.

— Просветить, — говорит, — хорошо это, владыко, просветить. Просвети, просвети, — и зашептал: «Да просветится свет твой пред человеки, когда увидят добрыя твоя дела».

— А я вот, — говорю, — к тебе с поклоном пришел и за выучку горшок каши принес.

— Ну что же, хорошо, — говорит, — садись же и сам при горшке посиди — гость будешь.

Усадил он меня на обрубочек, сам сел на другой, а кашу мою на скамью поставил и говорит:

— Ну, покушай у меня, владыко; твоим же добром да тебе же челом.

Стали мы есть со стариком кашу и разговорились.

Глава пятая

Меня, по правде сказать, очень занимало, что такое отклонило Кириака от его успешной миссионерской деятельности и заставило так странно, по тогдашнему моему взгляду — почти преступно или во всяком случае соблазнительно относиться к этому делу.

— О чем, — говорю, — станем беседовать? — к доброму привету хороша и беседа добрая. Скажи же мне: не знаешь ли ты, как нам научить вере вот этих инородцев, которых ты все под свою защиту берешь?

— А учить надо, владыко, учить, да от доброго жития пример им показать.

— Да где же мы с тобою их будем учить?

— Не знаю, владыко; к ним бы надо с научением идти.

— То-то и есть.

— Да, учить надо, владыко; и утром сеять семя, и вечером не давать отдыха руке, — все сеять.

— Хорошо говоришь, — отчего же ты так не делаешь?

— Освободи, владыко, не спрашивай.

— Нет уж, расскажи.

— А требуешь рассказать, так поясни: зачем мне туда идти?

— Учить и крестить.

— Учить? — учить-то, владыко, неспособно.

— Отчего? враг, что ли, не дает?

— Не-ет! что враг, — велика ли он для крещеного человека особа: его одним пальчиком перекрести, он и сгинет; а вражки мешают, — вот беда!

— Что это за вражки?

— А вот куцые одетели, отцы благодетели, приказные, чиновные, с приписью подьячие.

— Эти, стало быть, самого врага сильней?

— Как же можно: сей род, знаешь, ничем не изымается, даже ни молитвою, ни постом.

— Ну, так надо, значит, просто крестить, как все крестят.

— Крестить… — проговорил за мною Кириак, и — вдруг замолчал и улыбнулся.

— Что же? продолжай.

Улыбка сошла с губ Кириака, и он с серьезною и даже суровою миной добавил:

— Нет, я скорохватом не хочу это делать, владыко.

— Что-о-о!

— Я не хочу этого так делать, владыко, вот

что! — отвечал он твердо и опять улыбнулся.

— Чего ты смеешься? — говорю. — А если я тебе велю крестить?

— Не послушаю, — отвечал он, добродушно улыбнувшись, и, фамильярно хлопнув меня рукою по колену, заговорил:

— Слушай, владыко, читал ты или нет, — есть в житиях одна славная повесть.

Но я его перебил и говорю:

— Поосвободи, пожалуйста, меня с житиями: здесь о слове божием, а не о преданиях человеческих. Вы, чернецы, знаете, что в житиях можно и того и другого достать, и потому и любите все из житий хватать.

А он отвечает:

— Дай же мне, владыко, кончить; может, я и из житий что-нибудь прикладно скажу.

И рассказал старую историю из первых христианских веков о двух друзьях — христианине и язычнике, из коих первый часто говорил последнему о христианстве и так ему этим надокучил, что тот, будучи до тех пор равнодушен, вдруг стал ругаться и изрыгать самые злые хулы на Христа и на христианство, а при этом его подхватил конь и убил. Друг христианин видел в этом чудо и был в ужасе, что друг его язычник оставил жизнь в

таком враждебном ко Христу настроении. Христианин сокрушался об этом и горько плакал, говоря: «Лучше бы я ему совсем ничего о Христе не говорил, — он бы тогда на него не раздражался и ответа бы в том не дал». Но, к утешению его, он известился духовно, что друг его принят Христом, потому что, когда язычнику никто не докучал настойчивостью, то он сам с собою размышлял о Христе и призвал его в своем последнем вздохе.

— А тот, — говорит, — тут и был у его сердца: сейчас и обнял и обитель дал.

— Это опять, значит, все дело свертелось «за пазушкой»?

— Да, за пазушкой.

— Вот это-то, — говорю, — твоя беда, отец Кириак, что ты все на пазуху-то уже очень располагаешься.

— Ах, владыко, да как же на нее не полагаться: тайны-то уже там очень большие творятся — вся благодать оттуда идет: и материно молоко детопитательное, и любовь там живет, и вера. Верь — так, владыко. Там она, вся там; сердцем одним ее только и вызовешь, а не разумом. Разум ее не созидает, а разрушает: он родит сомнения, владыко, а вера покой дает, радость дает… Это, я тебе скажу, меня обильно утешает; ты вот глядишь,

как дело идет, да сердишься, а я все радуюсь.

— Чему же ты радуешься?

— А тому, что все добро зело.

— Что такое: добро зело?

— Все, владыко: и что нам указано и что от нас сокрыто. Я думаю так, владыко, что мы все на один пир идем.

— Говори, сделай милость, ясней: ты водное крещение-то просто-напросто совсем отметаешь, что ли?

— Ну вот: и отметаю! Эх, владыко, владыко! сколько я лет томился, все ждал человека, с которым бы о духовном свободно по духу побеседовать, и, узнав тебя, думал, что вот такого дождался; а и ты сейчас, как стряпчий, за слово емлешься! Что тебе надо? — слово всяко ложь, и я тож. Я ничего не отметаю; а ты обсуди, какие мне приклады разные приходят — и от любви, а не от ненависти. Яви терпение, — вслушайся.

— Хорошо, — отвечаю, — буду слушать, что ты хочешь проповедовать.

— Ну, вот мы с тобою крещены, — ну, это и хорошо; нам этим как билет дан на пир; мы и идем и знаем, что мы званы, потому что у нас и билет есть.

— Ну!

— Ну а теперь видим, что рядом с нами туда же бредет человечек без билета. Мы думаем: «Вот дурачок! напрасно он идет: не пустят его! Придет, а его привратники вон выгонят». А придем и увидим: привратники-то его погонят, что билета нет, а хозяин увидит, да, может быть, и пустить велит, — скажет: «Ничего, что билета нет, — я его и так знаю: пожалуй, входи», да и введет, да еще, гляди, лучше иного, который с билетом пришел, станет чествовать.

— Ты, — говорю, — это им так и внушаешь?

— Нет; что им это внушать? это я только про себя так о всех рассуждаю, по Христовой доброти да мудрости.

— Да то-то; мудрость-то его ты понимаешь ли?

— Где, владыко, понимать! — ее не поймешь, а так… что сердце чувствует, говорю. Я, когда мне что нужно сделать, сейчас себя в уме спрашиваю: можно ли это сделать во славу Христову? Если можно, так делаю, а если нельзя — того не хочу делать.

— В этом, значит, твой главный катехизис[18]?

— В этом, владыко, и главный и не главный, — весь в этом; для простых сердец это, владыко,

---

[18] Примечания: 18

Катехизис — правила веры, краткое изложение учения в вопросах и ответах.

куда как сподручно! — просто ведь это: водкой во славу Христову упиваться нельзя, драться и красть во славу Христову нельзя, человека без помощи бросить нельзя… И дикари это скоро понимают и хвалят: «Хорош, говорят, ваш Христосик — праведный» — по-ихнему это так выходит.

— Что же… это, пожалуй, хоть и так — хорошо.

— Ничего, владыко, — изрядно; а вот что мне нехорошо кажется: как придут новокрещенцы в город и видят все, что тут крещеные делают, и спрашивают: можно ли то во славу Христову делать? что им отвечать, владыко? христиане это тут живут или нехристи? Сказать: «нехристи» — стыдно, назвать христианами — греха страшно.

— Как же ты отвечаешь?

Кириак только рукой махнул и прошептал:

— Ничего не говорю, а… плачу только.

Я понял, что его религиозная мораль попала в столкновение с своего рода «политикою». Он Тертуллиана «О зрелищах» читал и вывел, что «во славу Христову» нельзя ни в театры ходить, ни танцевать, ни в карты играть, ни многого иного творить, без чего современные нам, наружные христиане уже обходиться не умеют. Он был своего рода новатор и, видя этот обветшавший мир, стыдился его и чаял нового, полного духа

и истины.

Как я ему это намекнул, он мне сейчас и поддакнул.

— Да, — говорит, — да, эти люди плоть, — а что плоть-то показывать? — ее надо закрывать. Пусть хотя не хулится через них имя Христово в языцех[19].

— А зачем это к тебе, говорят, будто инородцы и до сих пор приходят?

— Верят мне и приходят.

— То-то; зачем?

— Поспорят когда или поссорятся, и идут: «Разбери, говорят, по-христосикову».

— Ты и разбираешь?

— Да, я обычай их знаю; а ум Христов приложу и скажу, как быть.

— Они и примут?

— Примут: они его справедливость любят. А другой раз больные приходят или бесные, — просят помолиться.

— Как же ты бесных лечишь? отчитываешь, что ли?

— Нет, владыко; так, помолюсь, да успокою.

— Ведь на это их шаманы слывут искусника-

---

[19] Примечания: 19

В языцех (*церковнослав.*) — в народах.

ми.

— Так, владыко, — не ровен шаман; иные и впрямь немало тайных сил природных знают; ну да ведь и шаманы ничего… Они меня знают и иные сами ко мне людей шлют.

— Откуда же у тебя и с шаманами приязнь?

— А вот как: ламы буддийские на них гонение сделали, — их, этих шаманов, тогда наши чиновники много в острог забрали, а в остроге дикому человеку скучно: с иными бог весть что деется. Ну я, грешник, в острог ходил, калачиков для них по купцам выпрашивал и словцом утешал.

— Ну и что же?

— Благодарны, берут Христа ради и хвалят его: хорош, говорят, — добр. Да ты молчи, владыко, они сами не чуют, как края ризы его касаются.

— Да ведь как, — говорю, — касаются-то? все ведь это без толку!

— И, владыко! что ты все сразу так сунешься! Божие дело своей ходой, без суеты идет. Не шесть ли водоносов было на пиру в Канне, а ведь не все их, чай, сразу наполнили, а один за другим наливали; Христос, батюшка, сам уже на что велик чудотворец, а и то слепому жиду прежде поплевал на глаза, а потом открыл их; а эти ведь еще слепее жида. Что от них сразу-то много

требовать? Пусть за краек его ризочки держатся — доброту его чувствуют, а он их сам к себе уволочет.

— Ну вот, уже и «уволочет»!

— А что же?

— Да какие ты слова-то неуместные употребляешь.

— А чем, владыко, неуместное, — слово препростое. Он, благодетель наш, ведь и сам не боярского рода, за простоту не судится. Род его кто исповесть; а он с пастухами ходил, с грешниками гулял и шелудивой овцой не брезговал, а где найдет ее, взвалит себе, как она есть, на святые рамена и тащит к отцу. Ну а тот… что ему делать? — не хочет многострадального сына огорчить, — замарашку ради его на двор овчий пустит.

— Ну, — говорю, — хорошо; в катехизаторы ты, брат Кириак, совсем не годишься, а в крестители ты, хоть и еретичествуешь немножко, однако пригоден, и как себе хочешь, а я тебе снаряжу крестить.

Но Кириак ужасно взволновался и расстроился.

— Помилуй, — говорит, — владыко: к чему тебе меня нудить? Да запретит тебе Христос это

сделать! И ничего из этого не последует, ничего, ничего и ничего!

— Отчего же это так?

— Так; потому что сия дверь для нас затворена.

— Кто же ее затворил?

— А тот, который имеет ключ Давидов: «Отверзаяй и никтоже отворит, затворяяй и никтоже отверзет». Или ты Апокалипсис позабыл?

— Кириак, — говорю, — многия книги безумным тя творят.

— Нет, владыко, я не безумен, а ты меня если не послушаешь, то людей обидишь, и духа святого оскорбишь, и только одних церковных приказных обрадуешь, чтобы им в твоих отчетах больше лгать да хвастать.

Я его перестал слушать, однако не оставлял мысли со временем его перекапризить и непременно его послать. Но что бы вы думали? — ведь не один простосердечный ветхозаветный Аммос, собирая ягоды, вдруг стал пророчествовать, — и мой Кириак мне напророчил, и его слова «да запретит тебе Христос» начали действовать. В это самое время я, как нарочно, получил из Петербурга извещение, что, по тамошнему благоусмотрению, у нас в Сибири увеличивается число буддийских капищ и удваиваются штаты лам. Я

хоть и в русской земле рожден и приучен был не дивиться никаким неожиданностям, но, признаюсь, этот порядок contra jus et fas[20] изумил меня, а что гораздо хуже, — он совсем с толку сбивал бедных новокрещенцев и, может быть, еще большей жалости достойных миссионеров. Весть с этим радостным событием, во вред христианству и в пользу буддизма, как вихрем разнеслась по всему краю. Для ее распространения скакали лошади, скакали олени, скакали собаки, и Сибирь оповестилась, что «все преодолевший и все отвергший» бог Фо в Петербурге «одолел и отверг и Христосика». Торжествующие ламы уверяли, что уже все наше верховное правительство и сам наш далай-лама[21], то есть митрополит, приняли буддийскую веру. Перепугались миссионеры, известясь о сем; не знали, что им делать; иные из них, кажется, отчасти сомневались: уж и впрямь не повернуло ли в Петербурге дело на ламайскую сторону, как оно в то тонкое и каверзливое время поворачивало на католическую, а ныне, в сию многодумную и дурашливую пору, поворачивает

[20] Примечания: 20

Против закона и справедливости (*лат.*)

[21] Примечания: 21

Далай-лама — высшее духовное лицо в ламаизме, почитается вечно возрождающимся божеством на земле.

на спиритскую. Только нынче оно, разумеется, совершается спокойнее, потому что теперь кумир хотя и ледащенький выбран, но зато теперь и против этого рожна прать никому не охота; а тогда еще этой хладнокровной выдержки недоставало во многих и, в числе прочих, во мне грешном. Я не мог равнодушно смотреть на моих бедных крестителей, которые пешком плелись из степей ко мне под защиту. Им одним по всему краю не было ни лошадиной клячи, ни оленя, ни собаки, и они, бог их знает как, лезли пешие по сугробам и пришли оборванные, обмаранные, истинно уже не как иереи бога вышнего, а как настоящие калеки-перехожие. Чиновники и зауряд все управление без зазрения совести покровительствовали ламам. Мне приходилось сражаться с губернатором, чтобы сей христианский боярин хотя малость остепенял своих пособников, дабы они по крайней мере не совсем открыто радели буддизму. Губернатор, как водится, обижался, и у нас с ним закипела жестокая стычка; я ему на его чиновников жалуюсь, — он мне на моих миссионеров пишет, что «никто-де им не мешает, а они-де сами ленивые и неискусные». А мои дезертировавшие миссионеры, в свою очередь, пищат, что им хотя, точно, рты тряпками не затыкают,

но нигде ни лошадей, ни оленей не дают, потому что по степям всюду все люди лам боятся.

— Ламы, — говорят, — богаты — они чиновников деньгами дарят, а нам дарить нечем.

Что же мне было можно им в утешение сказать? Синоду, что ли, обещать представить, чтобы лавры и монастыри, имея «деньги многи», поделились с нашею бедностию и какую-нибудь сумму на взятки приказным отпустили, но боялся, что в больших залах в Синоде это, чего доброго, за неуместное сочтут и, помолясь богу, во вспомоществовании на взятки мне откажут, пожалуй. А к тому же еще и это средство в наших руках могло быть ненадежно: апостолы мои в самих себе такую слабость мне открыли, которая, в связи с обстоятельствами, получила очень важное значение.

— Нас, — говорят, — за дикарей жалость берет; из них с этой возней совсем последний толк выбьют; нынче мы их крестим, завтра ламы обращают и велят Христа порицать, а за штраф все что попало у них берут. Обнищевает бедный народ и в скоте и в своем скудном разуме, — все веры перепутал и на все колена хромает, а на нас плачется.

Кириак этою борьбою очень интересовался и,

пользуясь моим расположением, не раз останавливал меня вопросами:

— Что тебе, владыко, вражки пишут? — или:

— Что ты, владыко, вражкам написал?

Раз даже он явился ко мне с просьбою:

— Посоветуйся со мною, владыко, как будешь вражкам писать?

Это было по случаю тому, что губернатор мне ставил на вид, что в соседней епархии, при тех же обстоятельствах, в каких я находился, проповедь и крещение совершаются успешно, причем указывал мне на какого-то миссионера Петра из зырян, который целыми массами крестит инородцев.

Такое обстоятельство меня смутило, и я спросил соседнего архиерея: так ли это?

Тот отвечал, что действительно у него есть зырянин, поп Петр, который два раза ездил на проповедь и в первый раз «все кресты раскрестил», а во второй вдвое больше крестов взял, и опять недостало, — с одного на другого на шеи перевешивал.

Кириак как это услышал, так и всплакался.

— Боже мой, — говорит, — откуда еще ко всем бедам пришел сюда сей коварный строитель? Он Христа в его же церкви да его же кровью затопит!

Ох, беда! помилосердуй, владыко, — проси скорее архиерея, чтобы он унял своего слугу верного — оставил бы в церкви сил хоть на семена.

— Ты, — говорю, — отец Кириак, вздор говоришь; могу ли я от столь хвальной ревности человека удерживать?

— Ах, нет, — молит, — владыко, проси; ведь это тебе непонятно, а я так знаю, что, значит, теперь там в степях делается. Это все не Христу, а вражкам его служба там идет. Зальют, зальют они его, голубчика, кровью и на сто лишних лет от него народ отпугают.

Я, разумеется, Кириака не послушал, а напротив — написал к соседнему архиерею, чтобы он дал мне своего зырянина на подержание, или, как сибирские аристократы по-французски говорят: «о прока».[22] Сосед мой архиерей в это время уже, отбыв сибирскую епитимью, перемещался в Россию и не постоял за своего досужего крестителя. Зырянин был мне прислан: такой большебородый, словоохотливый и, что называется, весь до дна маслян. Я его сейчас же отправил в степь, а недели через две от него уже и радостные вести имел: доносил он мне, что крестит народ на все

---

[22] Примечания: 22

«*О прока*» — офранцуженное русское слово «напрокат».

стороны. Одного он опасался: достанет ли у него крестов, которых забрал с собою весьма изрядную коробку? Из сего я, не ошибаясь, мог заключить, что улов в мережи сего счастливого ловца попадает чрезвычайно обильный.

Вот, думаю, когда я достал себе, наконец, к этому делу настоящего мастера! И очень был этому рад, да и как рад-то! Откровенно скажу вам — с самой казенной точки зрения, — потому что… и архиерей ведь тоже, господа, человек, и ему надокучит, когда одна власть пристает: «крести», а другая — «пусти»… Ну их совсем! скорей как-нибудь кончить в одну сторону, и как попался ловкий крититель, так пусть уже зауряд все крестит, авось и людям спокойнее станет.

Но Кириак не разделял моего взгляда, и раз иду я вечером через двор из бани и встречаю его; он остановился и приветствует меня:

— Здравствуй, владыко!

— Здравствуй, — говорю, — отец Кириак.

— Хорошо ли вымылся?

— Хорошо.

— А зырянина-то отмыл ли?

Я рассердился.

— Это, — говорю, — что за глупость?

А он опять про зырянина.

— Он безжалостный, — говорит, — он и у нас теперь так крестит, как за Байкалом крестил; его крестников через это только мучают, а они на Христа, батюшку, плачутся. Грех всем вам, а тебе больше всех грех, владыко!

Я Кириака счел за грубияна, но слова-то его мне все-таки в душу запали. Что, в самом деле? он ведь старик основательный, — на ветер болтать не станет: в чем же тут секрет? — как, в самом деле, взятый мною «о прока» досужий зырянин крестит? Я имел понятие о религиозности зырян; они по преимуществу храмоздатели — церкви у них повсюду отличные и даже богатые, но из всех глаголемых христиан на свете они, должно сознаться, самые внешние. Ни к кому столько, как к ним, не идет определение, что у них «бог в одних лишь образах, а не в убеждениях человека»; но ведь не жжет же этот зырянин дикарей огнем, чтобы они крестились? Быть этого не может! В чем же тут дело? Отчего зырянин успевает, а русские не умеют, и отчего я этого о сю пору не знаю?

«А все оттого, владыко, — пришло мне на мысль, — что ты и тебе подобные себялюбивы да важны: „деньги многи“ собираете да только под колокольным звоном разъезжаете, а про даль-

ние места своей паствы мало думаете и о них по слухам судите. На бессилие свое на родной земле нарекаете, а сами все звезды хватать норовите, да вопрошаете: „Что ми хощете дати, да аз вам предам?“ Брегись-ка, брат, как бы и ты не таков же стал?»

И ходил я, ходил этот вечер с своею думою по моей пустой скучной зале и до тех пор доходился, пока вдруг мне пришла в голову мысль: пробежать самому пустыню.

Таким образом я надеялся уяснить себе если не все, то по крайней мере очень многое. Да, признаюсь вам, и освежиться хотелось.

Для совершения этого пути мне, при моей неопытности, нужен был товарищ, который хорошо бы знал инородческий язык; но какого же товарища лучше желать, как Кириака? И, не откладывая этого по своей нетерпеливости в долгий ящик, я призвал Кириака к себе, открыл ему свой план и велел собираться.

Он не противоречил, а, напротив, казалось, был даже очень рад и, улыбаясь, повторял:

— Бог в помощь! Бог в помощь!

Откладывать было незачем, и мы на другое же утро раным-рано отпели обеденку, оделись оба по-туземному и выехали, держа путь к самому

северу, где мой зырянин апостольствовал.

Глава шестая

Лихо прокатили мы первый день на доброй тройке и все беседовали с отцом Кириаком. Любезный старик рассказывал мне интересные истории из инородческих религиозных преданий, из коих меня особенно занимала повесть о пятистах путешественниках, которые под руководством одного книжника, по-ихнему — «обушия», пустились путешествовать по земле в то еще время, когда «победивший силу бесовскую и отринувший все слабости» бог Шигемуни[23] гостеприимствовал «непочатыми яствами» в Ширвасе. Повесть эта тем интересна, что в ней чувствуется весь склад и дух религиозной фантазии этого народа. Пятьсот путников, предводимые обушием, встречают духа, который, чтобы устрашить их, принимает самый ужасный и отвратительный вид и спрашивает: «Есть ли у вас такие чудовища?» — «Есть гораздо страшнее», — отвечал обуший. «Кто же они?» — «Все те, которые завистливы, жадны, лживы и мстительны; они по смерти становятся чудовищами

---

[23] Примечания: 23
Шигемуни — Шакья Муни, т. е. Будда.

гораздо тебя страшнее и гаже». Дух скрылся и, превратясь где-то в человека, такого сухого и тощего, что даже жилы его пристали к костям, опять появился пред путниками и говорит: «Есть ли у вас такие люди?» — «Как же, — отвечает обуший, — гораздо суше тебя есть — таковы все, любящие почести».

— Гм! — перебил я Кириака, — это, — говорю, — смотри, уже не на нас ли, архиереев, мораль пущена?

— А бог весть, владыко, — и продолжает: — По некотором времени дух явился в виде прекрасного юноши и говорит: «А вот такие у вас есть ли?» — «Как же, — отвечает обуший, — между людьми есть несравненно тебя прекраснее, это те, которые имеют острое понятие и, очистив свои чувства, благоговеют к трем изяществам: богу, вере и святости. Сии столь тебя красивее, что ты пред ними никуда не годишься». Дух рассердился и стал экзаменовать обушия другими манерами. Он зачерпнул в горсть воды: «Где, говорит, больше воды: в море или в горсти?» — «В горсти более», — отвечал обуший. «Докажи». — «Ну и докажу: по видимому судя, кажется в море действительно более воды, чем в горсти, но когда придет время разрушения мира и из нынешнего солнца вы-

ступит другое, огнепалящее, то оно иссушит на земле все воды — и большие и малые: и моря, и ручьи, и потоки, и сама Сумбергора (Атлас) рассыпется; а кто при жизни напоил своею горстью уста жаждущего или обмыл своею рукою раны нищего, того горсть воды семь солнц не иссушат, а, напротив того, будут только ее расширять и тем самым увеличивать…» — Право, как вы хотите, а ведь это не совсем глупо, господа? — вопросил, приостановясь на минуту, рассказчик, — а? Нет, взаправду, как вы это находите?

— Очень не глупо, совсем не глупо, владыко.

— Признаюсь вам, и мне это показалось, пожалуй, толковее иной протяженной проповеди об оправдании… Ну, впрочем, не все об этом. Потом повели мы долгие беседы о том, какой способ надо предпочесть всем другим для обращения дикарей в христианство. Кириак находил, что с ними надо как можно меньше обрядничать, потому что они иначе самого Кириака с его вопросами превзойдут о том: можно ли того причащать, кто яйцом в зубы постучит; да не надо много и догматизировать, потому что их слабый ум устает следить за всякою отвлеченностью и силлогиза-

циею[24], а надо им просто рассказывать о жизни и о чудесах Христа, чтобы это представлялось им как можно живообразнее и чтобы их бедной фантазии было за что цепляться. Но главное: все на то напирал, что «кто премудр и худог[25], тот пусть покажет им от своего жития доброго, — тогда они и Христа поймут, а иначе, говорит, плохо наше дело, и истинная наша вера, хоть мы ее промеж них и наречем, то будет она у них под началом у неистинной: наша будет нареченная, а та действующая, — что в том добра-то, владыко? Посуди: к торжеству Христовой веры это будет или к ее унижению? А еще того горше, как от нашего что возьмут, да не знать, что из него сделают. Нечего спешить нарекать, а надо насаждать; другие придут — будут поливать, а возрастит сам Бог… Не так ли, владыко, апостол-то учил, а? Вспомни его, должно быть так: а то, гляди, как бы не поспешить, да людей не насмешить и сатану не порадовать».

Я, по правде сказать, внутренно во многом с ним соглашался и не заметил, как в простых и

---

[24] Примечания: 24

Силлогизация (*греч.*) — логическое построение доказательств в порядке посылок и выводов.

[25] Примечания: 25

Худог (*древнерусск.*) — искусен (отсюда — художество).

мирных с ним разговорах провел весь день до вечера; а с тем и наш конный путь кончился.

Переночевали мы с ним у огонька в юрте и на другое утро покатили на оленях.

Погода стояла чудесная, и езда на оленях очень меня занимала, хотя она, однако, не совсем отвечала моим о ней представлениям. В детстве моем я очень любил смотреть на картинку, где был представлен лапландец на оленях. Но те олени, на картинке, были легкие, быстроногие, как вихри степные неслись, закинув назад головы с ветвистыми рогами, и я, бывало, все думал: «Эх, кабы хоть раз так прокатиться! Какая это, должно быть, приятная быстрота при такой скачке!» А на деле же оно выходило не так: передо мною были совсем не те уносистые рогатые вихри, а комолые, тяжеловатые увальни с понурыми головами и мясистыми, разлатыми лапами. Бежали они побежкой нетвердою и неровною, склонив головы, и с такою задышкою, что инда с непривычки жалость брала на них смотреть, особливо как у них ноздри замерзли и они рты поразинули. Так тяжело дышат, что это густое дыхание их собирается облаком и так и стоит в морозном воздухе полосою. И эта езда и грустное однообразие пустынных картин, которые при ней открываются,

производят такое скучное впечатление, что даже говорить не хочется, и мы с Кириаком, едучи два дня на оленях, почти ни о чем и не беседовали.

На третий день к вечеру и этот путь прекратился: снега стали рыхлее, и мы заменили нескладных оленей собаками — такие серенькие, мохнатые и востроухие, как волчки, и по-волчьи почти и тявкают. Запрягают их помногу, штук по пятнадцати, а почетному путнику, пожалуй, и больше зацепят, но салазки такие узенькие, что двоим рядом сидеть невозможно, и мы с отцом Кириаком должны были разделиться: на одних приходилось ехать мне с проводником, а на других — Кириаку с другим проводником. Проводники оба казались равного достоинства, да и с обличья их одного от другого даже и не отличишь, особенно как своими малицами[26] закутаются, — точно банные обмылки: что один, что другой — в обоих одна красота. Но Кириак нашел в них разницу и непременно настаивал, чтобы усадить меня с тем, который казался ему надежнее; а в чем он видел эту надежность — не объяснил.

— Так, — говорит, — владыко: ты в этом крае

---

[26] Примечания: 26

Малица — шуба-рубаха из оленьей шкуры.

неопытнее меня, так ты с этим поезжай. — За это я его не послушал и сел с другим. Поклажу свою мы разделили: я взял себе в ноги узелок с бельем да с книгами, а Кириак надел на себя мирницу и дароносицу да взял в ноги кошель с толокном, сухой рыбкой и прочей нашей незатейливой походной провизией.

Уселись мы так, подоткнулись малицами, сверху по коленам оленьими кожами застегнулись и поскакали.

Езда эта была гораздо быстрее, чем на оленях, но зато сидеть так худо, что у меня с непривычки через час же страшно спину разломило. Погляжу на Кириака — он сидит как воткнутый столбушек, а я так и вихляюсь по сторонам — все баланс хочу удержать, и за этой гимнастикой даже не мог и поговорить с моим проводником. Узнал только, что он крещеный, и окрещен недавно моим зырянином, а поэкзаменовать его не успел. К вечеру я так измучился, что совсем держаться не мог и пожаловался Кириаку.

— Плохо, — говорю, — меня что-то сразу уже очень расшатало.

— А все это оттого, — отвечает, — что ты меня не слушал, — не с тем едешь, с которым я тебя сажал: этот лучше правит, покойнее. Яви ласку:

пересядь завтра.

— Хорошо, — говорю, — изволь, пересяду, — и точно, пересел, и опять едем.

Не знаю: понавык ли я за прошлый день держаться на этих рожнах или действительно этот проводник лучше своим орстелем[27] правил, только мне спокойнее ехалось, так что я даже мог и побеседовать.

Спрашиваю его: крещеный он или нет?

— Нет, — отвечает, — бачка, моя некрещена, моя счастливая.

— Чем же ты так счастлив?

— Счастливая, бачка; меня, бачка, Дзол-Дзаягачи дала, бачка. Она меня, бачка, бережет.

Дзол-Дзаягачи у шаманистов такая богиня, дарующая детей и пекущаяся будто бы о счастии и здоровье тех, которые у нее вымолены.

— Так что же, — говорю, — а почему же не креститься-то?

— А она, бачка, меня не дает крестить.

— Кто это? Дзол-Дзаягачи?

— Да, бачка, не дает.

— Ага, ну, хорошо, что ты мне это сказал.

— Как же, бачка, хорошо?

---

[27] Примечания: 27

Орстель — длинный шест, которым сдерживают и погоняют собак.

— Да вот я тебя за это, назло твоей Дзол-Дзаягачи, и велю окрестить.

— Что ты, бачка? зачем Дзол-Дзаягачи сердить? — она рассердится — дуть станет.

— Очень она мне нужна, твоя Дзол-Дзаягачи: окрещу, да и баста.

— Нет, бачка, она не даст обижать.

— Да какая тебе, глупому, в этом обида?

— Как же, бачка, меня крестить? — мне много обида, бачка: зайсан[28] придет — меня крещеного бить будет, шаман придет — опять бить будет, лама придет — тоже бить будет и олешков сгонит. Большая, бачка, обида будет.

— Не смеют они этого делать.

— Как, бачка, не смеют? смеют, бачка, все возьмут; у меня дядю, бачка, уже разорили… Как же, бачка, разорили, и брата, бачка, разорили.

— Разве у тебя есть брат крещеный?

— Как же, бачка, есть брат, бачка, есть.

— И он крещеный?

— Как же, бачка, крещеный, два раза крещеный.

— Что такое? два раза крещеный? Разве по два раза крестят?

---

[28] Примечания: 28

Зайсан — старшина.

— Как же, бачка, крестят.

— Врешь!

— Нет, бачка, верно: он один раз за себя крестился, а один раз, бачка, за меня.

— Как за тебя? Что ты это за вздор мне рассказываешь?

— Какой, бачка, вздор! — не вздор: я, бачка, от попа спрятался, а брат за меня крестился.

— Для чего же вы так смошенничали?

— Потому, бачка, что он добрый.

— Кто это: брат-то твой, что ли?

— Да, бачка, брат. Он сказал: «Я все равно уже пропал — окрещен, а ты спрячься, — я еще окрещусь»; я и спрятался.

— И где же он теперь, твой брат?

— Опять, бачка, креститься побежал.

— Куда же это его, бездельника, понесло?

— А туда, бачка, где ныне, слыхать, твердый поп ездит.

— Ишь ты! Что же ему до этого попа за дело?

— А свои у нас там, бачка, свои люди живут, хорошие, бачка, люди; как же? ему, бачка, жаль… он их жалеет, бачка, — за них креститься побежал.

— Да что же это за шайтан, этот твой брат? Как он это смеет делать?

— А что, бачка? ничего: ему, бачка, уж все рав-

но, а тех, бачка, зайсан бить не будет, и лама олешков не сгонит.

— Гм! надо, однако, твоего досужего брата на примету взять. Скажи-ка мне, как его зовут?

— Куська-Демяк, бачка.

— Кузьма или Демьян?

— Нет, бачка, — Куська-Демяк.

— Да; по-твоему чище, — Куська-Демяк или меди пятак, — только это два имени.

— Нет, бачка, одно.

— Я тебе говорю — два!

— Нет, бачка, одно.

— Ну, тебе, видно, и это лучше знать.

— Как же, бачка, мне лучше.

— Но это его Кузьмой и Демьяном при первом или при втором крещении назвали?

Вылупился и не понимает; но, когда я ему повторил, он подумал и ответил:

— Так, бачка: это как он за меня крестился, тогда его стали Куська-Демяк дразнить.

— Ну, а после первого-то крещения вы как его дразнили?

— Не знаю, бачка, — забыл.

— Но он-то, чай, это знает?

— Нет, бачка, и он позабыл.

— Быть, — говорю, — этого не может!

— Нет, бачка, — верно, позабыл.

— А вот я его велю разыскать и расспрошу.

— Разыщи, бачка, разыщи; и он скажет, что позабыл.

— Да только уже я его, брат, как разыщу, так сам зайсану отдам.

— Ничего, бачка; ему теперь, бачка, никто ничего, — он пропащий.

— Через что же это он пропащий-то? Через то, что окрестился, что ли?

— Да, бачка; его шаман гонит, у него лама олешки забрал, ему свой никто не верит.

— Отчего не верит?

— Нельзя, бачка, крещеному верить, — никто не верит.

— Что ты, дикий глупец, врешь! Отчего нельзя крещеному верить? Разве крещеный вас, идолопоклонников, хуже?

— Отчего, бачка, хуже? — один человек.

— Вот видишь, и сам согласен, что не хуже?

— Не знаю, бачка, — ты говоришь, что не хуже, и я говорю; а верить нельзя.

— Почему же ему нельзя верить?

— Потому, бачка, что ему поп грех прощает.

— Ну так что же тут худого? неужто же лучше без прощения оставаться?

— Как можно, бачка, без прощения оставаться! Это нельзя, бачка. Надо прощенье просить.

— Ну так я же тебя не понимаю; о чем ты толкуешь?

— Так, бачка, говорю: крещеный сворует, попу скажет, а поп его, бачка, простит; он и неверный, бачка, через это у людей станет.

— Ишь ты какой вздор несешь! А по-твоему это небось не годится?

— Этак, бачка, не годится у нас, не годится.

— А по-вашему как бы надо?

— Так, бачка: у кого украл, тому назад принеси и простить проси; человек простит, и бог простит.

— Да ведь и поп человек: отчего же он не может простить?

— Отчего же, бачка, не может простить? — и поп может. Кто у попа украл, того, бачка, и поп может простить.

— А если у другого украл, так он не может простить?

— Как же, бачка? — нельзя, бачка: неправда, бачка, будет; неверный человек, бачка, везде пойдет.

«Ах ты, — думаю, — чучело этакое неумытое, какие себе построения настроил!» — и спрашиваю далее:

— А ты про господа Иисуса Христа-то что-нибудь слыхал?

— Как же, бачка, — слыхал.

— Что же ты про него слыхал?

— По воде, бачка, ходил.

— Гм! ну, хорошо — ходил; а еще что?

— Свинью, бачка, в море топил.

— А более сего?

— Ничего, бачка, — хорош, жалостлив, бачка, был.

— Ну, как же жалостлив? Что он делал?

— Слепому на глаза, бачка, плевал, — слепой видел; хлебца и рыбка народца кормил.

— Однако ты, брат, много знаешь.

— Как же, бачка, — много знаю.

— Кто же тебе все это рассказал?

— А люди, бачка, говорят.

— Ваши люди?

— Люди-то? Как же, бачка, — наши, наши.

— А они от кого слышали?

— Не знаю, бачка.

— Ну, а не знаешь ли ты, зачем Христос сюда на землю приходил?

Думал он, думал, — и ничего не ответил.

— Не знаешь? — говорю.

— Не знаю.

Я ему все православие и объяснил, а он не то слушает, не то нет, а сам все на собак погикивает да орстелем машет.

— Ну, понял ли, — спрашиваю, — что я тебе говорил?

— Как же, бачка, понял: свинью в море топил, слепому на глаза плевал, — слепой видел, хлеб-ца-рыбка народца дал.

Засели ему в лоб эти свиньи в море, слепой да рыбка, а дальше никак и не поднимется… И припомнились мне Кириаковы слова о их жалком уме и о том, что они сами не замечают, как края ризы касаются. Что же? и этот, пожалуй, крайка коснулся, но уж именно только коснулся — чуть-чуть дотронулся; но как бы ему более дать за нее ухватиться? И вот я и попробовал с ним как можно проще побеседовать о благе Христова примера и о цели его страдания, — но мой слушатель все одинаково невозмутимо орстелем помахивает. Трудно мне было себя обольщать: вижу, что он ничего не понимает.

— Ничего, — спрашиваю, — не понял?

— Ничего, бачка, — все правду врешь; жаль его: он хорош, Христосик.

— Хорош?

— Хорош, бачка, не надо его обижать.

— Вот ты бы его и любил.

— Как, бачка, его не любить?

— Что? ты можешь его любить?

— Как же, бачка, — я, бачка, его и всегда люблю.

— Ну вот и молодец.

— Спасибо, бачка.

— Теперь, значит, тебе остается креститься: он и тебя спасет.

Дикарь молчит.

— Что же, — говорю, — приятель: что ты замолчал?

— Нет, бачка.

— Что такое: «нет, бачка»?

— Не спасет, бачка; за него зайсан бьет, шаман бьет, лама олешков сгонит.

— Да; вот главная беда!

— Беда, бачка.

— А ты и беду потерпи за Христа.

— На что, бачка, — он, бачка, жалостливый: как я дохнуть буду, ему самому меня жаль станет. На что его обижать!

Хотел было сказать ему, что если он верит, что Христос его пожалеет, то пусть верит, что он же его может и спасти, — но воздержался, чтобы опять про зайсана да про ламу не слушать. Ясно,

что Христос у этого человека был в числе его добрых, и даже самых добрых божеств, да только не из сильных: добр, да не силен, — не заступается, — ни от зайсана, ни от ламы не защищает. Что же тут делать? как дикаря переуверить в этом, когда Христову сторону поддержать не с кем, а для той много подпор? Католический проповедник в таком случае схитрил бы, как они в Китае хитрили: положил бы Будде к ногам крестик, да и кланялся и, ассимилировав и Христа и Будду, кичился бы успехом; а другой новатор втолковал бы такого Христа, что в него и верить нечего, а только… думай о нем благопристойно и — хорош будешь. Но тут и это трудно: чем этот мой молодец станет раздумывать, когда у него вся думалка комом смерзлась и ему ее оттаять негде.

Припомнилось мне, как Карл Эккартсгаузен превосходно, в самых простых сравнениях умел представлять простым людям великость жертвы Христова пришествия на землю, сравнивая это, как бы кто из свободных людей, по любви к заключенным злодеям, сам с ними заключался, чтобы терпеть их злонравие. Очень просто и хорошо; но ведь у моего слушателя, благодаря обстоятельствам, нет больших злодеев, как те, от кого он бегает из страха, чтобы его не окре-

стили; нет у него такого места, которое могло бы произвести ужас в сравнении с страшным местом его всегдашнего обитания… Ничего с ним не поделаешь, — ни Массильоном, ни Бурдалу, ни Эккартсгаузеном. Вот он тебе тычет орстелем в снег да помахивает, рожа обмылком — ничего не выражает; в гляделках, которые стыд глазами звать, — ни в одном ни искры душевного света; самые звуки слов, выходящих из его гортани, какие-то мертвые: в горе ли, в радости ли — все одно произношение, вялое и бесстрастное, — половину слова где-то в глотке выговорит, половину в зубах сожмет. Где ему с этими средствами искать отвлеченных истин, и что ему в них? Они ему бремя: ему надо вымирать со всем родом своим, как вымерли ацтеки, вымирают индейцы… Ужасный закон! Какое счастье, что он его не знает, — и знай тычет себе орстелем — тычет направо, тычет налево; не знает, куда меня мчит, зачем мчит и зачем, как дитя простой душою, открывает мне, во вред себе, свои заветные тайны… Мал весь талант его и… благо ему: мало с него спросится… А он все несется, несется в безбрежную даль и машет своим орстелем, который, мигая перед моими глазами, начал действовать на меня как маятник. Меня замаячило; эти мерные взмахи,

как магнетизерские пассы, меня путали сонною сетью; под темя теснилась дрема, и я тихо и сладко уснул — уснул для того, чтобы проснуться в положении, от которого да сохранит Господь всякую душу живую!

Глава седьмая

Я спал очень крепко и, вероятно, довольно долго, но вдруг мне показалось, что меня как будто что-то толкнуло и я сижу, накренясь набок. Я в полусне еще хотел поправиться, но вижу, что меня опять кто-то пошатнул назад; а вокруг все воет… Что такое? — хочу посмотреть, но нечем смотреть — глаза не открываются. Зову своего дикаря:

— Эй ты, приятель! где ты? А он на самое ухо кричит мне:

— Прочкнись, бачка, — прочкнись скорей! застынешь!

— Да что это, — я говорю, — не могу глаз открыть?

— Сейчас, бачка, откроешь.

И с этими словами — что бы вы думали? — взял да мне в глаза и плюнул и ну своим оленьим рукавом тереть.

— Что ты делаешь?

— Глаза тебе, бачка, протираю.

— Пошел ты, дурак…

— Нет, погоди, бачка, — не я дурак, а ты сейчас глядеть станешь.

И точно, как он провел мне своим оленьим рукавом по лицу, мои смерзшиеся веки оттаяли и открылись. Но для чего? что было видеть? Я не знаю, может ли быть страшнее в аду: вокруг мгла была непроницаемая, непроглядная темь — и вся она была как живая: она тряслась и дрожала, как чудовище, — сплошная масса льдистой пыли была его тело, останавливающий жизнь холод — его дыхание. Да, это была смерть в одном из самых грозных своих явлений, и, встретясь с ней лицом к лицу, я ужаснулся.

Все, что я мог проговорить, это был вопрос о Кириаке — где он? Но говорить было так трудно, что дикарь ничего не слышал. Тут я заметил, что он, говоря мне, нагибался и кричал мне под треух в самое ухо, и сам я под треух ему закричал:

— А где наши другие сани?

— Не знаю, бачка, — нас разбило.

— Как разбило?

— Разбило, бачка.

Я хотел этому не верить; хотел оглянуться, но никуда, ни в одну сторону не видать ничего: кругом ад темный и кромешный. Под самым моим боком у саней что-то копошилось, как клуб, но не было никаких средств видеть, что это такое. Спрашиваю дикаря, что это. Тот отвечает:

— А это, бачка, собачки спутались — греются.

И вслед за тем он сделал в этой тьме какое-то движение и говорит:

— Падай, бачка!

— Куда падать?

— Вот сюда, бачка, — в снег падай.

— Погоди, — говорю.

Мне еще не верилось, что я потерял своего Кириака, и я привстал из саней и хотел позвать его, но меня в то же мгновение и сразу же задушило, точно как заткнуло всего этою ледяною пылью, и я повалился в снег, причем довольно больно ударился головой о санную грядку. Подняться у меня не было никаких сил, да и мой дикарь мне не дал бы этого сделать. Он придержал меня и говорит:

— Лежи, бачка, смирно лежи, не околеешь: снег заметет, тепло будет; а то околеешь. Лежи!

Ничего не оставалось, как его слушаться; и я лежу и не трогаюсь, а он сволок с салазок оленью шкуру, бросил ее на меня и сам под нее же подобрался.

— Вот теперь, — говорит, — бачка, хорошо будет.

Но это «хорошо» было так скверно, что я в ту же минуту должен был как можно решительнее отворотиться от моего соседа в другую сторону,

ибо присутствие его на близком расстоянии было невыносимо. Четверодневный Лазарь в Вифанской пещере не мог отвратительнее смердеть, чем этот живой человек; это было что-то хуже трупа — это была смесь вонючей оленьей шкуры, острого человечьего пота, копоти и сырой гнили, юколы[29], рыбьего жира и грязи… О боже, о бедный я человек! Как мне был противен этот, по образу твоему созданный, брат мой! О, как бы охотно я выскочил из этой вонючей могилы, в которую он меня рядом с собою укладывал, если бы только сила и мочь стоять в этом метущемся адском хаосе! Но ничего похожего на такую возможность нельзя было и ждать — и надо было покоряться.

Мой дикарь заметил, что я от него отвернулся, и говорит:

— Погоди, бачка, ты не туда морду клал; ты вот сюда клади морду, вместе дуть будем — тепло станет.

Это даже слушать казалось ужасно!

Я притворился, что его не слышу, но он вдруг как-то напружинился, как клоп, перекатился чрез меня и лег прямо нос к носу, и ну дышать

---

[29] Примечания: 29
Юкола — вяленая рыба.

мне в лицо с ужасным сапом и зловонием. Сопел он тоже необычайно, точно кузнечный мех. Я никак не мог этого стерпеть и решил добиться, чтобы этого не было.

— Дыши, — говорю, — как-нибудь потише.

— А что? ничего, бачка, я не устану: я тебе, бачка, морду грею.

«Мордою» его я, разумеется, не обижался, потому что не до амбиции мне было в это время, да и, повторяю вам, у них для оттенка таких излишних тонкостей, чтобы отличать звериную морду от человеческого лица, и отдельных слов еще не заведено. Все морда: у него самого морда, у жены его морда, у его оленя морда, и у его бога Шигемони морда, — почему же у архиерея не быть морде? Это моему преосвященству снести было не трудно, но вот что трудно было: сносить это его дыхание с этой смердючей юколой и каким-то другим отвратительным зловонием — вероятно, зловонием его собственного желудка, — против этого я никак не мог стоять.

— Довольно, — говорю, — перестань; ты меня согрел, теперь более не сопи.

— Нет, бачка, сопеть — теплей будет.

— Нет, пожалуйста, не надо: и так надоел, — не надо!

— Ну, не надо, бачка, не надо. Теперь спать будем.

— Спи.

— И ты, бачка, спи.

И в эту же секунду, как это выговорил, точно муштрованная лошадь, которая сразу в галоп принимает, так и он сразу же уснул и сразу же захрапел. Да ведь как же, злодей, захрапел! Я, признаюсь вам, с детства страшный враг сонного храпа, и где в комнате хоть один храпливый человек есть, я уже мученик и ни за что уснуть не могу; а так как у нас, в семинарии и академии, разумеется, было много храпунов, и я их поневоле много и прилежно слушивал, то, не в смех вам сказать, я вывел себе о храпе свои наблюдения: по храпу, уверяю вас, все равно как по голосу и по походке, можно судить о темпераменте и о характере человека. Уверяю вас, это так: задорный человек — он и храпит задорно, точно он и во сне сердится; а товарищ у меня по академии весельчак и франт был — так тот и храпел как-то франтовски: этак весело как-то, с присвистом, точно в своем городе в собор идет новый сюртук обновлять. Его, бывало, даже из других камер слушать приходили и одобряли его искусство. Но теперешний мой дикий сосед такую положи-

тельную музыку завел, что я никогда ни такого обширного диапазона, ни такого темпа еще не наблюдал и не слыхивал: точно как будто сильный густой рой гудит и в звонкий сухой улей о стенки мягко бьется. Прекрасно эдак, солидно, ритмически и мерно: у-у-у-у-бум, бум, бум, у-у-у-у-бум, бум, бум… По моим наблюдениям, надлежало бы вывести, что это действует человек обстоятельный, надежный; но, лиха беда, мне не до наблюдений было: он так одолел совсем, разбойник, этим гулом! Терпел, терпел я, наконец не выдержал — толкнул его в ребра.

— Не храпи, — говорю.

— А что, бачка? зачем не храпеть?

— Да ты ужасно храпишь: спать мне не даешь.

— А ты сам захрапи.

— Да я не умею храпеть.

— А я, бачка, умею, — и опять сразу в галоп загудел. Что ты с этаким мастером станешь делать? Что уж тут с таким человеком спорить, который во всем превосходит: и о крещенье больше меня знает, по скольку раз крестят, и об именах сведущ, и храпеть умеет, а я не умею; — во всем передо мною преферанс[30] получает, — надо ему и честь

---

[30] Примечания: 30

Преферанс (*франц.* préférence) — предпочтение, превосходство.

и место дать.

Попятился я от него, как мог, немножко в сторону, провел с трудом руку за подрясник и пожал репетир[31]: часы прозвонили всего три и три четверти. Это, значит, еще был день; вьюга, конечно, пойдет на всю ночь, может быть и больше… Сибирские вьюги ведь продолжительны. Можете себе представить, каково иметь все это в перспективе! А между тем положение мое все становилось ужаснее: сверху нас, верно, уже хорошо укрыло снегом, и в логове нашем стало не только тепло, а даже душно; но зато и отвратительные, вонючие испарения становились все гуще, — от этого спертого смрада у меня занимало дыхание, и очень жаль, что это сделалось не сразу, потому что тогда я не испытал бы и сотой доли тех мучений, которые ощутил, приведя себя в память, что с моим отцом Кириаком пропала и моя бутылка с подправленною коньяком водою и вся наша провизия… Я ясно видел, что если я не задохнусь здесь, как в Черной пещере, то мне, наверно, грозит самая ужасная, самая мучительная из всех смертей — голодная смерть и жажда, которая уже начала надо мною свое терзательство. О, как я

[31] Примечания: 31

Репетир — пружина в старинных дорогих карманных часах, служившая для проверки времени звоном.

теперь жалел, что не остался мерзнуть наверху и залез в этот снежный гроб, где мы двое лежали в такой тесноте и под таким прессом, что все мои усилия приподняться и встать были совершенно напрасны!

С величайшим трудом я доставал из-под своего плеча кусочки снегу и жадно глотал их один за другим, но — увы! — это меня нимало не облегчало: напротив, это возбуждало у меня тошноту и несносное жжение в горле и желудке, а особенно около сердца; затылок у меня трещал, в ушах стоял звон, и глаза гнело и выпирало на лоб. А между тем докучный рой гудел все гуще и гуще, и все звонче пчелки бились об улей. Такое ужасное состояние продолжалось, пока часовой репетир сказал семь, — и затем я больше ничего не помню, потому что потерял сознание.

Это было величайшее счастие, какое могло посетить меня в моем настоящем бедственном положении. Не знаю, отдыхал ли я в это время сколько-нибудь физически, но я по крайней мере не мучился представлением о том, что меня ожидало впереди и что в действительности по ужасу своему должно было далеко превзойти все представления встревоженной фантазии.

Глава восьмая

Когда я пришел в чувства, пчелиный рой отлетел, и я увидел себя на дне глубокой снежной ямы; я лежал на самом ее дне с вытянутыми руками и ногами и не чувствовал ничего: ни холоду, ни голоду, ни жажды — решительно ничего! Только голова моя была до того мутна и бестолкова, что мне порядочного труда стоило привести себе на память все, что со мною произошло, и в каком я теперь нахожусь положении. Но, наконец, все это выяснилось, и первая мысль, которая мне пришла в эту пору, была та, что мой дикарь очнулся ранее меня и улизнул один, а меня бросил.

Оно, по здравому суждению, ему так бы и стоило со мною сделать, особенно после того, как я ему вчера нагрозил и его крестить и брата его Кузьму-Демьяна разыскивать; но он, по своему язычеству, не так поступил. Чуть я, с трудом двинув моими набрякшими членами, сел на дне моей разрытой могилы, как увидел я его шагах в тридцати от меня. Он стоял под большим заиндевелым деревом и довольно забавно кривлялся, а над ним, на длинном суку, висела собака, у которой из распоротого брюха ползли вниз теплые

черева.

Я догадался, что это он жертву, или, по-ихнему, таилгу[32], принес, и, по правде сказать, не возроптал, что это жертвоприношение его здесь задержало, пока я проснулся, и помешало ему меня бросить. А я вполне был уверен, что этот язычник непременно должен был иметь такое нехристианское намерение, и завидовал отцу Кириаку, который терпит теперь свою беду по крайней мере хоть с человеком крещеным, который все же должен быть благонадежнее моего нехристя. И от тяжкого ли моего положения, что ли, во мне родилось даже такое подозрение, что не слукавил ли со мною отец Кириак и, предусматривая все больше меня ему известные случайности сибирских путешествий, под видом доброжелательства подсудобил мне язычника, а себе отобрал христианина? Не похоже это, конечно, было на отца Кириака, и мне даже и сейчас, когда я это вспоминаю, стыдно становится сей моей подозрительности; но что делать, когда она явилась?

Вылез я из снежной ямы и стал подбираться к моему дикарю; он услыхал, как снег захрустел

---

[32] Примечания: 32
Таилга — жертвоприношение.

под моими ногами, и обернулся, но сейчас же опять стал продолжать по-прежнему свои тайнодействия.

— Ну, не довольно ли тебе кивать-то? — сказал я, постояв возле него с минуту.

— Довольно, бачка, — и сейчас же пошел к саням и начал цеплять в шорки остальных собачонок. Закладка была готова, и мы поехали.

— Кому ты это там таилгу дал? — спросил я его, махнув назад головою.

— А не знаю, бачка.

— Да собачку-то ты кому пожертвовал: богу или черту — шайтану?

— Шайтану, бачка, как же — шайтану.

— За что же ты его угостил?

— А за то, бачка, что он нас не заморозил: я ему, бачка, за это собачку дал, — пусть его лопает.

— Гм! да он-то пусть лопает, — не облопается, а собачонку жаль.

— Чего, бачка, жаль: собачка плохая, скоро бы дохнуть стала; ничего, бачка, — пусть его берет — лопает.

— Да; так ты с расчетом: дохленькую ему дал…

— Как же, бачка.

— А скажи, пожалуйста: куда мы это теперь едем?

— Не знаю, бачка, — след ищем.
— А где мой поп — товарищ?
— Не знаю, бачка.
— Как же нам его найти?
— Не знаю, бачка.
— Может быть, он замерз?
— Зачем, бачка, замерз: снег есть — не замерзнет. Я вспомнил опять, что с Кириаком есть еще и бутылка с согревающим питьем и провизия, и — успокоился. Со мною ничего этого не было, а я теперь охотно поел бы хоть собачьей юколы, но боялся о ней спросить, потому что не уверен был, есть ли она с нами.

Целый день мы кружили как-то зря; я это видел — если не по бесстрастному лицу моего возницы, то по неспокойным, неровным и тревожным движениям его собак, которые все как-то прыгали, суетились и беспрестанно метались из стороны в сторону. Моему дикарю с ними было много хлопот, но его неизменное бесстрастное равнодушие не покидало его ни на минуту: он только работал своим орстелем как будто с несколько большим вниманием, без которого нам, конечно, в этот день сто раз быть бы выброшенными и остаться либо среди степи, либо где-нибудь под лесами, мимо которых мы проезжали.

Но вот вдруг одна собачка ткнулась мордою в снег, дрыгнула задними лапами и пала. Дикарь, разумеется, лучше меня знал, что это значит и какою угрожает нам новою бедою, но не выразил ни страха, ни смущения: так же, как и всегда, он твердою, но бесстрастною рукою застремил[33] в снег свой орстель и дал мне держать этот якорь нашего спасения, а сам поспешно сошел с саней, вынул изнемогшего пса из хомутика и потащил его взад, за сани. Я думал, что он хочет пришибить и закинуть куда-нибудь этого пса; но, оглянувшись, увидел, что и эта собака уже висит на дереве, и из нее опять ползут вниз кровавые черева. Отвратительное зрелище!

— Это что опять? — крикнул я ему.

— А шайтану ее, бачка.

— Ну, брат, довольно будет с твоего шайтана; много ему по две собаки на день есть.

— Ничего, бачка, пусть лопает.

— Нет, не «ничего», — говорю, — а если ты их так будешь колоть, то ты их всех шайтану переколешь.

— Я, бачка, ему тех даю, которые дохнут.

— А ты бы их лучше покормил.

---

[33] Примечания: 33

Застремить — воткнуть.

— Нечем, бачка.

— Вот оно что! — это сказалось то самое, чего я и боялся.

А короткий день уже опять клонился к вечеру, и остальные собачонки, видимо, совсем устали, из сил выбились и начали как-то дико похаркивать и садиться. И вдруг еще одна пала, а прочие все, как по уговору, все сразу сели на хвосты и завыли, точно тризну по ней правили.

Дикарь мой встал и хотел вздернуть шайтану третью собаку, но я ему этого на сей раз уже решительно не позволил. Так надоело мне на это смотреть, да и казалось, что эта мерзость как будто увеличивала ужас нашего положения.

— Оставь, — говорю, — и не смей трогать: пусть издыхает, как ей пришлось.

Он и спорить не стал, но зато с обычным ему самым невозмутимым спокойствием выкинул самую неожиданную штуку. Он молча застремил свой орстель впереди саней и всех собачонок, одну за другою, отцепил и пустил их на волю. Оголодалые псы словно забыли истому: они взвизгнули, глухо затявкали и понеслись всей стаей в одну сторону и в минуту же скрылись в лесу за дальним перелогом. Все это сталось так скоро, как в сказке об Илье Муромце сказывается:

«Как садился Илья на коня, все видели, а как уехал, того никто не видал». Наша двигательная сила нас оставила: мы опешили; от десятка наших еще так недавно бодрых собачонок при нас оставалась только одна, издохшая, которая валялась у наших ног в своем хомутишке.

Дикарь мой стоял на этом позорище, облокотясь на свой орстель, и с тем же бесстрастием смотрел себе на ноги.

— Зачем ты это сделал? — воскликнул я.

— Пустил, бачка.

— Вижу, что пустил; а придут ли они назад?

— Нет, бачка, не придут, — они одичают.

— Для чего же, для чего ты их спустил?

— Лопать, бачка, хотят, — пусть зверька изловят, — лопать будут.

— А мы с тобою что будем лопать?

— Ничего, бачка.

— Ах ты, изверг!

Он, верно, не понял и ничего мне не отвечал, но воткнул в снег свой орстель и пошел. Никто бы не отгадал, куда и зачем он от меня удалился. Я его окликал, звал его вернуться назад, но он, только взглянув на меня своим тупым взглядом, прорычал: «Молчи, бачка», и побрел дальше. Скоро и он исчез за опушкой, и я остался один-одинешенек.

Надо ли вам распространяться о том, как ужасно было мое положение, или, может быть, вы лучше поймете весь этот ужас из того, что я не думал ни о чем, кроме того, что я голоден, что мне хочется не есть, в человеческом смысле желания пищи, а жрать, как голодному волку. Я вынул мои часы, подавил репетир и был поражен новым сюрпризом: мои часы стояли — чего с ними никогда не случалось на заводе. Дрожащими руками я вложил в них ключ и удостоверился, что они стали потому, что весь завод сошел; а они ходили около двух суток на одном заводе. Это мне открывало, что мы, ночуя под снегом, пролежали в своей ледяной могиле более чем сутки!.. Сколько же? — может быть двое, может быть трое? Я более не удивлялся, что я так мучительно страдаю от голода… Я, значит, не ел по крайней мере третьи сутки и, сообразив это, почувствовал свой терзающий голод еще ожесточеннее.

Есть, что-нибудь есть! — нечистое, гадкое, лишь бы есть! — вот все, что я понимал, отчаянно водя вокруг себя полными нестерпимой муки глазами.

Глава девятая

Мы стояли на плоском возвышении; за нами была огромная, безбрежная степь, а впереди бесконечное ее продолжение; вправо обозначалась занесенная снегом низменность и перевал, за которым далеко синела на горизонте гряда леса, куда скрылись наши собаки. Влево шла другая лесная опушка, вдоль которой мы ехали, пока вся наша сбруя не расстроилась. Сами мы стояли как раз под большим сугробом, который, видно, намело на пригорок, покрытый высокими, под самое небо уходящими пихтами и елинами. Томимый голодом, я стыл, сидя на краю саней, и, не обращая внимания ни на что окружающее, не заметил, когда здесь очутился возле меня мой дикарь. Я не видал ни того, как он подошел, ни того, как он молча сел рядом со мною; теперь же, когда я обратил на него внимание, он сидел, поставив орстель в колена, а руки завел за теплую малицу. Ни одна черта его лица не изменилась, ни один мускул не двигался, и глаза не выражали ничего, кроме тупой и спокойной покорности.

Я взглянул на него и ни о чем его не спросил, а он, как до сих пор никогда первый не заговари-

вал, и теперь не заговорил. Так мы и осмеркли, так и просидели рядом бесконечную темную ночь, не сказав друг другу ни одного слова.

Но чуть на небе начало слегка сереть, дикарь тихо поднялся с саней, заложил руки поглубже за пазуху и опять побрел вдоль по опушке. Долго он не бывал назад, я долго видел, как он бродил и все останавливался: станет и что-то долго-долго на деревьях разглядывает, и опять дальше потянет. И так он, наконец, скрылся с моих глаз, а потом опять так же тихо и бесстрастно возвращается и прямо с прихода лезет под сани и начинает там что-то настроивать или расстроивать.

— Что ты, — спрашиваю, — там делаешь? — и при этом неприятно открываю, как у меня спал и даже совсем переменился мой голос, между тем мой дикарь как прежде говорил, так и теперь так же, перекусывая звуки, отрывает.

— Лыжи, бачка, достаю.

— Лыжи! — воскликнул я в ужасе, тут только во всем значении поняв, что такое значит «навострить лыжи». — Зачем ты лыжи достаешь?

— Сейчас убегу.

«Ах ты, разбойник», — думаю. — Куда же ты это побежишь?

— На правую руку, бачка, убегу.

— Зачем же ты туда побежишь?

— Лопать тебе принесу.

— Врешь, — говорю, — ты меня здесь кинуть хочешь.

Но он нимало не смутился и отвечает:

— Нет, я тебе лопать принесу.

— Где же ты мне лопать возьмешь?

— Не знаю, бачка.

— Как же не знаешь: куда же ты бежишь?

— На праву руку.

— Кто же там, на правой руке?

— Не знаю, бачка.

— А не знаешь, так чего же ты бежишь?

— Примету нашел — чум есть.

— Врешь, — говорю, — любезный, ты меня одного здесь бросить хочешь.

— Нет; я лопать принесу.

— Ну, ступай, только уж лучше не ври, а иди себе куда знаешь.

— Зачем, бачка, врать, нехорошо врать.

— Очень, брат, нехорошо, а ты врешь.

— Нет, бачка, не вру! поди со мной: я тебе приметку покажу.

И, зацепив лыжи и орстель, он поволок их за собою и меня взял за руку, привел к одному дереву и спрашивает:

— Видишь, бачка?

— Что же, — говорю, — дерево вижу, — больше ничего.

— А вон, на большом суку, ветка на ветке, — видишь?

— Ну что же такое? вижу, есть ветка, — верно, ветер ее сюда забросил.

— Какой, бачка, ветер; это не ветер, а добрый человек ее посадил, — в ту руку чум есть.

Ну, очевидное дело, что или он меня обманывает, или сам обманывается; но что же мне делать? — силой мне его не удержать, да и зачем я его стану удерживать? Не все ли равно, что одному, что вдвоем умирать с холоду и голоду? Пусть бежит и спасается, если может спастись. И говорю ему по-монашески: «Спасайся, брат!»

А он спокойно отвечает: «Спасибо, бачка», и с этим утвердился на лыжах, заложил орстель на плечи, шаркнул раз ногой, шаркнул два — и побежал. Через минуту его уже и не видно стало, и я остался один-одинешенек среди снега, холода и совсем уже изнурившего меня мучительного голода.

Глава десятая

Небольшой зимний сибирский день я пробродил около саней, то присаживаясь, то снова поднимаясь, когда холод пересиливал несносные муки голода. Ходил я, разумеется, потихоньку, потому что и сил у меня не было, да и от сильного движения скорее устаешь, и тогда еще скорее стынешь.

Бродя все вблизи того места, где меня кинул мой дикарь, я не раз подходил и к тому дереву, на котором он мне указывал приметную ветку: прилежно я ее рассматривал и все еще более убеждался, что это просто ветка, заброшенная сюда ветром с другого дерева.

— Обманул, — говорил я себе, — обманул он меня, да и не поставится ему это в грех: зачем ему было пропадать вместе со мною, без всякой для меня пользы?

И нужно ли вам рассказывать, как тяжело и мучительно долог мне казался этот куцый день? Я не верил ни в какую возможность спасения и ждал смерти; но где она? зачем медлит и когда-то еще соберется припожаловать? Сколько я еще натерзаюсь, прежде чем она меня обласкает и успокоит

мои мучения?… Скоро я стал замечать, что у меня начинает минутами изнемогать зрение: вдруг все предметы как бы сольются и пропадут в какой-то серой мгле, но потом опять вдруг и неожиданно разъяснит… Кажется, это происходит просто от усталости, но не знаю, какую роль здесь играет перемена в освещении: чуть освещение переменится, становится снова видно, и видно очень ясно и далеко, а потом опять затуманит. На часок выпрыгнувшее за далекими холмами солнышко стало обливать покрывавший эти холмы снег удивительно чистым розовым светом, — это бывает там перед вечером, после чего солнце сейчас же быстро и скрывается, и розовый свет тогда сменяется самою дивною синевою. Так было и теперь: вокруг меня вблизи все засинело, как будто сапфирною пылью обсыпалось, — где рытвинка, где ножной след или так просто палкою в снег ткнуто — везде как сизый дымок заклубился, и через малое время этой игры все сразу смеркло: степь как опрокинутою чашей покрыло, и потом опять облегчает… сереет… С этою последнею переменою, как исчез и сей удивительный голубой свет и перебежала мгновенная тьма, на моих усталых глазах в серой мгле пошли отражаться разные удивительные степные фокусы. Все пред-

меты начали принимать невероятные, огромные размеры и очертания: наши салазки торчали как корабельный остов; заиндевелая дохлая собака казалась спящим белым медведем, а деревья как бы ожили и стали переходить с места на место… И все это так живо и интересно, что я, несмотря на мое печальное положение, готов был бы во все это с любопытством всматриваться, если бы не одно странное обстоятельство, которое меня отпугнуло от моих наблюдений и, пробудя во мне новый страх, оживило с ним вместе и инстинкт самосохранения. Пред моими глазами, вдали, в полутьме, что-то мелькнуло, как темная стрела, потом другая, третья, и вслед за тем в воздухе раздался протяжный жалобный вой. Я мигом сообразил, что это или волки, или наши отпущенные собаки, которые, вероятно, ничего съедомого не нашли и зверя не затравили, а, истомясь голодом, вспомнили о своей околевшей подруге и хотят воспользоваться ее трупом. Во всяком случае те ли это или другие, оголодавшие ли псы или волки, но они моему преосвященству спуска не дадут, и хотя мне, по разуму, собственно было бы легче быть сразу растерзанным, чем долго томиться голодом, однако инстинкт самосохранения взял свое, и я с ловкостью и быстротою,

каких, признаться сказать, никогда за собою не знал и от себя не чаял, взобрался в своем тяжелом убранстве на самый верх дерева, как векша, и тогда лишь опомнился, когда выше было некуда лезть. Передо мною открывалась целая необъятность из снега и темного, как густая накипь, неба, на котором из далекой непроглядной тьмы зарделись красноватые, безлучные звезды; а пока я окинул все это взглядом, внизу, почти у самого корня моего дерева, произошла какая-то свалка: рванье, стон, опять потасовка, и опять стон, и вот опять во тьме мелькнули вроссыпь стрелы, и сразу все стихло, как будто ничего и не бывало. Настала такая невозмутимая тишина, что я слышал и свой собственный пульс внутри себя и свое дыхание: оно как-то шумит, как сено, а если сильно вздохнуть, то точно электрическая искра тихо пощелкивает в невыносимо разреженном морозном воздухе, таком сухом и таком холодном, что даже мои волосы на бороде насквозь промерзли, кололись, как проволоки, и ломались; я даже сейчас чувствую озноб при этом воспоминании, которому всегда помогают мои с той поры испорченные ноги. Внизу, может быть, было немножко теплее, а может быть, и нет; но я во всяком случае не верил, что наше-

ствие хищников там не повторится, и решил до утра не сходить с дерева. Это было не страшнее, чем закопаться под снегом с моим зловонным товарищем, да и вообще что уже могло быть страшнее всего моего теперешнего положения? Я только выбрал поразбросистее разветвление и уселся на нем, как в довольно спокойном кресле, так что если бы даже мне и вздремнулось, то я ни за что не упал бы; а впрочем, для большей безопасности я крепко обхватил один сук руками и завел их обе поглубже за малицу. Позиция была хорошо выбрана и хорошо устроена: я сидел, как примерзлый старый сыч, на которого, вероятно, похож был и с виду. Часы мои давно уже не шли, но отсюда для меня были прекрасно открыты Орион и Плеяды — эти небесные часы, по которым я теперь мог вести счет времени моих мучений. Я этим и занялся: сначала вычислил себе приблизительно данную минуту, а потом так просто, без всякой цели, долго-долго глядел на эти странные звезды на совершенно черном небе, пока они стали слабеть, и из золотых сделались медяными, и, наконец, совсем потемнели и сгасли.

Настало утро, такое же серое и безрадостное. Мои часы, поставленные мною по расположению

Плеяд, показали девять. Голод все ожесточался и мучил меня неимоверно: я уже не чувствовал ни томящего запаха яств и никакого воспоминания о вкусе пищи, а у меня просто была голодная боль: мой пустой желудок сучило и скручивало, как веревку, и причиняло мне мучения невыносимые.

Без всякой надежды найти что-нибудь съестное я спустился с дерева и стал бродить. В одном месте я поднял на снегу еловую шишку. Сначала думал, не кедровая ли и нет ли в ней орешков, но оказалось просто-напросто обыкновенная еловая шишка. Я разломил ее, достал из нее зернышко и проглотил, но смолистый запах был так противен, что и пустой желудок не принял этого зерна, и оттого боли мои только усилились. В это время я заметил, что около наших брошенных саней в разных направлениях было множество недавних следов и что наша дохлая собака исчезла. За нею теперь, очевидно, был на очереди мой труп, на который сбежатся те же волки и так же скоро и хищно его между собою разделят. Только когда же это будет? Неужели еще сутки? А ну как еще более? — Нет. Я припомнил себе одного фанатика-запощеванца[34], который заморил себя голодом

[34] Примечания: 34

Запощеванцы — русская староверческая секта, отвергавшая священство и проповедовавшая крайний аскетизм.

во славу Христову; он имел дух отмечать дни своего томления и насчитал их девять… Это ужасно! Но тот голодал в тепле, а я подвергаюсь всему при жестоком холоде, — это, конечно, должно делать большую разницу. Силы мои меня совсем оставили, — я уже не мог согревать себя движением и сел на сани. Даже сознание моей участи меня как будто покинуло: я чувствовал на веках моих тень смерти и томился только тем, что она так медленно уводит меня в путь невозвратный. Вы поймете, что я так искренно желал уйти из этой мерзлой пустыни в сборный дом всех живущих и нимало не сожалел, что здесь, в этой студеной тьме, я постелю постель мою. Цепь мыслей моих порвалась, кувшин разбился, и колесо над колодцем обрушилось: ни мыслей, ни даже обращения к небу в самых привычных формах — нечего, негде и нечем стало почерпнуть. Я это сознал и вздохнул.

Авва[35], отче! не могу даже изнести тебе покаяния, но ты сам сдвинул светильник мой с места, сам и поручись за меня перед собою!

Это была вся моя молитва, которую я мог собрать в уме моем, и затем ничего не помню, как

---

[35] Примечания: 35

Авва (*древнееврейск.*) — отец.

шел этот день. Всеконечно, с твердостию могу уповать, что он был такой же точно, как и тот, что минул. Казалось мне только, что я в этот день видел будто бы вдали от себя два живые существа, и это будто были две какие-то птицы; они мне казались ростом с сорок и статью похожие на сороку, но с скверным лохматым пером, вроде совиного. Перед самым закатом солнца они слетели откуда-то с дерева на снег, походили и улетели. Но, может быть, мне это только казалось в моих предсмертных галлюцинациях; однако казалось это так живо, что я следил за их полетом и видел, как они где-то вдали скрылись, как будто растаяли. Усталые глаза мои, дойдя до этого места, так на нем и стали, и остолбенели. Но что бы вам думалось? — вдруг я начинаю замечать в этом направлении какую-то странную точку, которой, кажется, здесь прежде не было. Притом же казалось, что она как будто движется, — хоть это было так незаметно, что движение ее скорей можно было отличать внутренним чутьем, а не глазами, но я был уверен, что она движется.

Надежда на спасение заговорила, и все муки мои не в силах были перекричать и заглушить ее; точка все росла и все яснее и яснее определялась на этом удивительно; нежно-розовом фоне. Ми-

раж ли это, столь возможный в сем пустынном месте, при таком капризном освещении, или это действительно что-то живое спешит ко мне, но оно во всяком случае летит прямо на меня, и именно не идет, а летит: я вижу, как оно чертит, наконец различаю фигуру — вижу у нее ноги, — я вижу, как они штрихуют одна за другою и… вслед за тем снова быстро перехожу от радости к отчаянию. Да; это не мираж — я его слишком явно вижу, но зато это и не человек, как и не зверь. Вообще на земле нет во плоти ни одного такого существа, которое походило бы на это волшебное, фантастическое видение, какое на меня надвигало, словно сгущаясь, складываясь, или, как господа спириты говорят ныне, «материализуясь» из игривых тонов мерзлой атмосферы. Или меня обманывает мой глаз и мое воображение, или кто что ни говори, а это дух. Какой? Кто ты? Неужто это мой отец Кириак спешит мне навстречу из царства мертвых… А может быть, мы оба уже там?… неужто я уже и кончил переход? Как хорошо! как любопытен этот дух, этот мой новый согражданин в новой жизни! Опишу его вам как умею: ко мне плыла крылатая гигантская фигура, которая вся с головы до пят была облечена в хитон серебряной парчи и вся искри-

лась; на голове огромнейший, казалось, чуть ли не в сажень вышины, убор, который горел, как будто весь сплошь усыпан был бриллиантами или точно это цельная бриллиантовая митра… Все это точно у богато убранного индийского идола, и, в довершение сего сходства с идолом и с фантастическим его явлением, из-под ног моего дивного гостя брызжут искры серебристой пыли, по которой он точно несется на легком облаке, по меньшей мере как сказочный Гермес[36].

И вот, пока я его рассматривал, он, этот удивительный дух, все ближе, ближе, и — вот, наконец, совсем близко, и еще момент, и он, обрызгав всего меня снежной пылью, воткнул передо мною свой волшебный жезл и воскликнул:

— Здравствуй, бачка!

Я не верил ни своим глазам, ни своему слуху: удивительный дух этот был, конечно, он — мой дикарь! Теперь в этом нельзя было более ошибаться: вот под ногами его те же самые лыжи, на которых он убежал, за плечами другие; передо мною воткнут в снег его орстель, а на руках у него целая медвежья ляжка, совсем и с шерстью и со всей когтистой лапой. Но во что он убран, во что

---

[36] Примечания: 36

Гермес — в греческой мифологии вестник богов.

он преобразился?

Не дожидая с моей стороны никакого ответа на свое приветствие, он сунул мне к лицу эту медвежатину и, промычав:

— Лопай, бачка! — сам сел на сани и начал снимать с своих ног лыжи.

Глава одиннадцатая

Я припал к окороку, и грыз и сосал сырое мясо, стараясь утолить терзавший меня голод, и в то же время смотрел на моего избавителя.

Что это такое было у него на голове, которая оставалась все в том же дивном, блестящем, высоком уборе, — никак я этого не мог разобрать, и говорю:

— Послушай, что это у тебя на голове?

— А это, — отвечает, — то, что ты мне денег не дал.

Признаюсь, я не совсем понял, что он мне этим хотел сказать, но всматриваюсь в него внимательнее — и открываю, что этот его высокий бриллиантовый головной убор есть не что иное, как его же собственные длинные волосы: все их пропушило насквозь снежною пылью, и как они у него на бегу развевались, так их снопом и заморозило.

— А где же твой треух?

— Кинул.

— Для чего?

— А что ты мне денег не дал.

— Ну, — говорю, — я тебе, точно, забыл денег

дать, — это я дурно сделал, но какой же жестокий человек этот хозяин, который тебе не поверил и в такую стыдь с тебя шапку снял.

— С меня шапки никто не снимал.

— А как же это было?

— Я ее сам кинул.

И рассказал мне, что он по приметке весь день бежал, юрту нашел — в юрте медведь лежит, а хозяев дома нет.

— Ну?

— Думал, тебе долго ждать, бачка, — ты издохнешь.

— Ну?

— Я медведь рубил, и лапу взял, и назад бежал, а ему шапку клал.

— Зачем?

— Чтобы он дурно, бачка, не думал.

— Да ведь тебя этот хозяин не знает.

— Этот, бачка, не знает, а другой знает.

— Который другой?

— А тот хозяин, который сверху смотрит.

— Гм! Который сверху смотрит?...

— Да, бачка, как же: ведь он, бачка, все видит.

— Видит, братец, видит.

— Как же, бачка? Он, бачка, не любит, кто худо сделал.

Рассуждение весьма близкое к тому, какое высказал св. Сирин соблазнявшей его прелестнице, которая манила его к себе в дом, а он приглашал ее согрешить всенародно на площади; та говорит: «Там нельзя; там люди увидят», а он говорит: «Я на людей-то не очень бы посмотрел, а вот как бы нас бог не увидал? Давай-ка лучше разойдемся».

«Ну, брат, — подумал я, — однако и ты от царства небесного недалеко ходишь»; а он во время сей краткой моей думы кувыркнулся в снег.

— Прощай, — говорит, — бачка, ты лопай, а я спать хочу.

И засопел своим могучим обычаем.

Это уже было темно; над нами опять разостлалось черное небо, и по нем, как искры по смоле, засверкали безлучные звезды.

Я тогда уже немножко препитался, то есть проглотил несколько кусочков сырого мяса, и стоял с медвежьим окороком на руках над спящим дикарем и вопрошал себя:

«Что за загадочное странствие совершает этот чистый, высокий дух в этом неуклюжем теле и в этой ужасной пустыне? Зачем он воплощен здесь, а не в странах, благословенных природою? Для чего ум его так скуден, что не может открыть ему творца в более пространном и ясном понятии?

Для чего, о боже, лишен он возможности благодарить тебя за просвещение его светом твоего Евангелия? Для чего в руке моей нет средств, чтобы возродить его новым торжественным рождением с усыновлением тебе Христом твоим? Должна же быть на все это воля твоя; если ты, в сем печальном его состоянии, вразумляешь его каким-то дивным светом свыше, то я верю, что сей свет ума его есть дар твой! Владыко мой, како уразумею: что сотворю, да не прогневлю тебя и не оскорблю сего моего искреннего?»

И в этом раздумье не заметил я, как небо вдруг вспыхнуло, загорелось и облило нас волшебным светом: все приняло опять огромные, фантастические размеры, и мой спящий избавитель представлялся мне очарованным могучим сказочным богатырем. Я пригнулся к нему и стал его рассматривать, словно никогда его до сей поры не видел, и что я скажу вам? — он мне показался прекрасен. Мнилось мне, что это был тот, на чьей шее обитает сила; тот, чья смертная нога идет в путь, которого не знают хищные птицы; тот, перед кем бежит ужас, сокративший меня до бессилия и уловивший меня, как в петлю, в мой собственный замысл. Скудно слово его, но зато он не может утешать скорбное сердце движением

губ, а слово его — это искра в движении его сердца. Как красноречива его добродетель, и кто решится огорчить его?… Во всяком разе не я. Нет, жив Господь, огорчивший ради его душу мою, это буду не я. Пусть плечо мое отпадет от спины моей и рука моя отломится от моего локтя, если я подниму ее на сего бедняка и на бедный род его! Прости меня, блаженный Августин, а я и тогда разномыслил с тобою и сейчас с тобою не согласен, что будто «самые добродетели языческие суть только скрытые пороки». Нет; сей, спасший жизнь мою, сделал это не по чему иному, как по добродетели, самоотверженному состраданию и благородству; он, не зная апостольского завета Петра, «мужался ради меня (своего недруга) и предавал душу свою в благотворение». Он покинул свой треух и бежал сутки в ледяной шапке, конечно, движимый не одним естественным чувством сострадания ко мне, а имея также religio, — дорожа *воссоединением* с тем хозяином, «который сверху смотрит». Что же я с ним сотворю теперь? возьму ли я у него эту религию и разобью ее, когда другой, лучшей и сладостнейшей, я лишен возможности дать ему, доколе «слова путают смысл смертного», а дел, для пленения его, показать невозможно? Неужто я стану страхом его нудить или выгодою

защиты обольщать? Никогда, да не будет он как Еммор и Сихем, обрезавшиеся ради дочерей и скотов Иаковлевых! Скотов и дочерей верою приобретающие — не веру, а дочерей и скотов только приобрящут, и семидал[37] от рук их будет тебе яко же и кровь свиная. А где же мои средства его воспитать, его *просветить*, когда нет их, этих средств, и все как бы нарочито так устроено, чтобы им не быть в моих руках? Нет; верно, прав мой Кириак: здесь печать, которой несвободною рукой не распечатаешь, — и благ мне по мысли пришел совет Аввакума пророка: «Аще умедлит, потерпи ему, яко идый приидет и не умедлит». Ей, гряди, Христос, ей, гряди сам в сие сердце чистое, в сию душу смирную; а доколе медлишь, доколе не изволишь сего… пусть милы ему будут эти снежные глыбы его долин, пусть в свой день он скончается, сброся жизнь, как лоза — дозревшую ягоду, как дикая маслина — цветок свой… Не мне ставить в колоды ноги его и преследовать его стези, когда сам Сый[38] написал перстом своим закон любви в сердце его и отвел его в сторону от дел гнева. Авва, отче, сообщай себя любящему

---

[37] Примечания: 37
Семидал (*церк.*) — самая тонкая пшеничная мука.

[38] Примечания: 38
Сам Сый — всегда и везде пребывающий бог.

тебя, а не испытующему, и пребудь благословен до века таким, каким ты по благости своей дозволил и мне, и ему, и каждому по-своему постигать волю твою. Нет больше смятения в сердце моем: верю, что ты открыл ему себя, сколько ему надо, и он знает тебя, как и все тебя знает:

> *Largior hic campos aether et lumine vestit*
> *Purpureo, solemque suum, sua sidera norunt!* [39]

подсказал моей памяти старый Виргилий, — и я поклонился у изголовья моего дикаря лицом донизу, и, став на колени, благословил его, и, покрыв его мерзлую голову своею полою, спал с ним рядом так, как бы я спал, обнявшись с пустынным ангелом.

---

[39] Примечания: 39

Пышнее здесь эфир одевает пространства в убранство пурпурного света, и познают люди здешние солнце свое и звезды свои! (*лат.*).

Глава двенадцатая

Досказывать ли вам конец? Он не мудренее начала.

Когда мы проснулись, дикарь подладил под меня принесенные им лыжи, вырубил мне шест, всунул в руки и научил, как его держать; потом подпоясал меня веревкою, взял ее за конец и поволок за собою.

Спросите: куда? — Прежде всего за медвежатину долг платить. Там мы надеялись взять собак и ехать далее; но поехали не туда, куда вначале влекла меня моя неопытная затея. В дымной юрте нашего кредитора ждало меня еще одно поучение, имевшее весьма решительное значение на всю мою последующую деятельность. В том было дело, что хозяин, которому мой дикарь шапку покинул, совсем не на охоту в то время ходил, когда прибегал мой избавитель, а он выручал моего Кириака, которого обрел брошенного его крещеным проводником среди пустыни. Да, господа, тут в юрте, близ тусклого вонючего огня, я нашел моего честного старца, и в каком ужасном, сердце сжимающем положении! Он весь обмерз; его чем-то смазали, и он еще жив был, но ужасный

запах, который обдал меня при приближении к нему, сказал мне, что дух, стерегший дом сей, отходит. Я поднял покрывавшую его оленью шкуру и ужаснулся: гангрена отделила все мясо его ног от кости, но он еще смотрел и говорил. Узнав меня, он прошептал:

— Здравствуй, владыко!

В несказанном ужасе я глядел на него и не находил слов.

— Я ждал тебя, вот ты и пришел; ну, слава богу. Видел степь? Какова показалась?... Ничего — жив будешь, опыт иметь будешь.

— Прости, — говорю, — меня, отец Кириак, что я тебя сюда завел.

— Полно, владыко. Благословен будь приход твой сюда; опыт получил, и живи, а меня скорей исповедуй.

— Хорошо, — говорю, — сейчас; где же у тебя святые дары, — они ведь с тобой были?

— Со мной были, — отвечает, — да нет их.

— Где же они?

— Их дикарь съел.

— Что ты говоришь!

— Да!.. съел! Ну, что говорить, — темный человек... спутан ум... Не мог его удержать... говорит: «Попа встречу — он меня простит». Что гово-

рить?… все спутал…

— Неужто же, — говорю, — он и миро съел!

— Все съел, и губочку съел, и дароносицу унес, и меня бросил… верит, что «поп простит»… Что говорить?… спутан ум… простим ему это, владыко, — пусть только нас Христос простит. Дай слово мне не искать его, бедного, или… если отыщешь его…

— Простить?

— Да; Христа ради прости и… как приедешь домой, гляди, вражкам ничего о нем не сказывай, а то они, лукавые, пожалуй, над бедняком-то свою ревность покажут. Пожалуйста, не сказывай.

Я дал слово и, опустясь возле умирающего на колени, стал его исповедовать; а в это самое время в полную людей юрту вскочила пестрая шаманка, заколотила в свой бубен; ей пошли подражать на деревянном камертоне и еще на каком-то непонятном инструменте, типа того времени, когда племена и народы, по гласу трубы и всякого рода муссикии, повергались ниц перед истуканом деирского поля, — и началось дикое торжество.

Это моление шло за нас и за наше избавление, когда им, может быть, лучше было бы молиться за свое от нас избавление, и я, архиерей, присутство-

вал при этом молении, а отец Кириак отдавал при нем свой дух богу и не то молился, не то судился с ним, как Иеремия пророк, или договаривался, как истинный свинопас евангельский, не словами, а какими-то воздыханиями неизглаголанными.

— Умилосердись, — шептал он. — Прими меня теперь как одного из наемников твоих! Настал час… возврати мне мой прежний образ и наследие… не дай мне быть злым дьяволом в аде; потопи грехи мои в крови Иисуса, пошли меня к нему!.. хочу быть прахом у ног его… Изреки: «Да будет так»…

Перевел дух и опять зовет:

— О доброта… о простота… о любовь!.. о радость моя!.. Иисусе!.. вот я бегу к тебе, как Никодим, ночью; вари[40] ко мне, открой дверь… дай мне слышать бога, ходящего и глаголющего!.. Вот… риза твоя уже в руках моих… сокруши стегно[41] мое… но я не отпущу тебя… доколе не благословишь со мной всех.

Люблю эту *русскую* молитву, как она еще в двенадцатом веке вылилась у нашего Златоуста, Кирилла в Турове, которою он и нам завещал «не

---

[40] Примечания: 40

Вари — здесь: спеши на помощь.

[41] Примечания: 41

Стегно (*церковнослав.*) — бедро.

токмо за свои молитися, но и за чужия, и не за единыя христианы, но и за иноверныя, да быша ся обратили к богу». Милый старик мой Кириак так и молился — за всех дерзал: «*всех*, — говорит, — благослови, а то не отпущу тебя!» Что с таким чудаком поделаешь?

С сими словами потянулся он — точно поволокся за Христовою ризою, — и улетел… Так мне и до сих пор представляется, что он все держится, висит и носится за ним, прося: «благослови *всех*, а то *не отстану*». Дерзкий старичок этот своего, пожалуй, допросится; а тот по доброте своей ему не откажет. У нас ведь это все in sancta simplicitate[42] *семейно* со Христом делается. Понимаем мы его или нет, об этом толкуйте как знаете, но а что мы живем с ним запросто — это-то уже очень кажется неоспоримо. А он попросту сильно любит…

---

[42] Примечания: 42
В святой простоте (*лат.*).

Глава тринадцатая

Я схоронил Кириака под глыбой земли на берегу замерзшего ручья и тут же узнал от дикарей гнусную новость, что мой успешный зырянин крестил… стыдно сказать — с *угощением*, попросту — с водочкой. Стыдом это в моих глазах все это дело покрыло, и не захотел я этого крестителя видеть и слышать о нем, а повернул назад к городу с решимостью сесть в своем монастыре за книги, без коих монаху в праздномыслии — смертная гибель, а в промежутках времени смирно стричь ставленников, да дьячих с мужьями мирить; но за святое дело, которое всвяте совершать нельзя кое-как, лучше совсем не трогаться — «не давать безумия богу».

Так я и сделал — и вернулся в монастырь умудренный опытом, что многострадальные миссионеры мои люди добрые и слава богу, что они такие, а не иные.

Теперь я ясно видел, что добрая слабость простительнее ревности не по разуму — в том деле, где нет средства приложить ревность разумную. А что таковая невозможна — в этом убеждала меня дожидавшаяся меня в монастыре бумага,

в коей мне сообщалось «к сведению», что в Сибири, кроме пятисот восьмидесяти буддийских лам, состоящих в штате при тридцати четырех кумирнях, допускаются еще ламы сверхштатные. Что же? ведь я не Канюшкевич или не Арсений Мациевич, — я епископ школы новой и с кляпом во рту в Ревеле сидеть не хочу, как Арсений сидел, да от этого и проку нет… Я принял известие об усилении лам «к сведению» и только вытребовал, как мог поскорее, к себе назад из степей зырянина и, навесив ему за успехи набедренник, яко меч духовный, оставил его в городе при соборе ризничим и наблюдателем за перезолоткою иконостаса; а своих ленивеньких миссионеров собрал да, в пояс им поклонясь, сказал:

— Простите меня, отцы и братия, что вашу доброту не понимал.

— Бог, — говорят, — простит.

— Ну, мол, спасибо, что вы милостивы, и будьте отныне везде и всегда паче всего милостивы, и бог милосердия будет на делах ваших.

И с тех пор во все мое остальное, довольно продолжительное пребывание в Сибири я никогда не смущался, если тихий труд моих проповедников не давал столь любимых великосветскими религиозными нетерпеливцами эффектных ре-

зультатов. Когда не было таких эффектов, я был покоен, что «водоносы по очереди наполняются»; но когда случайно у того или у другого из миссионеров являлась вдруг большая цифра… я, признаюсь вам, чувствовал себя тревожно… Мне припоминался то мой зырянин, то оный гвардейский креститель Ушаков либо советник Ярцев, которые были еще благопоспешнее, понеже у них, якоже и во дни Владимира, «благочестие со страхом бе сопряжено», и инородцы у них, еще до приезда миссионеров, уже просили крещения… Да только что же из всей их этой борзости и «благочестия со страхом сопряженного» вышло? — Мерзость запустения стала по святым местам, где были купели сих борзых крестильников, и… в этом путалось все — и ум, и сердце, и понятия людей, и я, худой архиерей, не мог с этим ничего сделать, да и хороший ничего не сделает, пока… пока, так сказать, мы всерьез станем заниматься верою, а не кичиться ею фарисейски, для блезира. Вот, господа, в каком положении бываем мы, русские крестители, и не оттого, чай, что не понимаем Христа, а именно оттого, что мы его понимаем и не хотим, чтобы имя его хулилось во языцех. И так я и жил уже, не лютуя с прежнею прытью, а терпеливо и даже,

может быть, леностно влача кресты, от Христа и не от Христа на меня ниспадавшие, из коих замечательнейшим был тот, что я, ревностно принявшись за изучение буддизма, сам рачением моего зырянина прослыл за потаенного буддиста… Так это при мне и осталось, хотя я, впрочем, ревность своего зырянина не стеснял и предоставлял ему орудовать испытанными, по своей верности, приемами князя Андрея Боголюбского, о коих выкликал над его гробом Кузьма-домочадец: «придет, дескать, бывало, язычник, ты велишь его весть в ризницу, — *пусть смотрит на наше истинное христианство*». И я зырянину предоставил кого он хочет водить в ризницу и все собранное там от нашего с ним «истинного христианства» со тщанием показывать… И было все это хорошо и довольно действенно; наше «истинное христианство» одобряли, но только, разумеется, может быть моему зырянину казалось скучно по два да по три человека крестить, да и впрямь оно скучно. Вот и до настоящего русского слова договорился: «скучно»! Скучно, господа, тогда было бороться с самодовольным невежеством, терпевшим веру только как политическое средство; зато теперь, может быть, еще скучнее бороться с равнодушием тех, которые,

заместо того чтобы другим светить, по удачному выражению того же Мациевича, «сами насилу веруют…» А вы ведь, современные умные люди, все думаете: «Эх, плохи наши епархиальные архиереи! Что они делают? Ничего они, наши архиереи, не делают». Не хочу за всех заступаться, многие из нас действительно очень немощны стали: под крестами спотыкаются, падают и уже не то, что кто-нибудь — заправский воротила, а даже иной рора mitratus[43] для них в своем роде владыкой становится, и все это, разумеется, из того, «что ми хощете дати», но а спросил бы я вас: что их до этого довело? Не то ли именно, что они, ваши епархиальные архиереи, обращены в администраторов и ничего живого не могут теперь делать? И знаете: вы, может быть, большою благодарностию им обязаны, что они в эту пору ничего не делают. А то они скрутили бы вам клейменым ремнем такие бремена неудобоносимые, что бог весть, расселся ли бы хребет вдребезги или разлетелся бы ремень пополам; но мы ведь *консерваторы*: бережем, как можем, «свободу, ею же Христос нас свободи», от таковых «содействий»… Вот, господа, почему мы слабо действуем

[43] Примечания: 43

Митрофорный священник (*лат.*) — то есть священник, награжденный митрой.

и содействуем. Не колите же нам глаз бывшими иерархами[44], как св. Гурий и другие. Св. Гурий умел просвещать — это правда; да ведь он для того и ехал-то в дикий край хорошо оснаряжен: с наказом и с правом «привлекать народ ласкою, кормами, *заступлением* перед властями, *печалованием*[45] за вины перед воеводами и судьями»; «*он обязан был*» участвовать с правителями в совете; а ваш сегодняшний архиерей даже с своим соседом архиереем не волен о делах посовещаться; ему словно ни о чем не надо думать: за него есть кому думать, а он обязан только все принять «*к сведению*». Чего же вы от него хотите, если ему ныне самому за себя уже негде стало печаловаться?... Эх, твори, господи, волю свою... Что может еще делаться, то как-то пока само делается, и я это видел под конец моего пастырства в Сибири. Приезжает раз ко мне один миссионер и говорит, что он напал на кочевье в том месте, где я зарыл моего Кириака, и там, у ручья, целую толпу окрестил в «Кириакова бога», как крестился некогда человек во имя «бога Иустинова». Добрый народ у

---

[44] Примечания: 44

Иерарх — высшее духовное лицо (епископ, архиепископ, митрополит, патриарх).

[45] Примечания: 45

Печалование (*древнерусск.*) — здесь: заступничество.

костей доброго старца возлюбил и понял бога, сотворившего сего добряка, и сам захотел служить богу, создавшему такое душевное «изящество».

Я за это велел Кириаку такой здоровый дубовый крест поставить, что от него не отрекся бы и галицкий князь Владимирко, вменявший ни во что целование креста малого; воздвигли мы Кириаку крест вдвое больше всего зырянина, — и это было самое последнее мое распоряжение по сибирской пастве.

Не знаю, кто этот крест срубит или уже до сих пор и срубил его: буддийские ли ламы или русские чиновники, — да, впрочем, это все равно…

Вот вам рассказ мой и кончен. Судите всех нас, в чем видите, — оправдываться не стану, а одно скажу, что мой простой Кириак понимал Христа, наверно, не хуже тех наших заезжих проповедников, которые бряцают, как кимвал звенящий[46], в ваших гостиных и ваших зимних садах. Там им и присутствовать, среди жен Лотовых, из коих каждая, каких бы словес ни наслушалась, в Сигор не уйдет, а, пофинтив перед богом, доколе у нас очень скучненько живется, при малейшем изменении в жизни опять к своему Содому обернется

---

[46] Примечания: 46

Кимвал — древний музыкальный инструмент.

и столбом станет. Вот в чем и будет заключаться весь успех этой салонной христовщины. Что нам до этих чудодеев? Они хотят не понизу идти, а поверху летать, но, имея, как прузи, крыльца малые, а чревища великие, далеко не залетят и не прольют ни света веры, ни услады утешения в туманы нашей родины, где в дебрь из дебри ходит *наш* Христос — благий и добрый и, главное, до того терпеливый, что даже всякого самого плохенького из слуг своих он научил с покорностью смотреть, как разоряют его дело те, которые должны бы сугубо этого бояться. Мы ко всему притерпелися, потому что нам уже это не первый снег на головы. Было и то, что наш «*Камень веры*» прятали, а «*Молот*» на него немецкого изделия всем в руки совали, и стричь-то и брить-то нас хотели, и в аббатиков переделать желали. Один благодетель, Голицын, нам свое юродское богословие указывал проповедовать; другой, Протасов, нам своим пальцем под самым носом грозил; а третий, Чебышев, уже всех превзошел и на гостином дворе, как и в синоде, открыто «гнилые слова» изрыгал, уверяя всех, что «бога нет и говорить о нем глупо»… А кого еще вперед сретать будем и что нам тот или другой новый петух запоет, про то и гадать нельзя. Одно утешение,

что все они, эти радетели церкви русской, ничего ей не сделают, потому что не равна их борьба: церковь неразорима, как здание апостольское, а в сих певнях[47] дух пройдет, и не познают они места своего. Но вот что, господа, мне кажется крайне бестактно, — это то, что иные из этих, как их ныне стали звать, лица высокопоставленные, или широкорасставленные, нашей скромности не замечают и ее не ценят. Это, поистине скажу, неблагодарно: им бы не резон нарекать на нас, что мы терпеливы да смирны... Будь мы понетерпеливее, так, бог весть, не стали бы сожалеть об этом очень многие, и больше всех те, иже в трудех не суть и с человеки ран не приемлют, а, обложив туком свои лядвии, праздно умствуют, во что бы им начать верить, чтобы было только о чем-нибудь умствовать. Поцените же вы, господа, хоть святую скромность православия и поймите, что верно оно дух Христов содержит, если терпит все, что богу терпеть угодно. Право, одно его смирение похвалы стоит; а живучести его надо подивиться и за нее бога прославить.

Мы все без уговора невольно отвечали:

---

[47] Примечания: 47
Певни — петухи.

— Аминь.[48]

[48] Примечания: 48

Аминь — еврейское слово, перешедшее в европейские языки и означающее: воистину так.

Очарованный странник

Глава первая

Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле. Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли.

После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять: для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

— Я уверен, — сказал этот путник, — что в настоящем случае непременно виновата рутина, или в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.

Кто-то, часто здесь путешествующий, ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.

— Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан (этого рода ссылки я уже и понять не мог). Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять; а потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».

— Какая же на это последовала резолюция?

— М… н… не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.

— И прекрасно сделал, — откликнулся философ.

— Прекрасно? — переспросил рассказчик, очевидно купец, и притом человек солидный и религиозный.

— А что же? по крайней мере умер, и концы в воду.

— Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может.

Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил, но зато и против него и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства.

Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах — этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки, а в

сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого. Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор».

Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою.

— Это все ничего не значит, — начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх, по-гусарски закрученных седых усов. — Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться — это тоже пустяки, потому что есть такой чело-

век, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти?

— А вот кто-с, — отвечал богатырь-черноризец, — есть в московской епархии в одном селе попик — прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли, — так он ими орудует.

— Как же вам это известно?

— А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.

Черноризец нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:

— Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили?

Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не

отказался и начал следующее:

— Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница, — пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыко и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает: «До чего, думает, я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталося: тогда, по крайней мере, владыко сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал». Вот и хорошо: так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина: я не без души, — куда потом моя душа пойдет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну, хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на

диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или этак только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?», потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел; ан, вместо служки, смотрят — входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергий.

Владыко и говорят:

— Ты ли это, пресвятой отче Сергие?

А угодник отвечает:

— Я, раб Божий Филарет.

Владыко спрашивают:

— Что же твоей чистоте угодно от моего недостоинства?

А святой Сергий отвечает:

— Милости хощу.

— Кому же повелишь явить ее?

А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишен, и сам удалился; а владыко проснулись и думают: «К чему это причесть: простой это сон, или мечтание, или духоводительное видение?» И стали они размышлять и, как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергий, постник и доброго, строгого жития

блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением. Ну-с, хорошо: рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оного течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить: грохот… такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить… Скачут… числа им нет, сколько рыцарей… несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони что львы, вороные, а впереди их горделивый стратопедарх[49] в таком же уборе, и куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыко не знают, к чему этот поезд, а оный горделивец командует: «Терзайте, — говорит, — их: теперь нет их молитвенника», — и проскакал мимо; а за сим стратопедархом — его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и всё кивают владыке грустно и жалостно, и всё сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его! — он один за нас молится». Владыко как изволили

[49] Примечания: 49
Стратопедарх — начальник военного лагеря.

встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают: как и за кого он молится? А поп по бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыко, как положено совершаю». И насилу его высокопреосвященство добились, что он повинился: «Виноват, — говорит, — в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой проскомидии за без покаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь...» Ну, тут владыко и поняли, что то за тени пред ним в видении, как тощие гуси, плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика: «Ступай, — изволили сказать, — и к тому не согрешай, а за кого молился — молись», — и опять его на место отправили. Так вот он, этакий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них создателю докучать, и тот должен будет их простить.

— Почему же *«должен»?*

— А потому, что «толцытеся»; ведь это от него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.

— А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника за самоубийц разве никто не молится?

— А не знаю, право, как вам на это что доложить? Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. На Троицу, не то на Духов день, однако, кажется даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

— А их нельзя разве читать в другие дни?

— Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных: те, думается, должны бы знать; да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить.

— А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

— Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю.

— Отчего же это?

— Занятия мои мне не позволяют.

— Вы иеромонах или иеродиакон?

— Нет, я еще просто в рясофоре[50].

— Все же ведь уже это, значит, вы инок?

— Н… да-с; вообще это так почитают.

— Почитать-то почитают, — отозвался на это купец, — но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал:

— Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, да и мне военная служба не в диковину.

— Разве вы служили в военной службе?

— Служил-с.

— Что же, ты из ундеров, что ли? — снова спросил его купец.

— Нет, не из ундеров.

— Так кто же: солдат, или вахтер, или помазок — чей возок?

— Нет, не угадали; но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого детства.

---

[50] Примечания: 50

Рясофор — ношение в монастыре монашеской одежды без пострижения.

— Значит, кантонист[51]? — сердясь, добивался купец.

— Опять же нет.

Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?

— Я *конэсер.*

— Что-о-о тако-о-е?

— Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах[52] состоял для их руководствования.

— Вот как!

— Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельною лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

— Как же вы таких усмиряли?

— Я… я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да в

---

[51] Примечания: 51

Кантонист — В России до 1856 года кантонистами назывались дети солдат, обязанные уже в силу своего происхождения служить в армии.

[52] Примечания: 52

Ремонтер — офицер, занятый подбором и закупкой лошадей для кавалерийской части.

сторону, а правою кулаком между ушей по башке, да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее у иной даже инда мозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется, — она и усмиреет.

— Ну, а потом?

— Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

— И лошадь после этого смирно идет?

— Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбился и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и выщелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей приезжал, — «бешеный усмиритель» он назывался, — так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела; но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила;

а то бы ему смерть; а я ее направил как должно.

— Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?

— С Божиею помощию-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть; а я совсем противное тому средство изобрел; я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего, говорю, это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомиловскую заставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы его в поводьях в лощину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в однех шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный поясок от святого храброго князя Всеволода-Гавриила из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил; а на том пояске его надпись заткана:

«Чести моей никому не отдам». В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной — крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце так не белее яко в два фунта, а в другой — простой муравный[53] горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите, говорю, скорее с него, мерзавца, узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! или не слышите? Что я вам приказываю — вы то сейчас исполнять должны!» А они отвечают: «Что ты, Иван Северьяныч (меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали): как, говорят, это можно, что ты велишь узду снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово; но тут уже и я совсем рассвирепел да как заскриплю

---

[53] Примечания: 53
Муравный — глазированный.

зубами — они сейчас в одно мгновение узду сдернули, да сами, кто куда видит, бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб: горшок разбил, а тесто ему и потекло и в глаза и в ноздри. Он испужался, думает: «Что это такое?» А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза теста натираю, а нагайкой его по боку щелк… Он ёк да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой еще по другому боку… Да и пошел, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка… Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь, и, наконец, оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул. Ну, тут я вижу, что он пардону просит, поскорее с него сошел, протер ему глаза,

взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, песья снедь!» да как дерну его книзу — он на колени передо мною и пал, и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался и ездил, но только скоро издох.

— Издох однако?

— Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.

— Что же, вы служили у него?

— Нет-с.

— Отчего же?

— Да как вам сказать! Первое дело, что я ведь был конэсер и больше к этой части привык — для выбора, а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость.

— Какая же?

— Хотел у меня секрет взять.

— А вы бы ему продали?

— Да, я бы продал.

— Так за чем же дело стало?

— Так… он сам меня, должно быть, испугался.

— Расскажите, сделайте милость, что это еще

за история?

— Никакой-с особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет — я тебе большие деньги дам и к себе в конэсеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю: «Какой же секрет? — это глупость». А он все с аглицкой, ученой точки берет, и не поверил; говорит: «Ну, если ты не хочешь так, в своем виде, открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он раскраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что...» — да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примеру стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет — и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.

— Поэтому вы к нему и не поступили?

— Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень

понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.

— А вы что же почитаете своим призванием?

— А не знаю, право, как вам сказать… Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.

— А когда же вы в монастырь пошли?

— Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.

— И тоже призвание к этому почувствовали?

— М… н… н… не знаю, как это объяснить… впрочем, надо полагать, что имел-с.

— Почему же вы это так… как будто не наверное говорите?

— Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?

— Это отчего?

— Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.

— А чьею же?

— По родительскому обещанию.

— И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?

— Всю жизнь свою я погибал, и никак не мог погибнуть.

— Будто так?

— Именно так-с.

— Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.

— Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.

— Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет.

— Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

Глава вторая

Бывший конэсер Иван Северьяныч, господин Флягин, начал свою повесть так:

— Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. из Орловской губернии. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил жить, был огромный, великий домина, флигеля для приезду, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли; были свои ткацкие, и всякие свои мастерства содержались; но более всего обращалось внимания на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании и все равно как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха — конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика

— кормовик, чтобы с гумна на варки[54] корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил, и в царский проезд один раз в седьмом номере был, и старинною синею ассигнациею жалован. От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и ее не помню, потому как я был у нее *молитвенный сын*, значит, она, долго детей не имея, меня себе у Бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто *Голован*. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни — отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обу-

[54] Примечания: 54
Ворок — скотный двор.

чали их. У нас у всякого кучера с форейтором были шестерики, и все разных сортов: вятки, казанки, калмыки, битюцкие, донские — все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались, а то, разумеется, больше было своих, заводских, но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смирные и ни сильного характера, ни фантазии веселой не имеют, а вот эти дикари, это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками, как есть весь табун, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются: стоят на дворе — всё дивятся и даже от стен шарахаются, а всё только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет… И овса или воды из корыта ни за что попервоначалу ни пить, ни есть не станет, и так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато которые оборкаются и оста-

нутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придется, потому что на их дикость одно средство — строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравниться по ездовой добродетели.

Родитель мой, Северьян Иваныч, правил киргизским шестериком, а когда я подрос, так меня к нему в этот же шестерик форейтором посадили. Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофишенками звали, потому что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь, аспид и василиск, все вместе: морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривье… ну то есть, просто сказать, ужасть! Устали они никогда не знали; не только что восемьдесят, а даже и сто и сто пятнадцать верст из деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на форейторскую подседельную сел, было еще всего одиннадцать лет, и голос у

меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских форейторов требовалось: самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «дддиди-и-и-тты-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своем силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседлывали к лошади, то есть к седлу и к подпругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придешь. Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать; ну а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало, едешь, да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть. Это форейторское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, и граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит, а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый пово-

рот верст на пятнадцать к монастырю, который называется П… пустынь. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было: преестественно, там на казенной дороге нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчат; а у монахов к пустыне дорожка в чистоте, разметена вся, и подчищена, и по краям саженными березами обросла, и от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный… Словом сказать — столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя, так я держусь, скачу; но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек, и вдруг я завидел тут впереди себя малую точку… что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянул «дддд-и-и-и-т-т-т-ы-о-о», и с версту все это звучал, и до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стременах подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и как его, верно, приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасался, крепко-прекрепко спит, так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет,

взял в сторону, да, поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами да как полосну его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я ноне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал, верно, спросонья, где край, да кувырк с воза под колесо и в пыли-то и пополз… в вожжи ногами замотался… Мне, и отцу моему, да и самому графу сначала это смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу, у моста, зацепили колесом за надолбу и стали, а он не поднимается и не ворочается… Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый, в пыли, и на лице даже носа не значится, а только трещина, и из нее кровь… Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал,

но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба, плачет. Я говорю:

— Чего тебе от меня надо? пошел прочь!

А *он* отвечает:

— Ты, — говорит, — меня без покаяния жизни решил.

— Ну, мало чего нет, — отвечаю. — Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем, — говорю, — тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено.

— Кончено-то, — говорит, — это действительно так, и я тебе очень за это благодарен, а теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее *моленый сын*?

— Как же, — говорю, — слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала.

— А знаешь ли, — говорит, — ты еще и то, что ты *сын обещанный*?

— Как это так?

— А так, — говорит, — что ты Богу обещан.

— Кто же меня Ему обещал?

— Мать твоя.

— Ну так пускай же, — говорю, — она сама придет мне про это скажет, а то ты, может быть, это выдумал.

— Нет, я, — говорит, — не выдумывал, а ей прийти нельзя.

— Почему?

— Так, — говорит, — потому, что у нас здесь не то, что у вас на земле: здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь, — говорит, — так я тебе дам знамение в удостоверение.

— Хочу, — отвечаю, — только какое же знамение?

— А вот, — говорит, — тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы.

— Чудесно, — отвечаю, — согласен и ожидаю.

Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графинею в Воронеж, — к новоявленным мощам маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли, — и остановились в Елецком уезде, в селе Крутом лошадей

кормить, я и опять под колодой уснул, и вижу — опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит:

— Слушай, Голованька, мне тебя жаль, просись скорей у господ в монастырь — они тебя пустят.

Я отвечаю:

— Это с какой стати?

А он говорит:

— Ну; гляди, сколько ты иначе зла претерпишь.

Думаю, ладно; надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил, и с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем, а гора здесь прекрутая-крутищая, и сбоку обрыв, в котором тогда невесть что народу погибало. Граф и говорит:

— Смотри, Голован, осторожнее.

А я на это ловок был, и хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые: могли так спускать, что просто хвостом на землю садились, но один из них, подлец, с астрономией был — как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет и прах его знает куда на небо созерцает. Эти астрономы в корню — нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, за конем с такою

повадкою форейтор завсегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и невесть куда попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу: своих подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводами держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходятся, а дышло у них промежду крупов, а у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами, и чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе, и он сейчас морду спустит, и отлично съедем. Так и на этот раз: спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, ни моего кнута не чует, весь рот в крови от удилов и глаза выворотил, а сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело, да хлоп, и весь экипаж сразу так и посунулся… Тормоз лопнул! Я кричу отцу: «Держи! держи!» И он сам орет: «Держи! держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокаженные несутся и сами ничего не видят, а перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит… вожжа оборвалась… А впереди та страшная пропасть… Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель,

с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис... Не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышловиков так сдушил, что они захрипели и... гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самою пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил.

Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой-то избе, и здоровый мужик говорит мне:

— Ну что, неужели ты, малый, жив?

Я отвечаю:

— Должно быть, жив.

— А помнишь ли, — говорит, — что с тобою было?

Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли и я на конец дышла бросился и повис над ямищей; а что дальше было — не знаю.

А мужик и улыбается:

— Да и где же, — говорит, — тебе это знать. Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели — расшиблись, а тебя это словно какая невидимая сила спасла: как на глиняну глыбу

сорвался, упал, так на ней вниз как на салазках и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим — ты дышишь, только воздухом дух оморило. Ну, а теперь, — говорит, — если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику: граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть.

Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии «барыню» играл.

Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке:

— Вот, — говорит, — мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны.

Графиня только головою закачала, а граф говорит:

— Проси у меня, Голован, что хочешь, — я все тебе сделаю.

Я говорю:

— Я не знаю, чего просить!

А он говорит:

— Ну, чего тебе хочется?

А я думал-думал да говорю:

— Гармонию.

Граф засмеялся и говорит:

— Ну, ты взаправду дурак, а впрочем, это са-

мо собою, я сам, когда придет время, про тебя вспомню, а гармонию, — говорит, — ему сейчас же купить.

Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию:

— На, — говорит, — играй.

Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил, а потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли.

Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться, да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься; а я сам не знаю зачем, себе гармонию выпросил, и тем первое самое призвание опроверг, и оттого пошел от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.

Глава третья

Не успел я, по сем облагодетельствовании своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилося мне завесть у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей — голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень они мне нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собою целуются… Утешно на все на это молодому ребенку смотреть.

И пошли у них после этого целования дети; одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели и еще вывели… Маленькие такие это голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут «кошачьи просвирки», а носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные… Стал я их, этих голубяток, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмот-

релся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся — все его этим голубенком дразню; да потом как стал пичужку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада; я его и в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел; нет, пропал да и полно! Я рассердился, взял да и вышвырнул его вон за окно. Ну ничего; другой в гнезде остался, а этого дохлого откуда ни возьмись белая кошка какая-то мимо бежала и подхватила и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну да думаю себе, прах с ней — пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая уже другого, живого моего голубенка тащит.

«Ну, — думаю, — нет, зачем же, мол, это так делать?» — да вдогонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал, — так она моего голубенка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться, и опять у них парка детей готовы, а та проклятая кошка опять как тут… Лихо ее знает, как это она все это наблюдала, но только гляжу я,

один раз она среди белого дня опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне такой силок, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнуло, и она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордою и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю: издохла или не издохла? Сем, думаю, испробовать, жива она или нет? и положил я ее на порог да топориком хвост ей и отсек: она этак «мяя», вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и побежала.

«Хорошо, — думаю, — теперь ты сюда небось в другой раз на моих голубят не пойдешь»; а чтобы ей еще страшнее было, так я наутро взял да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил, и очень этим был доволен. Но только так через час или не более как через два, смотрю, вбегает графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не

была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит:

— Ага, ага! вот это кто? вот это кто!

Я говорю:

— Что такое?

— Это ты, — говорит, — Зозиньку изувечил? Признавайся: это ведь у тебя ее хвостик над окном приколочен?

Я говорю:

— Ну так что же такое за важность, что хвостик приколочен?

— А как же ты, — говорит, — это смел?

— А она, мол, как смела моих голубят есть?

— Ну, важное дело твои голубята!

— Да и кошка, мол, тоже небольшая барыня.

Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал.

— Что, — говорю, — за штука такая кошка.

А та стрекоза:

— Как ты эдак смеешь говорить: ты разве не знаешь, что это моя кошка и ее сама графиня ласкала, — да с этим ручкою хвать меня по щеке, а я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от дверей грязную метлу, да ее метлою по талии…

Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в

контору к немцу-управителю судить, и он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить… Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогоже снесли, но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить… это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился с своею жизнью покончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакейчонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался, а оттудова в осиновый лесок за огуменником, стал на колены, помолился за вся християны, привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталося скакнуть, да и вся б недолга была… Я бы все это от своего характера пресвободно и исполнил, но только что размахнулся да соскочил с сука и повис, как, гляжу, уже я на земле лежу, а передо мною стоит цыган с ножом и смеется — белые-пребелые зубы, да так ночью середь черной морды и сверкают.

— Что это, — говорит, — ты, батрак, делаешь?

— А тебе, мол, что до меня за надобность?

— Или, — пристает, — тебе жить худо?

— Видно, — говорю, — не сахарно.

— Так чем своей рукой вешаться, пойдем, — говорит, — лучше с нами жить, авось иначе повиснешь.

— А вы кто такие и чем живете? Вы ведь небось воры?

— Воры, — говорит, — мы и воры, и мошенники.

— Да; вот видишь, — говорю, — а при случае, мол, вы, пожалуй, небось и людей режете?

— Случается, — говорит, — и это действуем.

Я подумал-подумал, что тут делать: дома завтра и послезавтра опять все то же самое, стой на дорожке на коленях, да тюп да тюп молоточком камешки бей, а у меня от этого рукомесла уже на коленках наросты пошли и в ушах одно слышание было, как надо мною все насмехаются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются все: «А еще, — говорят, — спаситель называешься: господам жизнь спас». Просто терпения моего не стало, и, взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники.

Глава четвертая

Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит:

— Чтоб я, — говорит, — тебе поверил, что ты назад не уйдешь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать.

Я закручинился: страсть как мне не хотелось воровать; однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов; и я, знавши в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали, а цыган еще до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному и другому коню на шеи, и мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя, и мы на них к утру стали за сто верст под городом Карачевом. Тут мы этих коней враз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За коней мы взяли триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию, а цыган мне дает всего один серебряный целковый и говорит:

— Вот тебе твоя доля.

Мне это обидно показалось.

— Как, — говорю, — я же тех лошадей крал и за то больше тебя пострадать мог, а за что же моя доля такая маленькая?

— Потому, — отвечает, — что такая выросла.

— Это, — говорю, — глупости: почему же ты себе много берешь?

— А опять, — говорит, — потому, что я мастер, а ты еще ученик.

— Что, — говорю, — ученик, — ты это все врешь! — да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю:

— Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец.

А он отвечает:

— И отстань, брат, Христа ради, потому что ты беспачпортный, еще с тобою спутаешься.

Так мы и разошлись, и я было пошел к заседателю, чтобы объявиться, что я сбеглый, но только рассказал я эту свою историю его писарю, а тот мне и говорит:

— Дурак ты, дурак: на что тебе объявляться; есть у тебя десять рублей?

— Нет, — говорю, — у меня один целковый есть, а десяти рублей нету.

— Ну так, может быть, еще что-нибудь есть, может быть серебряный крест на шее, или вон это что у тебя в ухе: серьга?

— Да, — говорю, — это сережка.

— Серебряная?

— Серебряная, и крест, мол, тоже имею от Митрофания серебряный.

— Ну, скидавай, — говорит, — их скорее и давай их мне, я тебе отпускной вид напишу, и уходи в Николаев, там много людей нужно, и страсть что туда от нас бродяг бежит.

Я ему отдал целковый, крест и сережку, а он мне вид написал и заседателеву печать приложил и говорит:

— Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру, но только уже жалею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай, — говорит, — и кому еще нужно — ко мне посылай.

«Ладно, — думаю, — хорош милостивец: крест с шеи снял, да еще и жалеет». Никого я к нему не посылал, а все только шел Христовым именем без грошика медного.

Прихожу в этот город и стал на торжок, чтобы наниматься. Народу наемного самая малость вышла — всего три человека, и тоже все, должно

быть, точно такие, как я, полубродяжки, а нанимать выбежало много людей, и всё так нас нарасхват и рвут, тот к себе, а этот на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всех от меня отпихнул и схватил меня за обе руки и поволок за собою: сам меня ведет, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и преподло бранится, а у самого на глазах слезы. Привел он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный, и говорит:

— Скажи правду: ты ведь беглый?

Я говорю:

— Беглый.

— Вор, — говорит, — или душегубец, или просто бродяга?

Я отвечаю:

— На что вам это расспрашивать?

— А чтобы лучше знать, к какой ты должности годен.

Я рассказал все, отчего я сбежал, а он вдруг кинулся меня целовать и говорит:

— Такого мне и надо, такого мне и надо! Ты, — говорит, — верно, если голубят жалел, так ты можешь мое дитя выходить: я тебя в няньки беру.

Я ужаснулся.

— Как, — говорю, — в няньки? я к этому обстоятельству совсем не сроден.

— Нет, это пустяки, — говорит, — пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мне беда, потому что у меня жена с ремонтером отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку, а мне ее кормить некогда и нечем, так ты ее мне выкормишь, а я тебе по два целковых в месяц стану жалованья платить.

— Помилуйте, — отвечаю, — тут не о двух целковых, а как я в этой должности справлюсь?

— Пустяки, — говорит, — ведь ты русский человек? Русский человек со всем справится.

— Да, что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина, и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарен.

— А я, — говорит, — на этот счет тебе в помощь у жида козу куплю: ты ее дои и тем молочком мою дочку воспитывай.

Я задумался и говорю:

— Конечно, мол, с козою отчего дитя не воспитать, но только все бы, — говорю, — кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь.

— Нет, ты мне про женщин, пожалуйста, — отвечает, — не говори: из-за них-то тут все истории и поднимаются, да и брать их неоткуда, а ты если

мое дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать да в полицию, а оттуда по пересылке отправят. Выбирай теперь, что тебе лучше: опять у своего графа в саду на дорожке камни щелкать или мое дитя воспитывать?

Я подумал: нет, уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим барином в лапше съели, а козочку я подоил и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такое поганое, жалкое: все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда, прохвостик, дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть, а я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корытце да хорошенько ее вымою, а если где на кожечке сыпка зацветет, я ее сейчас мучкой подсыплю; или головенку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху да пойду на лиман белье полоскать, — и коза-то, и та к нам привыкла, бывало за нами тоже гулять идет. Так я дожил до

нового лета, и дитя мое подросло и стало дыбки стоять, но замечаю я, что у нее что-то ножки колесом идут. Я было на это барину, показал, но он ничего на то не уважил и сказал только:

— Я, — говорит, — тут чем причинен? снеси ее лекарю, покажи: пусть посмотрит.

Я понес, а лекарь говорит:

— Это аглицкая болезнь, надо ее в песок сажать.

Я так и начал исполнять: выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть, и как погожий теплый день, я заберу и козу и девочку и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По целым дням таким манером мы втроем одни проводили, и это мне лучше всего было от скуки, потому что скука, опять повторю, была ужасная, и особенно мне тут весною, как я стал девочку в песок закапывать да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман рокочет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто что-то плывет на меня чародейное, и нападает страшное мечтание: вижу

какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: «Иван! Иван! иди, брат Иван!» Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскликались! оглянешься кругом: тоска; коза уже отойдет далеко, бродит, травку щипет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего… Ух, как скучно! пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: «Иван! пойдем, брат Иван!» Даже выругаешься, скажешь: «Да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня так зовешь?» И вот я так раз озлобился и сижу да гляжу вполсна за лиман, и оттоль как облачко легкое поднялось и плывет, и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, еще вымочишь! Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, форейтором бывши, кнутом засек. Я говорю: «Тпружи! пошел прочь!» А он этак ласково звенит: «Пойдем, Иван, брат, пойдем! тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь». Я его во сне выругал и говорю: «Куда я с тобой пойду и чего еще достигать буду». А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне и сам не знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины, как вот

бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что вижу, послышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь… взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьем ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколышется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: «Свят!»

«Ну, — думаю, — опять это мне про монашество пошло!» и с досадою проснулся и в удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку на коленях, самого нежного вида, и рекарекой разливается-плачет.

Я долго на это смотрел, потому что все думал: не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает, я и встал и подхожу, вижу — дама девочку мою из песку выкопала, и схватила ее на руки, и целует, и плачет.

Я спрашиваю ее:

— Что надо?

А она ко мне и бросилась и жмет дитя к груди,

а сама шепчет:

— Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!

Я говорю:

— Ну так что же в этом такое?

— Отдай, — говорит, — мне ее.

— С чего же ты это, — говорю, — взяла, что я ее тебе отдам?

— Разве тебе, — плачет, — ее не жаль? видишь, как она ко мне жмется.

— Жаться, мол, она глупый ребенок — она тоже и ко мне жмется, а отдать я ее не отдам.

— Почему?

— Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена — вон и коза с нами ходит, а я дитя должен отцу приносить.

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать.

— Ну, хорошо, — говорит, — ну, не хочешь дитя мне отдать, так по крайней мере не сказывай, — говорит, — моему мужу, а твоему господину, что ты меня видел, и приходи завтра опять сюда на это самое место с ребенком, чтобы я его еще поласкать могла.

— Это, мол, другое дело, — это я обещаю и исполню.

И точно, я ничего про нее своему барину не ска-

зал, а наутро взял козу и ребенка и пошел опять к лиману, а барыня уже ждет. Все в ямочке сидела, а как нас завидела, выскочила, и бегит, и плачет, и смеется, и в обеих ручках дитю игрушечки сует и даже на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку, и кисет с табаком, и расческу.

— Кури, — говорит, — пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить.

И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания: барыня все с дитем, а я сплю, а порой она мне начнет рассказывать, что она того… замуж в своем месте за моего барина насильно была выдана… злою мачехою и того… этого мужа своего она не того… говорит, никак не могла полюбить. А того… этого… другого-то, ремонтерато… что ли… этого любит и жалуется, что против воли, говорит, своей я ему… предана. Потому муж мой, как сам, говорит, знаешь, неаккуратной жизни, а этот с этими… ну, как их?… с усиками, что ли, прах его знает, и очень чисто, говорит, он завсегда одевается, и меня жалеет, но только же опять я, говорит, со всем с этим все-таки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного у его товари-

ща, но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дите страдать буду.

— Ну что же, мол, делать: если ты, презрев закон и релегию, свой обряд изменила, то должна и пострадать.

А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалостнее стала плакать, и мне жалобами докучает, и вдруг ни с того ни с сего стала всё мне деньги сулить. И наконец пришла последний раз прощаться и говорит:

— Послушай, Иван (она уже имя мое знала), послушай, — говорит, — что я тебе скажу: нынче, — говорит, — он сам сюда к нам придет.

Я спрашиваю:

— Кто это такой?

Она отвечает:

— Ремонтер.

Я говорю:

— Ну так что ж мне за причина?

А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне тысячу рублей дать за то, чтобы я, то есть, ей ее дочку отдал.

— Ну, уж вот этого, — говорю, — никогда не

будет.

— Отчего же, Иван? отчего же? — пристает. — Неужто тебе меня и ее не жаль, что мы в разлуке?

— Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам, а потому все ремонтеровы тысячи пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне.

Она плакать, а я говорю:

— Ты лучше не плачь, потому что мне все равно.

Она говорит:

— Ты бессердечный, ты каменный.

А я отвечаю:

— Совсем, мол, я не каменный, а такой же как все, костяной да жильный, а я человек должностной и верный: взялся хранить дитя, и берегу его.

Она убеждает, что ведь, посуди, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет!

— Опять-таки, — отвечаю, — это не мое дело.

— Неужто же, — вскрикивает она, — неужто же мне опять с дитем моим должно расставаться?

— А что же, — говорю, — если ты, презрев закон и релегию…

Но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу, к нам по степи легкий улан идет.

Тогда полковые еще как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то что как нынешние, вроде писарей. Идет этот улан-ремонтер, такой осанистый, руки в боки, а шинель широко наопашку несет… силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсисто… Гляжу на этого гостя и думаю: «Вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть». И решил, что чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как ни можно хуже согрублю, и авось, мол, мы с ним здесь, бог даст, в свое удовольствие подеремся. Это, восторгаюсь, будет чудесно, и того, что мне в это время говорит и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу.

Глава пятая

Только, решивши себе этакую потеху добыть, я думаю: как бы мне лучше этого офицера раздразнить, чтобы он на меня нападать стал? и взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать; а офицер подходит и прямо к той своей барыньке.

Она ему — та-та-та, та-та: все, значит, о том, что я ей дитя не даю.

А он ее по головке гладит и говорит:

— Ничего это, душенька, ничего: я против него сейчас средство найду. Деньги, — говорит, — раскинем, у него глаза разбежатся; а если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка, — и с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит:

— Вот, — говорит, — тут ровно тысяча рублей, — отдай нам дитя, а деньги бери и ступай, куда хочешь.

А я нарочно невежничаю, не скоро ему отвечаю: прежде встал потихонечку; потом гребень на поясок повесил, откашлянулся и тогда молвил:

— Нет, — говорю, — это твое средство, ваше

благородие, не подействует, — а сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них да и бросил, говорю:

— Тубо, — пиль, апорт, подними!

Он огорчился, весь покраснел, да на меня; но мне, сами можете видеть мою комплекцию, — что же мне с форменным офицером долго справляться: я его так слегка пихнул, он и готов: полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю:

— Вот тебе, — говорю, — и храбрость твою под ногой придавлю.

Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик: видит, что сабельки ему у меня уже не отнять, так распоясал ее, да с кулачонками ко мне борзо кидается… Разумеется, и эдак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден: я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать.

Как перестали мы драться, я кричу:

— Возьми же, ваше сиятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится!

Что же вы думаете: ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается; но, разумеется, он

берет дитя за руку, а я сейчас же хвать за другую и говорю:

— Ну, тяни его: на чию половину больше оторвется.

Он кричит:

— Подлец, подлец, изверг! — и с этим в лицо мне плюнул и ребенка бросил, а уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии прежалобно вопит и, насильно влекома, за ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне и к дите простирает… и вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина к дитяти… А в эту самую минуту от города, вдруг вижу, бегит мой барин, у которого я служу, и уже в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета да кричит:

— Держи их, Иван! Держи!

«Ну как же, — думаю себе, — так я тебе и стану их держать? Пускай любятся!» — да догнал барыньку с уланом, даю им дитя и говорю:

— Нате вам этого пострела! только уже теперь и меня, — говорю, — увозите, а то он меня правосудию сдаст, потому что я по беззаконному паспорту.

Она говорит:

— Уедем, голубчик Иван, уедем, будем с нами

жить.

Так мы и ускакали и девчурку, мою воспитомку, с собой увезли, а тому моему барину коза, да деньги, да мой паспорт остались.

Всю дорогу я с этими своими с новыми господами все на козлах на тарантасе, до самой Пензы едучи, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? ведь он присягу принимал, и на войне с саблею отечество защищает, и сам государь ему, по его чину, может быть, «вы» говорит, а я, дурак, его так обидел!.. А потом это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня еще судьба определит; а в Пензе тогда была ярмарка, и улан мне говорит:

— Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя.

Я говорю:

— Почему же?

— А потому, — отвечает, — что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет.

— Нет, у меня был, — говорю, — паспорт, только фальшивый.

— Ну вот видишь, — отвечает, — а теперь у тебя и такого нет. На же вот тебе двести рублей денег на дорогу и ступай с Богом, куда хочешь.

А мне, признаюсь, ужасть как неохота была

никуда от них идти, потому что я то дитя любил; но делать нечего, говорю:

— Ну, прощайте, — говорю, — покорно вас благодарю на вашем награждении, но только еще вот что.

— Что, — спрашивает, — такое?

— А то, — отвечаю, — что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил.

Он рассмеялся и говорит:

— Ну что это, Бог с тобой, ты добрый мужик.

— Нет-с, это, — отвечаю, — мало ли что добрый, это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться: вы защитник отечества, и вам, может быть, сам государь «вы» говорил.

— Это, — отвечает, — правда: нам, когда чин дают, в бумаге пишут: «Жалуем *вас* и повелеваем *вас* почитать и уважать».

— Ну, позвольте же, — говорю, — я этого никак дальше снесть не могу…

— А что же, — говорит, — теперь с этим делать. Что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь.

— Вынуть, — говорю, — нельзя, а по крайности для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить, — и взял обе щеки перед ним надул.

— Да за что же? — говорит, — за что же я тебя стану бить?

— Да так, — отвечаю, — для моей совести, чтобы я не без наказания своего государя офицера оскорбил.

Он засмеялся, а я опять надул щеки как можно полнее и опять стою. Он спрашивает:

— Чего же ты это надуваешься, зачем гримасничаешь?

А я говорю:

— Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте, — говорю, — меня с обеих сторон ударить, — и опять щеки надул; а он вдруг, вместо того чтобы меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит:

— Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут.

— А! это, мол, иное дело; зачем их огорчать?

И хоть не хотелось мне отходить, но делать нечего: так и ушел поскорей, не прощавшись, и вышел за ворота, и стал, и думаю:

«Куда я теперь пойду?» И взаправду, сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а все я нигде места под собой не со-

грею… «Шабаш, — думаю, — пойду в полицию и объявлюсь, но только, — думаю, — опять теперь то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут: дай же хоть что-нибудь из них потрачу, хоть чаю с кренделями в трактире попью в свое удовольствие». И вот я пошел на ярмарку в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил, а потом вижу, дольше никак невозможно продолжать, и пошел походить. Выхожу за Суру за реку на степь, где там стоят конские косяки, и при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки одинаковые, но одна пестрая-препестрая, а вокруг нее много разных господ занимаются, ездовых коней пробуют. Разные — и штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку, все стоят, трубки курят, а посереди их на пестрой кошме сидит тонкий, как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядаюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что это такой за важный татарин, что он один при всех сидит? А мне тот человек отвечает:

— Нешто ты, — говорит, — его не знаешь: это хан Джангар.

— Что, мол, еще за хан Джангар?

А тот и говорит:

— Хан Джангар, — говорит, — первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески, и сам он, этот хан Джангар, в степи все равно что царь.

— Разве, — говорю, — эта степь не под нами?

— Нет, она, — отвечает, — под нами, но только нам ее никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью вьются, и чиновнику там совсем взять нечего, вот по этой причине, — говорит, — хан Джангар там и царюет, и у него там, в Рынь-песках, говорят, есть свои шихи, и шихзады, и мало-зады, и мамы, и азии, и дербыши, и уланы, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться.

Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал; а тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо против кобылицыной головы и кнут ей ко лбу вытянул и стоит. Но ведь как, я вам доложу, разбойник стоит? просто статуй великолепный, на которого на самого заглядеться надо, и сейчас по нем видно, что он в коне все нутро соглядает. А как я по этой части

сам с детства был наблюдателен, то мне видно, что и сама кобылица-то эта зрит в нем знатока, и сама вся навытяжке перед ним держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел, смотрел на эту кобылицу и не обходил ее, как делают наши офицеры, что по суетливости всё вокруг коня мычутся, а он все с одной точки взирал и вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал: дескать, антик! и опять на кошме, склавши накрест ноги, сел, а кобылица сейчас ушми запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тут стояли, и пошли на нее вперебой торговаться: один дает сто рублей, а другой полтораста и так далее, всё большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была, точно, дивная, ростом не великонька, в подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком, ушки сторожкие; бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрелка, а ножки легкие, точеные, самые уносистые. Я как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от нее зорость пришла и господа на нее как оглашенные цену наполняют, кивнул чумазому татарчонку, а тот как прыг на нее, на

лебедушку, да и ну ее гонить, — сидит, знаете, по-своему, по-татарски, коленками ее ежит, а она под ним окрыляется и точно птица летит и не всколыхнет, а как он ей к холочке принагнется да на нее гикнет, так она так вместе с песком в один вихорь и воскурится. «Ах ты, змея! — думаю себе, — ах ты, стрепет степной, аспидский! где ты только могла такая зародиться?» И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстию. Пригонил ее татартище назад, она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю усталь сбросила и больше ни дыхнет и ни сапнет. «Ах ты, — думаю, — милушка; ах ты, милушка!» Кажется, спроси бы у меня за нее татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел, — но где было о том и думать, чтобы этакого летуна достать, когда за нее между господами и ремонтерами невесть какая цена слагалась, но и это еще было все ничего, как вдруг тут еще торг не был кончен, и никому она не досталась, как видим, из-за Суры от Селиксы, гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкою шляпой машет и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той к белой кобылице и стал опять у нее в головах, как и первый статуй, и говорит:

— Моя кобылица.

А хан отвечает:

— Как не твоя: господа мне за нее пятьсот монетов дают.

А тот всадник, татарчище этакий огромный и пузатый, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно щелки, и орет сразу:

— Сто монетов больше всех даю!

Господа взъерепенились, еще больше сулят, а сухой хан Джангар сидит да губы цмокает, а от Суры с другой стороны еще всадник татарчище гонит на гривастом коне, на игренем, и этот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня и как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей и говорит:

— Всем отвечаю: хочу, чтобы моя была кобылица!

Я и спрашиваю соседа: в чем тут у них дело зависит.

А он отвечает:

— Это, — говорит, — дело зависит от очень большого хана Джангарова понятия. Он, — говорит, — не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда,

распродаст, а потом в последний день, михорь его знает откуда, как из-за пазухи выймет такого коня, или двух, что конэсеры не знать что делают; а он, хитрый татарин, глядит на это да тешится, и еще деньги за то получает. Эту его привычку знавши, все уже так этого последыша от него и ожидают, и вот оно так и теперь вышло: все думали, хан ноне уедет, и он, точно, ночью уедет, а теперь ишь какую кобылицу вывел…

— Диво, — говорю, — какая лошадь!

— Подлинно диво, он ее, говорят, к ярмарке всереди косяка пригонил, и так гнал, что ее за другими конями никому видеть нельзя было, и никто про нее не знал, опричь этих татар, что приехали, да и тем он казал, что кобылица у него не продажная, а заветная, да ночью ее от других отлучил и под Мордовский ишим в лес отогнал и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь вдруг ее выпустил и продавать стал, и ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут и что он, собака, за нее возьмет, а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется?

— А что, мол, такое: из-за чего нам биться?

— А из-за того, — отвечает, — что тут страсть что сейчас почнется: и все господа непременно спятятся, а лошадь который-нибудь вот из этих

двух азиатов возьмет.

— Что же они, — спрашиваю, — очень, что ли, богаты?

— И богатые, — отвечает, — и озорные охотники: они свои большие косяки гоняют и хорошей, заветной лошади друг другу в жизнь не уступят. Их все знают: этот брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Отучев, а худищий, что одни кости ходят, Чепкун Емгурчеев, — оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потеху сделают.

Я замолчал и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступилися от нее и только глядят, а те два татарина друг дружку отпихивают и всё хана Джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и всё трясутся да кричат; один кричит:

— Я даю за нее, кроме монетов, еще пять голов (значить пять лошадей), — а другой вопит:

— Врет твоя мордам, я даю десять.

Бакшей Отучев кричит:

— Я даю пятнадцать голов.

А Чепкун Емгурчеев:

— Двадцать.

Бакшей:

— Двадцать пять.

А Чепкун:

— Тридцать.

А больше ни у того, ни у другого, видно, уже нет… Чепкун крикнул тридцать, и Бакшей дает тоже только тридцать, а больше нет; но зато Чепкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей седло и халат, и Чепкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать. Чепкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар: я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню», — и Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить. Тут вдруг вся татарва, кои тут это торговище зрели, заорали, загалдели по-своему; их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели, тормошат их, Чепкуна и Бакшея, в разные стороны, в бока их тычут, уговаривают.

Я спрашиваю у соседа:

— Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?

— А вот видишь, — говорит, — этим князьям, которые их разнимают, им Чепкуна с Бакшеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают, чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили.

— Как же, — спрашиваю, — можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда она обоим им

так нравится? Этого быть не может.

— Отчего же, — отвечает, — азиаты народ рассудительный и степенный: они рассудят, что зачем напрасно имение терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, с общего согласия наперепор пустят.

Я любопытствую:

— Что же, мол, такое это значит: «наперепор».

А тот мне отвечает:

— Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо, а оно сейчас начинается.

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучев и Чепкун Емгурчеев оба будто стишали и у тех своих татар-мировщиков вырываются и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.

— Сгода́! — дескать, поладили.

И тот то же самое отвечает:

— Сгода́: поладили!

И оба враз с себя и халаты долой и бешметы и чевяки сбросили, ситцевые рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались, и плюх один против другого, сели на землю, как курохтаны степные, и сидят.

В первый раз мне этакое диво видеть доводилось, и я смотрю, что дальше будет? А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат,

ноги растопырили и ими друг дружке следами в следы уперлись и кричат: «Подавай!»

Что такое они себе требуют «подавать», я не предвижу, но те, татарва-то, из кучки отвечают:

— Сейчас, бачка, сейчас.

И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках две здоровые нагайки и сравнял их в руках и кажет всей публике и Чепкуну с Бакшеем: «Глядите, — говорит, — обе штуки ровные».

— Ровные, — кричат татарва, — все мы видим, что благородно сделаны, плети ровные! Пусть садятся и начинают.

А Бакшей и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются.

Степенный татарин и говорит им: «подождите», и сам им эти нагайки подал: одну Чепкуну, а другую Бакшею, да ладошками хлопает тихо, раз, два и три… И только что он в третье хлопнул, как Бакшей стегнет изо всей силы Чепкуна нагайкою через плечо по голой спине, а Чепкун таким самым манером на ответ его. Да и пошли эдак один другого потчевать: в глаза друг другу глядят, ноги в ноги следками упираются и левые руки крепко жмут, а правыми с нагайками порются… Ух, как они знатно поролись! Один хорошо черкнет, а

другой еще лучше. Глаза-то у обоих даже выстолбенели, и левые руки замерли, а ни тот, ни другой не сдается.

Я спрашиваю у моего знакомца:

— Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?

— Да, — отвечает, — тоже такой поединок, только это, — говорит, — не насчет чести, а чтобы не расходоваться.

— И что же, — говорю, — они эдак могут друг друга долго сечь?

— А сколько им, — говорит, — похочется и сколько силы станет.

А те всё хлещутся, а в народе за них спор пошел: одни говорят: «Чепкун Бакшея перепорет», а другие спорят: «Бакшей Чепкуна перебьет», и кому хочется, об заклад держат — те за Чепкуна, а те за Бакшея, кто на кого больше надеется. Поглядят им с познанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят, и по каким-то приметам понимают, кто надежнее, за того и держат. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за Бакшея держать, а потом говорит:

— Ах, квит, пропал мой двугривенный: Чепкун Бакшея собьет.

А я говорю:

— Почему то знать? Еще, мол, ничего не можно утвердить: оба еще ровно сидят.

А тот мне отвечает:

— Сидят-то, — говорит, — они еще оба ровно, да не одна в них повадка.

— Что же, — говорю, — по моему мнению, Бакшей еще ярче стегает.

— А вот то, — отвечает, — и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный: Чепкун его запорет.

«Что это, — думаю, — такое за диковина: как он непонятно, этот мой знакомец, рассуждает? А ведь он же, — размышляю, — должно быть, в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется!»

И стало мне, знаете, очень любопытно, и я к этому знакомцу пристаю.

— Скажи, — говорю, — милый человек, отчего ты теперь за Бакшея опасаешься?

А он говорит:

— Экой ты пригородник глупый! ты гляди, — говорит, — какая у Бакшея спина.

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка.

— А видишь, — говорит, — как он бьет?

Гляжу, и вижу тоже, что бьет яростно, даже

глаза на лоб выпялил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет. — Ну, а теперь сообрази, как он нутрём действует?

— Что же, мол, такое нутрём? — я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает.

А мой знакомец и говорит:

— Вот это-то и худо: спина велика, по ней весь удар просторно ложится; шибко бьет, запыхается, а в открытый рот дышит, он у себя воздухом все нутро пережжет.

— Что же, — спрашиваю, — стало быть, Чепкун надежней?

— Непременно, — отвечает, — надежнее: видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, и спиночка у него как лопата коробленая, по ней ни за что по всей удар не падет, а только местечками, а сам он, зри, как Бакшея спрохвала поливает, не частит, а с повадочкой, и плеть сразу не отхватывает, а под нею коже напухать дает. Вон она от этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и как котел посинела, а крови нет, и вся боль у него теперь в теле стоит, а у Чепкуна на худой спине кожичка как на жареном поросенке трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдет, и он Бакшея запорет. Понимаешь

ты это теперь?

— Теперь, — говорю, — понимаю, — и точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался: как в таком случае надо полезнее действовать?

— А еще самое главное, — указует мой знакомец, — замечай, — говорит, — как этот проклятый Чепкун хорошо мордой такту соблюдает; видишь: стегнет и на ответ сам вытерпит и соразмерно глазами хлопнет, — это легче, чем пялить глаза, как Бакшей пялит, и Чепкун зубы стиснул и губы прикусил, это тоже легче, оттого что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет.

Я все эти его любопытные примеры на ум взял и сам вглядываюсь и в Чепкуна и в Бакшея, и все мне стало и самому понятно, что Бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища совсем обостолопели и губы веревочкой собрались и весь оскал открыли… И точно, глядим, Бакшей еще раз двадцать Чепкуна стеганул и все раз от разу слабее, да вдруг бряк назад и левую Чепкунову руку выпустил, а своею правою все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти, совсем в обмороке. Ну, тут мой знакомый говорит: «Шабаш: пропал мой двугривенный». Тут все и татары заговорили, поздравляют Чепкуна,

кричат:

— Ай, башка Чепкун Емгурчеев, ай, умнай башка — совсем пересек Бакшея, садись — теперь твоя кобыла.

И сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит:

— Твоя, твоя, Чепкун, кобылица: садись, гони, на ней отдыхай.

Чепкун и встал: кровь струит по спине, а ничего виду болезни не дает, положил кобылице на спину свой халат и бешмет, а сам на нее брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало.

«Вот, — думаю, — все это уже и окончилось, и мне опять про свое положение в голову полезет», — а мне страх как не хотелось про это думать.

Но только, спасибо, мой тот знакомый человек говорит мне:

— Подожди, не уходи, тут непременно что-то еще будет.

Я говорю:

— Чему же еще быть? все кончено.

— Нет, — говорит, — не кончено, ты смотри, — говорит, — как хан Джангар трубку жжет. Видишь, палит: это он непременно еще про себя

что-нибудь думает, самое азиатское.

Ну, а я себе думаю: «Ах, если еще что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу!»

Глава шестая

И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось: хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит еще татарчонок, и уже этот не на такой кобылице, какую Чепкун с мировой у Бакшея взял, а караковый жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка коростель бежит, — по-нашему, по-орловски, дергач зовется: крыла он растопырит, а зад у него не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху, а вниз висит и ноги книзу пустит, точно они ему не надобны, — настоящее, выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой несся.

Истинно не солгу скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища и кому его обречь, какому королевичу, а уже тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал.

— Как он ваш стал? — перебили рассказчика удивленные слушатели.

— Так-с, мой, по всем правам мой, но только на

одну минуту, а каким манером, извольте про это слушать, если угодно. Господа, по своему обыкновению, начали и на эту лошадь торговаться, и мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встрял, а против них, точно ровня им, взялся татарин Савакирей, этакой коротыш, небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой кочешок крепенький, а рожа как морковь красная, и весь он будто огородина какая здоровая и свежая. Кричит: «Что, говорит, по-пустому карман терять нечего, клади кто хочет деньги за руки, сколько хан просит, и давай со мною пороться, кому конь достанется?»

Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону; да и где им с этим татарином сечься, он бы, поганый, их всех перебил. А у моего ремонтера тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав, да и говорю: так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Савакиреем сяду потягаться на мировую. Он было не хотел, но я упросил, говорю: «Сделайте такую милость: мне хочется».

Ну, так и сделали.

— Вы с этим татарином… что же… секли друг друга?

— Да-с, тоже таким манером попоролись на мировую, и жеребенок мне достался.

— Значит, вы татарина победили?

— Победил-с, не без труда, но пересилил его.

— Ведь это, должно быть, ужасная боль.

— Ммм… как вам сказать… Да, вначале есть-с; и даже очень чувствительно, особенно потому, что без привычки, и он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на опух бить, чтобы кровь не спущать, но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял: как он меня хлобыснет, я сам под нагайкой спиною поддерну, и так приноровился, что сейчас шкурку себе и сорву, таким манеромы обезопасился, и сам этого Савакирея запорол.

— Как запороли, неужто совершенно до смерти?

— Да-с, он через свое упорство да через политику так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало, — отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик и, видя, что слушатели все смотрят на него, если не с ужасом, то с немым недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением.

— Видите, — продолжал он, — это стало не от меня, а от него, потому что он во всех Рынь-песках первый батырь считался и через эту амбицию ни за что не хотел мне уступить, хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел, верно потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помогает, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, а для рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего.

— И сколько же вы насчитали ударов? — перебили рассказчика.

— А вот наверно этого сказать не могу-с, помню, что я сосчитал до двести до восемьдесят и два, а потом вдруг покачнуло меня вроде обморока, я и сбился на минуту и уже так, без счета пущал, но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог, сам, как кукла, на меня вперед и упал: посмотрели, а он мертвый… Тьфу ты, дурак эдакий! до чего дотерпелся? Чуть я за него в острог не попал. Татарва — те ничего: ну, убил и убил: на то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь, но свои, наши русские, даже досадно как этого не понимают, и взъелись. Я говорю:

— Ну, вам что такого? что вам за надобность?

— Как, — говорят, — ведь ты азиата убил?

— Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек?

— Он, — говорят, — тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер, а тебя, — говорят, — по христианству надо судить. Пойдем, — говорят, — в полицию.

Ну, я себе думаю: «Ладно, братцы, судите ветра в поле»; а как, по-моему, полиция, нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмыг за одного татарина, да за другого. Шепчу им:

— Спасайте, князья: сами видели, все это было на честном бою…

Они сжались, и пошли меня друг за дружку перепихивать, и скрыли.

— То есть позвольте… как же они вас *скрыли?*

— Совсем я с ними бежал в их степи.

— В степи даже!

— Да-с, в самые Рынь-пески.

— И долго там провели?

— Целые десять лет: двадцати трех лет меня в Рынь-пески доставили, по тридцать четвертому году я оттуда назад убежал.

— Что же, вам понравилось или нет в степи жить?

— Нет-с; что же там может нравиться? скучно, и больше ничего; а только раньше уйти нельзя было.

— Отчего же: держали вас татары в яме или караулили?

— Нет-с, они добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы, говорят, тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь, — коней нам лечи и бабам помогай».

— И вы лечили?

— Лечил; я так у них за лекаря и был, и самих их, и скотину всю, и коней, и овец, всего больше жен ихних, татарок, пользовал.

— Да вы разве умеете лечить?

— Как бы вам это сказать… Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит — я сабуру дам или калганного корня, и пройдет, а сабуру у них много было, — в Саратове один татарин целый мешок нашел и привез, да они до меня не знали, к чему его определить.

— И обжились вы с ними?

— Нет-с, постоянно назад стремился.

— И неужто никак нельзя было уйти от них?

— Нет-с, отчего же, если бы у меня ноги в своем

виде оставались, так я, наверно, давно бы назад в отечество ушел.

— А у вас что же с ногами случилось?

— Подщетинен я был после первого раза.

— Как это?... Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы были *подщетинены?*

— Это у них самое обыкновенное средство: если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне, после того как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты, говорят, нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем»; ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.

— Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?

— Очень просто-с: повалили меня на землю человек десять и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать: тебе тогда легче будет», и сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы

туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернули стрункой зашил. После этого тут они меня, точно, дён несколько держали руки связавши, — всё боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел; а как шкурка зажила, и отпустили: «Теперь, говорят, здравствуй, Иван, теперь уже ты совсем наш приятель и от нас отсюда никогда не уйдешь».

Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю: волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так смертно больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил.

— Что же это, — говорю, — вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу.

А они говорят:

— Ничего, Иван, ничего, что ты по пустому делу обижаешься.

— Какое же, — говорю, — это пустое дело, так человека испортить, да еще чтобы не обижаться?

— А ты, — говорят, — приноровись, прямо-то на следки не наступай, а раскорячкой на косточках ходи.

— Тьфу вы, подлецы! — думаю я себе и от них отвернулся и говорить не стал, и только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету раскорякою на щиколотках ходить; но потом полежал-полежал, — скука смертная одолела, и стал приспосабливаться и мало-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это нимало не смеялись, а еще говорили:

«Вот и хорошо, и хорошо, Иван, ходишь».

— Экое несчастие, и как же вы это пустились уходить и опять попались?

— Да невозможно-с; степь ровная, дорог нет, и есть хочется… Три дня шел, ослабел не хуже лиса, руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод, и воды нет… Как идти?… Так и упал, а они отыскали меня и взяли и подщетинили.

Некто из слушателей заметил по поводу этого подщетиниванья, что ведь это, должно быть, из рук вон неловко ходить на щиколотках.

— Попервоначалу даже очень нехорошо, — отвечал Иван Северьяныч, — да и потом хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились.

«Теперь, — говорят, — тебе, Иван, самому трудно быть, тебе ни воды принесть, ни что прочее для себя сготовить неловко. Бери, — говорят, — брат, себе теперь Наташу, — мы тебе хорошую Наташу дадим, какую хочешь выбирай».

Я говорю: «Что мне их выбирать: одна в них во всех польза. Давайте какую попало». Ну, они меня сейчас без спора и женили.

— Как! женили вас на татарке?

— Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савакирея жене, которого я пересек, только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу: благая какая-то и все как будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или так к сердцу ей что-то подступало. Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас другую мне привели, эта маленькая была девочка, не более как всего годов тринадцати… Сказали мне: «Возьми, Иван, еще эту Наташу, эта будет утешнее».

Я и взял.

— И что же: эта точно была для вас утешнее? — спросили слушатели Ивана Северьяныча.

— Да, — отвечал он, — эта вышла поутешнее, только порою, бывало, веселит, а порою тем докучает, что балуется.

— Как же она баловалась?

— А разно… Как ей, бывало, вздумается; на колени, бывало, вскочит; либо спишь, а она с головы тюбетейку ногой скопнет да закинет куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, а она хохочет, заливается, да, как русалка, бегать почнет, ну а мне ее на карачках не догнать — шлепнешься, да и сам рассмеешься.

— А вы там, в степи, голову брили и носили тюбетейку?

— Брил-с.

— Для чего же это? верно, хотели нравиться вашим женам?

— Нет-с; больше для опрятности, потому что там бань нет.

— Таким образом, у вас, значит, зараз было две жены?

— Да-с, в этой степи две; а потом у другого хана, у Агашимолы, кой меня угонил от Отучева, мне еще две дали.

— Позвольте же, — запытал опять один из слушателей, — как же вас могли угнать?

— Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчеева и лет пять подряд жил в емгурчеевской орде, и тут съезжались к нему на радости все князья, и уланы, и ших-зады, и мало-

зады, и бывал хан Джангар и Бакшей Отучев.

— Это которого Чепкун сек?

— Да-с, тот самый.

— Как же это… Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?

— За что же?

— За то, что он так порол его и лошадь у него отбил?

— Нет-с, они никогда за это друг на друга не сердятся: кто кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, и больше ничего; а только хан Джангар мне, точно, один раз выговаривал… «Эх, говорит, Иван, эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сечься сел, я, говорит, было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать».

— Никогда бы, — отвечаю ему, — ты этого не дождал.

— Отчего?

— Оттого, что наши князья, — говорю, — слабодушные и не мужественные, и сила их самая ничтожная.

Он понял.

— Я так, — говорит, — и видел, что из них, — говорит, — настоящих охотников нет, а всё только если что хотят получить, так за деньги.

— Это, мол, верно: они без денег ничего не могут. Ну, а Агашимола, он из дальней орды был, где-то над самым Каспием его косяки ходили, он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать и много голов скота за то Емгурчею обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил: набрал я с собою сабуру и калганного корня и поехал с ним. А Агашимола как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем, восемь дней в сторону скакали.

— И вы верхом ехали?

— Верхом-с.

— А как же ваши ноги?

— А что же такое?

— Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?

— Ничего; это у них хорошо приноровлено: они эдак кого волосом подщетинят, тому хорошо ходить нельзя, а на коне такой подщетиненный человек еще лучше обыкновенного сидит, потому что он, раскорякой ходючи, всегда ноги колесом привыкает держать и коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить.

— Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашимолы?

— Опять и еще жесточе погибал.

— Но не погибли?

— Нет-с, не погиб.

— Сделайте же милость, расскажите: что вы дальше у Агашимолы вытерпели.

— Извольте.

Глава седьмая

Как Агашимолова татарва пригонили со мной на становище, так и гайда на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня.

«Что, — говорят, — тебе там, Иван, с Емгурчеевыми жить, — Емгурчей вор, ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим».

Я отказался.

— На что, — говорю, — мне их больше? мне больше не надо.

— Нет, — говорят, — ты не понимаешь, больше Наташ лучше: они тебе больше Колек нарожают, все тебя тятькой кричать будут.

— Ну, — говорю, — легко ли мне обязанность татарчат воспитывать. Кабы их крестить и причащать было кому, другое бы еще дело, а то что же: сколько я их ни умножу, все они ваши же будут, а не православные, да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут. Так двух жен опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся, поганые, и их надо постоянно учить.

— Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жен?

— Как-с?

— Этих новых жен своих вы любили?

— Любить?... Да, то есть вы про это? ничего, одна, что я от Агашимолы принял, была до меня услужлива, так я ее ничего... сожалел.

— А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была? она вам, верно, больше нравилась?

— Ничего; я и ее жалел.

— И скучали, наверно, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?

— Нет; скучать не скучал.

— Но ведь у вас, верно, и там от тех от первых жен дети были?

— Как же-с, были: Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку, да эта, маленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек в один раз парою принесла.

— Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их всё так называете «Кольками» да «Наташками»?

— А это по-татарски. У них всё если взрослый русский человек — так *Иван*, а женщина — *Наташа*, а мальчиков они *Кольками* кличут, так и

моих жен, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишек Кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал.

— Как же не почитали за своих? почему же это так?

— Да что же их считать, когда они некрещеные-с и миром не мазаны.

— А чувства-то ваши родительские?

— Что же такое-с?

— Да неужто же вы этих детей нимало и не любили и не ласкали их никогда?

— Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: «Ступай к матери», но только это редко доводилось, потому мне не до них было.

— А отчего же не до них: дела, что ли, у вас очень много было?

— Нет-с; дела никакого, а тосковал: очень домой в Россию хотелось.

— Так вы и в десять лет не привыкли к степям?

— Нет-с, домой хочется… тоска делалась. Осо-

бенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи… в одну сторону и в другую — все одинаково… Знойный вид, жестокий; простор — краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет… Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

Иван Северьяныч остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал:

— Или еще того хуже было на солончаках над самым над Каспием: солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит… Одурение от этого блеску даже хуже чем от ковыля делается, и не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить, то есть жив ты или умер и в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней; там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизеет или мелкий полынь и чабрец пестрит белизну, а тут

все одно блыщание… Там где-нибудь огонь палом по траве пойдет, — суета поднимется: дрохвы летят, стрепеты, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих, или по-здешнему дрохвов, на конях заезжаем и длинными кнутьями засекаем; а там, гляди, надо и самим с конями от огня бежать… Все от этого развлечение. А потом по старому палу опять клубника засядет; птица на нее разная налетит, все больше мелочь этакая, и пойдет в воздухе чириканье… А потом еще где-нибудь и кустик встретишь: таволожка, дикий персичек или чилизник… И когда на восходе солнца туман росою садится, будто прохладой пахнёт, и идут от растения запахи… Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще перенесть можно, но на солончаке не приведи Господи никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен: он соль лижет и с нее много пьет и жиреет, но человеку там — погибель. Живности даже никакой нет, только и есть, как на смех, одна малая птичка, красноустик, вроде нашей ласточки, самая непримечательная, а только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит — не знаю, но как сесть ей постоянно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупи и,

глядишь, опять схватилась и опять полетела, а ты и сего лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрешь, так как барана тебя в соль положат, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке; снег малый, только чуть траву укроет и залубенит — татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят… И вот тут они со скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь, и глянуть не на что: кони нахохрятся и ходят свернувшись, худые такие, что только хвосты да гривы развеваются. Насилу ноги волочат и копытом снежный наст разгребают и мерзлую травку гложут, тем и питаются, — это и называется *тюбенькуют*…Несносно. Только и рассеяния, что если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может — снегу копытом не пробивает и мерзлого корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колют и шкуру снимают, а мясо едят. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно вроде как коровье вымя, но жесткое; от нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена умела еще коневьи ребра коптить: возьмет как есть коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это еще

ничего, сходнее есть можно, потому что оно по крайней мере запахом вроде ветчины отдает, но а на вкус все равно тоже поганое. И тут-то этакую гадость гложешь и вдруг вздумаешь: эх, а дома у нас теперь в деревне к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиней режут, щи с зашеиной варят жирные-прежирные, и отец Илья, наш священник, добрый-предобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить, и с ним дьяки, попадьи и дьячихи идут, и с семинаристами, и все навеселе, а сам отец Илья много пить не может: в господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет; в конторе тоже управитель с нянькой вышлет попотчует, отец Илья и раскиснет и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит пьяненький: в первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уж более не может и все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно, даже в рассуждении кушанья, он если что посмачнее из съестного увидит, просит: «Дайте, говорит, мне в газетную бумажку, я с собой заверну». Ему обыкновенно скажут: «Нету, мол, батюшка, у нас газетной бумаги», — он не сердится, а возьмет так просто и не завернувши своей попадейке передаст, и дальше столь же мирно пойдет. Ах, судари, как это все с

детства памятное житье пойдет вспоминаться, и понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь, ото всего этого счастия отлучен и столько лет на духу не был, и живешь невенчанный и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и… дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дети и никто бы тебя из поганых не видал, и начнешь молиться… и молишься… так молишься, что даже снег инда под коленами протает и где слезы падали — утром травку увидишь.

Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил; казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний; но прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул; снял с головы свой монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил:

— А все прошло, слава Богу!

Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосяною сечкою пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташей и Колек и попал в монастырь?

Иван Северьяныч удовлетворил это любо-

пытство с полною откровенностью, изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен.

Глава восьмая

Дорожа последовательностью в развитии заинтересовавшей нас истории Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего рассказать, какими необыкновенными средствами он избавился от своей щетинки и ушел из плена? Он поведал об этом следующее сказание:

— Я совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидать свое отечество. Помышление об этом даже мне казалось невозможным, и стала даже во мне самая тоска замирать. Живу, как статуй бесчувственный, и больше ничего; а иногда думаю, что вот же, мол, у нас дома в церкви этот самый отец Илья, который все газетной бумажки просит, бывало, на служении молится «о плавающих и путешествующих, страждущих и *плененных»*, а я, бывало, когда это слушаю, все думаю: зачем? разве теперь есть война, чтобы о пленных молиться? А вот теперь и понимаю, зачем этак молятся, но не понимаю, отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет, и, по малости сказать, хоша не неверую, а смущаюсь, и сам молиться не стал.

«Что же, — думаю, — молить, когда ничего от

того не выходит».

А между тем вдруг однажды слышу-послышу: татарва что-то сумятятся.

Я говорю:

— Что такое?

— Ничего, — говорят, — из вашей стороны два муллы пришли, от белого царя охранный лист имеют и далеко идут свою веру уставлять.

Я бросился, говорю:

— Где они?

Мне показали на одну юрту, я и пошел туда, куда показали. Прихожу и вижу: там собрались много ших-задов и мало-за́дов, имамов и дербышей, и все, поджав ноги, на кошмах сидят, а посреди их два человека незнакомые, одеты хотя и по-дорожному, а видно, что духовного звания; стоят оба посреди этого сброда и слову Божьему татар учат.

Я их как увидал, взрадовался, что русских вижу, и сердце во мне затрепетало, и упал я им в ноги и зарыдал. Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба воскликнули:

— А что? а что! видите! видите? как действует благодать, вот она уже одного вашего коснулась, и он обращается от Магомета.

А татары отвечают, что это, мол, ничего не

действует: это ваш Иван, он из ваших, из русских, только в плену у нас здесь проживает.

Миссионеры очень этим недовольны сделались. Не верят, что я русский, а я и встрял сам:

— Нет, — я говорю, — я, точно, русский! Отцы, — говорю, — духовные! смилуйтесь, выручите меня отсюда! я здесь уже одиннадцатый год в плену томлюсь, и видите, как изувечен: ходить не могу.

Они, однако, нимало на эти мои слова не уважили и отвернулись и давай опять свое дело продолжать: всё проповедуют.

Я думаю: «Ну, что же на это роптать: они люди должностные, и, может быть, им со мною неловко иначе при татарах обойтися», — и оставил, а выбрал такой час, что они были одни в особливой ставке, и кинулся к ним и уже со всею откровенностью им все рассказал, что самую жестокую участь претерпеваю, и прошу их:

— Попугайте, — говорю, — их, отцы-благодетели, нашим батюшкой белым царем: скажите им, что он не велит азиатам своих подданных насильно в плену держать, или, еще лучше, выкуп за меня им дайте, а я вам служить пойду. Я, — говорю, — здесь живучи, ихнему татарскому языку отлично научился и могу вам полезным

человеком быть.

А они отвечают:

— Что, — говорят, — сыне: выкупу у нас нет, а пугать, — говорят, — нам неверных не позволено, потому что и без того люди лукавые и непреданные, и с ними из политики мы вежливость соблюдаем.

— Так что же, — говорю, — стало быть, мне из-за этой политики так тут целый век у них и пропадать?

— А что же, — говорят, — все равно, сыне, где пропадать, а ты молись: у Бога много милости, может быть он тебя и избавит.

— Я, мол, молился, да уже сил моих нет и упование отложил.

— А ты, — говорят, — не отчаявайся, потому что это большой грех!

— Да я, — говорю, — не отчаяваюсь, а только… как же вы это так… мне это очень обидно, что вы русские и земляки, и ничего пособить мне не хотите.

— Нет, — отвечают, — ты, чадо, нас в это не мешай, мы во Христе, а во Христе нет ни еллин, ни жид: наши земляки все послушенствующие. Нам все равны, все равны.

— Все? — говорю.

— Да, — отвечают, — все, это наше научение от апостола Павла. Мы куда приходим, не ссоримся… это нам не подобает. Ты раб и, что делать, терпи, ибо и по апостолу Павлу, — говорят, — рабы должны повиноваться. А ты помни, что ты христианин, и потому о тебе нам уже хлопотать нечего, твоей душе и без нас врата в рай уже отверзты, а эти во тьме будут, если мы их не присоединим, так мы за них должны хлопотать.

И показывают мне книжку.

— Вот ведь, — говорят, — видишь, сколько здесь у нас человек в этом реестре записано, — это всё мы столько людей к нашей вере присоединили!

Я с ними больше и говорить не стал и не видел их больше, как окромя одного, и то случаем: пригонил отколь-то раз один мой сынишка и говорит:

— У нас на озере, тятька, человек лежит.

Я пошел посмотреть: вижу, на ногах с колен чулки содраны, а с рук по локти перчатки сняты, татарва это искусно делают: обчертит да дернет, так шкуру и снимет, — а голова этого человека в сторонке валяется, и на лбу крест вырезан.

«Эх, — думаю, — не хотел ты за меня, земляк, похлопотать, и я тебя осуждал, а ты вот сподобился и венец страдания приял. Прости меня теперь

ради Христа!»

И взял я его перекрестил, сложил его головку с туловищем, поклонился до земли, и закопал, и «Святый Боже» над ним пропел, — а куда другой его товарищ делся, так и не знаю; но только тоже, верно, он тем же кончил, что венец приял, потому что у нас после по орде у татарок очень много образков пошло, тех самых, что с этими миссионерами были.

— А эти миссионеры даже и туда, в Рынь-пески, заходят?

— Как же-с, они ходят, но только всё без пользы без всякой.

— Отчего же?

— Обращаться не знают как. Азията в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им Бога смирного проповедывают. Это попервоначалу никак не годится, потому что азият смирного Бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет.

— А главное, надо полагать, идучи к азиатам, денег и драгоценностей не надо при себе иметь.

— Не надо-с, а впрочем, все равно они не поверят, что кто-нибудь пришел да ничего при себе не принес; подумают, что где-нибудь в степи закопал, и пытать станут, и запытают.

— Вот разбойники!

— Да-с; так было при мне с одним жидовином: старый жидовин невесть откуда пришел и тоже о вере говорил. Человек хороший, и, видно, к вере своей усердный, и весь в таких лохмотках, что вся плоть его видна, а стал говорить про веру, так даже, кажется, никогда бы его не перестал слушать. Я с ним попервоначалу было спорить зачал, что какая же, мол, ваша вера, когда у вас святых нет, но он говорит: есть, и начал по талмуду читать, какие у них бывают святые… очень занятно, а тот талмуд, говорит, написал раввин Иовоз бен Леви, который был такой ученый, что грешные люди на него смотреть не могли; как взглянули, сейчас все умирали, через что Бог позвал его перед самого себя и говорит: «Эй ты, ученый раввин, Иовоз бен Леви! то хорошо, что ты такой ученый, но только то нехорошо, что чрез тебя все мои жидки могут умирать. Не на то, говорит, я их с Моисеем через степь перегнал и через море переправил. Пошел-ну ты за это вон из своего отечества и живи там, где бы тебя никто не мог видеть». А раввин Леви как пошел, то ударился до самого до того места, где был рай, и зарыл себя там в песок по самую шею, и пребывал в песке тринадцать лет, а хотя же и был засыпан по

шею, но всякую субботу приготовлял себе агнца, который был печен огнем, с небеси нисходящим. И если комар или муха ему садилась на нос, чтобы пить его кровь, то они тоже сейчас были пожираемы небесным огнем… Азиятам это очень понравилось про ученого раввина, и они долго сего жидовина слушали, а потом приступили к нему и стали его допрашивать: где он, идучи к ним, свои деньги закопал? Жидовин, батюшки, как клялся, что денег у него нет, что его Бог без всего послал, с одной мудростью, ну, однако, они ему не поверили, а сгребли уголья, где костер горел, разостлали на горячую золу коневью шкуру, положили на нее и стали потряхивать. Говори им да говори: где деньги? А как видят, что он весь почернел и голосу не подает:

«Стой, — говорят, — давай мы его по горло в песок закопаем: может быть, ему от этого проходит».

И закопали, но, однако, жидовин так закопанный и помер, и голова его долго потом из песку чернелась, но дети ее стали пужаться, так срубили ее и в сухой колодец кинули.

— Вот тебе и проповедуй им!

— Да-с; очень трудно, но а деньги у этого жидовина все-таки ведь были.

— Были?!

— Были-с; его потом волки тревожить стали и шакалки и всего по кусочкам из песку повытаскали и, наконец, добрались и до обуви. Тут сапожонки растормошили, а из подметки семь монет выкатились. Нашли их потом.

— Ну, а как же вы-то от них вырвались?

— Чудом спасен.

— Кто же это чудо сделал, чтобы вас избавить?

— Талафа.

— Это кто же такой этот Талафа: тоже татарин?

— Нет-с; он другой породы, индийской, и даже не простой индеец, а ихний бог, на землю сходящий.

Упрошенный слушателями, Иван Северьяныч Флягин рассказал нижеследующее об этом новом акте своей житейской драмокомедии.

Глава девятая

— После того как татары от наших мисанеров избавились, опять прошел без мала год, и опять была зима, и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поюжнее, к Каспию, и тут вдруг одного дня перед вечером пригонили к нам два человека, ежели только можно их за человеков считать. Кто их знает, какие они и откуда и какого рода и звания. Даже языка у них никакого настоящего не было, ни русского, ни татарского, а говорили слово по-нашему, слово по-татарски, а то промеж себя невесть по-каковски. Оба не старые, один черный, с большой бородой, в халате, будто и на татарина похож, но только халат у него не пестрый, а весь красный, и на башке острая персианская шапка; а другой рыжий, тоже в халате, но этакий штуковатый: всё ящички какие-то при себе имел, и сейчас чуть ему время есть, что никто на него не смотрит, он с себя халат долой снимет и остается в одних штанцах и в курточке, а эти штанцы и курточка по-такому шиты, как в России на заводах у каких-нибудь немцев бывает. И все он, бывало, в этих ящичках что-то вертит да перебирает, а что такое у него там содержа-

лось? — лихо его ведает. Говорили, будто из Хивы пришли коней закупать и хотят там у себя дома с кем-то войну делать, а с кем — не сказывают, но только все татарву против русских подущают. Слышу я, этот рыжий, — говорить он много не умеет, а только выговорит вроде как по-русски «натшальник» и плюнет; но денег с ними при себе не было, потому что они, азияты, это знают, что если с деньгами в степь приехать, то оттоль уже с головой на плечах не выедешь, а манули они наших татар, чтобы им косяки коней на их реку, на Дарью, перегнать и там расчет сделать. Татарва и туда и сюда мыслями рассеялись и не знают: согласиться на это или нет? Думают, думают, словно золото копают, а, видно, чего-то боятся.

А те их то честью уговаривали, а потом тоже и пугать начали.

«Гоните, — говорят, — а то вам худо может быть: у нас есть бог Талафа, и он с нами свой огонь прислал. Не дай бог, как рассердится».

Татары того бога не знают и сомневаются, что он им сделать может в степи зимою с своим огнем, — ничего. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал, в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам

сею же ночью свою силу покажет, только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то он сожжет. Разумеется, всем это среди скуки степной, зимней, ужасть как интересно, и все мы хотя немножко этой ужасти боимся, а рады посмотреть, что такое от этого индийского бога будет; чем он, каким чудом проявится?

Позабрались мы с женами и с детьми под ставки рано и ждем… Все темно и тихо, как и во всякую ночь, только вдруг, так в первый сон, я слышу, что будто в степи что-то как вьюга прошипело и хлопнуло, и сквозь сон мне показалось, будто с небеси искры посыпались.

Схватился я, гляжу, и жены мои ворочаются, и ребята заплакали.

Я говорю:

— Цыть! заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали.

Те зацмоктали, и стало опять тихо, а в темной степи вдруг опять вверх огонь зашипел… зашипело и опять лопнуло…

— Ну, — думаю, — однако, видно, Халафа-то не шутка!

А он мало спустя опять зашипел, да уже совсем на другой манер, — как птица огненная,

выпорхнул с хвостом, тоже с огненным, и огонь необыкновенно какой, как кровь красный, а лопнет, вдруг все желтое сделается и потом синее станет.

По становищу, слышу, все как умерло. Не слыхать этого, разумеется, никому нельзя этакой пальбы, но все, значит, оробели и лежат под тулупами. Только слышно, что земля враз вздрогнет, затрясется и опять станет. Это, можно разуметь, кони шарахаются и всё в кучу теснятся, да слышно раз было, как эти хивяки или индийцы куда-то пробегли, и сейчас опять по степи огонь как пустится змеем… Кони как зынули на то, да и понеслись… Татарва и страх позабыли, все повыскакали, башками трясут, вопят: «Алла! Алла!» — да в погоню, а те, хивяки, пропали, и следа их нет, только один ящик свой покинули по себе на память… Вот тут как все наши ба́тыри угнали за табуном, а в стану одни бабы да старики остались, я и догляделся до этого ящика: что там такое? Вижу, в нем разные земли, и снадобья, и бумажные трубки: я стал раз одну эту трубку близко к костру рассматривать, а она как хлопнет, чуть мне огнем все глаза не выжгло, и вверх полетела, а там… бббаххх, звездами рассыпало… «Эге, — думаю себе, — да это, должно, не бог, а

просто фейверок, как у нас в публичном саду пускали», — да опять как из другой трубки бабахну, а гляжу, татары, кои тут старики остались, уже и повалились и ничком лежат кто где упал, да только ногами дрыгают… Я было попервоначалу и сам испугался, но потом как увидал, что они этак дрыгают, вдруг совсем в иное расположение пришел и, с тех пор как в полон попал, в первый раз как заскриплю зубами, да и ну на них вслух какие попало незнакомые слова произносить. Кричу как можно громче:

— Парле-бьен-комса-шире-мир-ферфлюхтурмин-адью-мусью!

Да еще трубку с вертуном выпустил… Ну, тут уже они, увидав, как вертун с огнем ходит, все как умерли… Огонь погас, а они всё лежат, и только нет-нет один голову поднимет, да и опять сейчас мордою вниз, а сам только пальцем кивает, зовет меня к себе. Я подошел и говорю:

— Ну, что? признавайся, чего тебе, проклятому: смерти или живота? — потому что вижу, что они уже страсть меня боятся.

— Прости, — говорят, — Иван, не дай смерти, а дай живота.

А в другом месте тоже и другие таким манером кивают и всё прощенья и живота просят.

Я вижу, что хорошо мое дело заиграло: верно уже я за все свои грехи оттерпелся, и прошу:

— Мать пресвятая владычица, Николай Угодник, лебедики мои, голубчики, помогите мне, благодетели!

А сам татар строго спрашиваю:

— В чем и на какой конец я вас должен простить и животом жаловать?

— Прости, — говорят, — что мы в твоего Бога не верили.

«Ага, — думаю, — вон оно как я их пугнул», — да говорю:

— Ну уж нет, братцы, врете, этого я вам за противность релегии ни за что не прощу!

Да сам опять зубами скрип да еще трубку распечатал.

Эта вышла с ракитою… Страшный огонь и треск.

Кричу я на татар:

— Что же: еще одна минута, и я вас всех погублю, если вы не хотите в моего Бога верить.

— Не губи, — отвечают, — мы все под вашего Бога согласны подойти.

Я и перестал фейверки жечь и окрестил их в речечке.

— Тут же, в это самое время и окрестили?

— В эту же самую минуту-с. Да и что же тут было долго время препровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочил их по башкам водицей над прорубью, прочел «во имя отца и сына», и крестики, которые от мисанеров остались, понадевал на шеи, и велел им того убитого мисанера чтобы они за мученика почитали и за него молились, и могилку им показал.

— И они молились?

— Молились-с.

— Ведь они же никаких молитв христианских, чай, не знали, или вы их выучили?

— Нет; учить мне их некогда было, потому что я видел, что мне в это время бежать пора, а велел им: молитесь, мол, как до сего молились, по-старому, но только Аллу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так и приняли сие исповедание.

— Ну, а потом как же все-таки вы от этих новых христиан убежали с своими искалеченными ногами и как вылечились?

— А потом я нашел в тех фейверках едкую землю; такая, что чуть ее к телу приложишь, сейчас она страшно тело палит. Я ее и приложил и притворился, будто я болен, а сам себе все, под кошмой лежа, этой едкостью пятки растравливал

и в две недели так растравил, что у меня вся как есть плоть на ногах взгноилась и вся та щетина, которую мне татары десять лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмогнулся, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало, и наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усердней за меня молились, потому что, мол, помираю. И положил я на них вроде епитимьи пост, и три дня я им за юрты выходить не велел, а для большей еще острастки самый большой фейверк пустил и ушел…

— Но они вас не догнали?

— Нет; да и где им было догонять: я их так запостил и напугал, что они небось радешеньки остались и три дня носу из юрт не казали, а после хоть и выглянули, да уже искать им меня далеко было. Ноги-то у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие легкие стали, что как разбежался, всю степь перебежал.

— И все пешком?

— А то-как же-с, там ведь не проезжая дорога, встретить некого, а встретишь, так не обрадуешься, кого обретешь. Мне на четвертый день чувашин показался, один пять лошадей гонит, говорит: «Садись верхом».

Я поопасался и не поехал.

— Чего же вы его боялись?

— Да так… он как-то мне неверен показался, а притом нельзя было и разобрать, какой он религии, а без этого на степи страшно. А он, бестолковый, кричит:

— Садись, — кричит, — веселей, двое будем ехать.

Я говорю:

— А кто ты: может быть, у тебя Бога нет?

— Как, — говорит, — нет: это у татарина бока нет, он кобылу ест, а у меня есть бок.

— Кто же, — говорю, — твой бог?

— А у меня, — говорит, — всё бок: и солнце бок, и месяц бок, и звезды бок… все бок. Как у меня нет бок?

— Все!.. гм… все, мол, у тебя бог, а Иисус Христос, — говорю, — стало быть, тебе не Бог?

— Нет, — говорит, — и он бок, и Богородица бок, и Николач бок…

— Какой, — говорю, — Николач?

— А что один на зиму, один на лето живет.

Я его похвалил, что он русского Николая Чудотворца уважает.

— Всегда, — говорю, — его почитай, потому что он русский, — и уже совсем было его веру одобрил и совсем с ним ехать хотел, а он, спасибо,

разболтался и выказался.

— Как же, — говорит, — я Николача почитаю: я ему на зиму пущай хоть не кланяюсь, а на лето ему двугривенный даю, чтоб он мне хорошенько коровок берег, да! Да еще на него одного не надеюсь, так Керемети бычка жертвую.

Я и рассердился.

— Как же, — говорю, — ты смеешь на Николая Чудотворца не надеяться и ему, русскому, всего двугривенный, а своей мордовской Керемети поганой целого бычка! Пошел прочь, — говорю, — не хочу я с тобою… я с тобою не поеду, если ты так Николая Чудотворца не уважаешь.

И не поехал: зашагал во всю мочь, не успел опо-мниться, смотрю, к вечеру третьего дня вода завиднелась и люди. Я лег для опаски в траву и высматриваю: что за народ такой? Потому что боюсь, чтобы опять еще в худший плен не попасть, но вижу, что эти люди пищу варят… Должно быть, думаю, христиане. Подполоз еще ближе: гляжу, крестятся и водку пьют, — ну, значит, русские!.. Тут я и выскочил из травы и объявился. Это, вышло, ватага рыбная: рыбу ловили. Они меня, как надо землякам, ласково приняли и говорят:

— Пей водку!

Я отвечаю:

— Я, братцы мои, от нее, с татарвой живучи, совсем отвык.

— Ну, ничего, — говорят, — здесь своя нацыя, опять привыкнешь: пей!

Я налил себе стаканчик и думаю:

— Ну-ка, Господи благослови, за свое возвращение! — и выпил, а ватажники пристают, добрые ребята.

— Пей еще! — говорят, — ишь ты без нее как зачичкался[55].

Я и еще одну позволил и сделался очень откровенный, все им рассказал: откуда я и где и как пребывал. Всю ночь я им, у огня сидя, рассказывал и водку пил, и все мне так радостно было, что я опять на святой Руси, но только под утро этак, уже костерок стал тухнуть и почти все, кто слушал, заснули, а один из них, ватажный товарищ, говорит мне:

— А паспорт же у тебя есть?

Я говорю:

— Нет, нема.

— А если, — говорит, — нема, так тебе здесь будет тюрьма.

— Ну так я, — говорю, — я от вас не пойду; а у

---

[55] Примечания: 55

Зачичкался — захилел, похудел.

вас небось тут можно жить и без паспорта?

А он отвечает:

— Жить, — говорит, — у нас без паспорта можно, но помирать нельзя.

Я говорю:

— Это отчего?

— А как же, — говорит, — тебя поп запишет, если ты без паспорта?

— Так как же, мол, мне на такой случай быть?

— В воду, — говорит, — тебя тогда бросим на рыбное пропитание.

— Без попа?

— Без попа.

Я, в легком подпитии будучи, ужасно этого испугался и стал плакать и жалиться, а рыбак смеется.

— Я, — говорит, — над тобою шутил: помирай смело, мы тебя в родную землю зароем.

Но я уже очень огорчился и говорю:

— Хороша, мол, шутка. Если вы этак станете надо мною часто шутить, так я и до другой весны не доживу.

И чуть этот последний товарищ заснул, я поскорее поднялся и пошел прочь, и пришел в Астрахань, заработал на поденщине рубль и с того часу столь усердно запил, что не помню, как

очутился в ином городе, и сижу уже я в остроге, а оттуда меня по пересылке в свою губернию послали. Привели меня в наш город, высекли в полиции и в свое имение доставили. Графиня, которая меня за кошкин хвост сечь приказывала, уже померла, а один граф остался, но тоже очень состарился, и богомольный стал, и конскую охоту оставил. Доложили ему, что я пришел, он меня вспомнил и велел меня еще раз дома высечь и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, на дух шел. Ну, высекли меня по-старинному, в разрядной избе, и я прихожу к отцу Илье, а он стал меня исповедовать и на три года не разрешает мне причастия…

Я говорю:

— Как же так, батюшка, я было… столько лет не причащамшись… ждал…

— Ну, мало ли, — говорит, — что; ты ждал, а зачем ты, — говорит, — татарок при себе вместо жен держал… Ты знаешь ли, — говорит, — что я еще милостиво делаю, что тебя только от причастия отлучаю, а если бы тебя взяться как должно по правилу святых отец исправлять, так на тебе на живом надлежит всю одежду сжечь, но только ты, — говорит, — этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется.

«Ну что же, — думаю, — делать: останусь хоть

так, без причастия, дома поживу, отдохну после плена», — но граф этого не захотели. Изволили сказать:

«Я, — говорят, — не хочу вблизи себя отлученного от причастия терпеть».

И приказали управителю еще раз меня высечь с оглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить. Так и сделалось: выпороли меня в этот раз по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях, и дали паспорт. Отрадно я себя тут-то почувствовал, через столько лет совершенно свободным человеком, с законною бумагою, и пошел. Намерениев у меня никаких определительных не было, но на мою долю Бог послал практику.

— Какую же?

— Да опять все по той же, по конской части. Я пошел с самого малого ничтожества, без гроша, а вскоре очень достаточного положения достиг и еще бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет.

— Что же это такое, если можно спросить?

— Одержимости большой подпал от разных духов и страстей и еще одной неподобной вещи.

— Что же это такое за неподобная вещь вас обдержала?

— Магнетизм-с.

— Как! магнетизм?!

— Да-с, магнетическое влияние от одной особы.

— Как же вы чувствовали над собой ее влияние?

— Чужая воля во мне действовала, и я чужую судьбу исполнял.

— Вот тут, значит, к вам и пришла *ваша* собственная погибель, после которой вы нашли, что вам должно исполнить матушкино обещание, и пошли в монастырь?

— Нет-с, это еще после пришло, а до того со мною много иных разных приключений было, прежде чем я получил настоящее убеждение.

— Вы можете рассказать и эти приключения?

— Отчего же-с; с большим моим удовольствием.

— Так пожалуйста.

Глава десятая

— Взявши я паспорт, пошел без всякого о себе намерения, и пришел на ярмарку, и вижу, там цыган мужику лошадь меняет и безбожно его обманывает; стал ее силу пробовать, и своего конишку в просяной воз заложил, а мужикову лошадь в яблочный. Тяга в них, разумеется, хоть и равная, а мужикова лошадь преет, потому что ее яблочный дух обморачивает, так как коню этот дух страшно неприятен, а у цыгановой лошади, кроме того, я вижу, еще и обморок бывает, и это сейчас понять можно, потому что у нее на лбу есть знак, как был огонь ставлен, а цыган говорит: «Это бородавка». А мне мужика, разумеется, жаль, потому ему на оморочной лошади нельзя будет работать, так как она кувырнет, да и все тут, а к тому же я цыганов тогда смерть ненавидел через то, что от первых от них имел соблазн бродить, и впереди, вероятно, еще иное предчувствовал, как и оправдалось. Я эту фальшь в лошади мужичку и открыл, а как цыган стал со мною спорить, что не огонь жжен на лбу, а бородавка, я в доказательство моей справедливости ткнул коня шильцем в почку, он сейчас и шлеп на землю и

закрутился. Взял я и мужикам хорошую лошадь по своим познаниям выбрал, а они мне за это вина и угощенья и две гривны денег, и очень мы тут погуляли. С того и пошло: и капитал расти и усердное пьянство, и месяца не прошло, как я вижу, что это хорошо: обвешался весь бляхами и коновальскою сбруею и начал ходить с ярмарки на ярмарку и везде бедных людей руководствую и собираю себе достаток и все магарычи пью; а между тем стал я для всех барышников-цыганов все равно что Божия гроза, и узнал стороною, что они собираются меня бить. Я от этого стал уклоняться, потому что их много, а я один, и они меня ни разу не могли попасть одного и вдоволь отколотить, а при мужиках не смели, потому что те за мою добродетель всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своею силою в твари толк знаю, но, разумеется, все это было пустяки: к коню я, как вам докладывал, имею дарование и готов бы его всякому, кому угодно, преподать, но только что, главное дело, это никому в пользу не послужит.

— Отчего же это не послужит в пользу?

— Не поймет-с никто, потому что на это надо не иначе как иметь дар природный, и у меня уже не раз такой опыт был, что я преподавал, но все

втуне осталось; но позвольте, об этом после.

Когда моя слава по ярмаркам прогремела, что я насквозь коня вижу, то один ремонтер, князь, мне сто рублей давал:

— Открой, — говорит, — братец, твой секрет насчет понимания. Мне это дорого стоит.

А я отвечаю:

— Никакого у меня секрета нет, а у меня на это природное дарование.

Ну, а он пристает:

— Открой же мне, однако, как ты об этом понимаешь? А чтобы ты не думал, что я хочу как-нибудь, — вот тебе сто рублей.

Что тут делать? Я пожал плечами, завязал деньги в тряпицу и говорю: извольте, мол, я, что знаю, стану сказывать, а вы извольте тому учиться и слушать; а если не выучитесь и нисколько вам от того пользы не будет, за это я не отвечаю.

Он, однако, был и этим доволен, и говорит:

— Ну уж это не твоя беда; сколько я научусь, а ты только сказывай.

— Первое самое дело, — говорю, — если кто насчет лошади хочет знать, что она в себе заключает, тот должен иметь хорошее расположение в осмотре и от того никогда не отдаляться. С первого взгляда надо глядеть умно на голову

и потом всю лошадь окидывать до хвоста, а не латошить, как офицеры делают. Тронет за зашеину, за челку, за храпок[56], за обрез и за грудной соколок[57] или еще за что попало, а все без толку. От этого барышники кавалерийских офицеров за эту латошливость страсть любят. Барышник как этакую военную латоху увидал, сейчас начнет перед ним конем крутить, вертеть, во все стороны поворачивать, а которую часть не хочет показать, той ни за что не покажет, а там-то и фальшь, а фальшей этих бездна: конь вислоух — ему кожицы на вершок в затылке вырежут, стянут, и зашьют, и замажут, и он оттого ушки подберет, но ненадолго: кожа ослабнет, и уши развиснут. Если уши велики, — их обрезывают, — а чтобы ушки прямо стояли, в них рожки суют. Если кто паристых лошадей подбирает и если, например, один конь во лбу с звездочкой, — барышники уже так и зрят, чтобы такую звездочку другой приспособить: пемзою шерсть вытирают, или горячую репу печеную приложат где надо, чтобы белая шерсть выросла, она сейчас и идет, но только всячески если хорошо смотреть, то таким

---

[56] Примечания: 56
Храпок — часть переносья у лошади.

[57] Примечания: 57
Соколок — артерия.

манером ращенная шерстка всегда против настоящей немножко длиннее и пупится, как будто бородочка. Еще больше барышники обижают публику глазами: у иной лошади западинки ввалившись над глазом, и некрасиво, но барышник проколет кожицу булавкой, а потом приляжет губами и все в это место дует, и надует так, что кожа подымется и глаз освежеет, и красиво станет. Это легко делать, потому что если лошади на глаз дышать, ей это приятно, от теплого дыхания, и она стоит не шелохнется, но воздух выйдет, и у нее опять ямы над глазами будут. Против этого одно средство: около кости щупать, не ходит ли воздух. Но еще того смешнее, как слепых лошадей продают. Это точно комедия бывает. Офицерик, например, крадется к глазу коня с соломинкой, чтобы испытать, видит ли конь соломинку, а сам того не видит, что барышник в это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулаком ее под брюхо или под бок толкает. А иной хоть и тихо гладит, но у него в перчатке гвоздик, и он будто гладит, а сам кольнет. И я своему ремонтеру против того, что здесь сейчас упомянул, вдесятеро более объяснил, но ничего ему это в пользу не послужило: назавтра, гляжу, он накупил коней таких, что кляча клячи хуже, и еще зовет меня

посмотреть и говорит:

— Ну-ка, брат, полюбуйся, как я наловчился коней понимать.

Я взглянул, рассмеялся и отвечаю, что, мол, и смотреть нечего:

«У этой плечи мясисты, — будет землю ногами цеплять; эта ложится — копыто под брюхо кладет и много что чрез годок себе килу намнет; а эта когда овес ест, передней ногою топает и колено об ясли бьет», — и так всю покупку раскритиковал, и все правильно на мое вышло.

Князь на другой день и говорит:

«Нет, Иван, мне, точно, твоего дарования не понять, а лучше служи ты сам у меня конэсером и выбирай ты, а я только буду деньги платить».

Я согласился и жил отлично целые три года, не как раб и наемник, а больше как друг и помощник, и если бы не выходы меня одолели, так я мог бы даже себе капитал собрать, потому что, по ремонтирскому заведению, какой заводчик ни приедет, сейчас сам с ремонтером знакомится, а верного человека подсылает к конэсеру, чтобы как возможно конэсера на свою сторону задобрить, потому что заводчики знают, что вся настоящая сила не в ремонтере, а в том, если который имеет при себе настоящего конэсера. Я

же был, как докладывал вам, природный конэсер и этот долг природы исполнял совестно: ни за что я того, кому служу, обмануть не мог. И мой князь это чувствовал и высоко меня уважал, и мы жили с ним во всем в полной откровенности. Он, бывало, если проиграется где-нибудь ночью, сейчас утром как встанет, идет в архалучке ко мне в конюшню и говорит:

«Ну что, почти полупочтеннейший мой Иван Северьяныч! Каковы ваши дела?» — он все этак шутил, звал меня *почти полупочтенный*, но почитал, как увидите, вполне.

А я знал, что это обозначает, если он с такой шуткой идет, и отвечу, бывало:

— Ничего, мол: мои дела, слава Богу, хороши, а не знаю, как ваше сиятельство, каковы ваши обстоятельства?

— Мои, — говорит, — так довольно гадки, что даже хуже требовать не надо.

— Что же это такое, мол, верно, опять вчера продулись по-анамеднешнему?

— Вы, — отвечает, — изволили отгадать, мой полупочтеннейший, продулся я-с, продулся.

— А на сколько, — спрашиваю, — вашу милость облегчило?

Он сейчас же и ответит, сколько тысяч проиг-

рал, а я покачаю головою да говорю:

— Продрать бы ваше сиятельство хорошо, да некому.

Он рассмеется и говорит:

— То и есть, что некому.

— А вот ложитесь, мол, на мою кроватку, я вам чистенький кулечек в голову положу, а сам вас постегаю.

Он, разумеется, и начнет подъезжать, чтобы я ему на реванж денег дал.

— Нет, ты, — говорит, — лучше меня не пори, а дай-ка мне из расходных денег на реванжик: я пойду отыграюсь и всех обыграю.

— Ну уж это, — отвечаю, — покорно вас благодарю, нет, уже играйте, да не отыгрывайтесь.

— Как благодаришь! — начнет смехом, а там уже пойдет сердиться: — Ну, пожалуйста, — говорит, — не забывайся, прекрати надо мною свою опеку и подай деньги.

Мы спросили Ивана Северьяныча, давал ли он своему князю на реванж?

— Никогда, — отвечал он. — Я его, бывало, либо обману: скажу, что все деньги на овес роздал, либо просто со двора сбегу.

— Ведь он на вас небось за это сердился?

— Сердился-с; сейчас, бывало, объявляет: «Кон-

чено-с; вы у меня, полупочтеннейший, более не служите».

Я отвечаю:

«Ну и что же такое, и прекрасно. Пожалуйте мой паспорт».

«Хорошо-с, — говорит, — извольте собираться: завтра получите ваш паспорт».

Но только назавтра у нас уже никогда об этом никакого разговору больше не было. Не более как через какой-нибудь час он, бывало, приходит ко мне совсем в другом расположении и говорит:

«Благодарю вас, мой премного-малозначащий, что вы имели характер и мне на реванж денег не дали».

И так он это всегда после чувствовал, что если и со мною что-нибудь на моих выходах случалось, так он тоже как брат ко мне снисходил.

— А с вами что же случалось?

— Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали.

— А что это значит *выходы?*

— Гулять со двора выходил-с. Обучась пить вино, я его всякий день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял, но если, бывало, что меня растревожит, ужасное тогда к питью усердие получаю и сейчас сделаю выход на

несколько дней и пропадаю. А брало это меня и не заметишь отчего; например, когда, бывало, отпущаем коней, кажется, и не братья они тебе, а соскучаешь по них и запьешь. Особенно если отдалишь от себя такого коня, который очень красив, то так он, подлец, у тебя в глазахи мечется, до того, что как от наваждения какого от него скрываешься, и сделаешь выход.

— Это значит — запьете?

— Да-с; выйду и запью.

— И надолго?

— М… н… н… это не равно-с, какой выход задастся: иногда льешь, пока все пропьешь, и либо кто-нибудь тебя отколотит, либо сам кого побьешь, а в другой раз покороче удастся, в части посидишь или в канаве выспишься, и доволен, и отойдет. В таковых случаях я уже наблюдал правило и, как, бывало, чувствую, что должен сделать выход, прихожу к князю и говорю:

«Так и так, ваше сиятельство, извольте принять от меня деньги, а я пропаду».

Он уже и не спорит, а принимает деньги или только спросит, бывало:

«Надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?»

Ну, я отвечаю, судя по тому, какое усердие

чувствую: на большой ли выход или на коротенький.

И я уйду, а он уже сам и хозяйничает и ждет меня, пока кончится выход, и все шло хорошо; но только ужасно мне эта моя слабость надоела, и вздумал я вдруг от нее избавиться; тут-то и сделал такой последний выход, что даже теперь вспомнить страшно.

Глава одиннадцатая

Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северьяныч довершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни, а он, по доброте своей, всеконечно от этого не отказался и поведал о своем «последнем выходе» следующее:

— У нас была куплена с завода кобылица Дидона, молодая, золото-гнедая, для офицерского седла. Дивная была красавица: головка хорошенькая, глазки пригожие, ноздерки субтильные и открытенькие, как хочет, так и дышит; гривка легкая; грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит, а в поясу гибкая, и ножки в белых чулочках легкие, и она их мечет, как играет… Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этакого животного задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил и все ласкал ее от радости. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю как есть белым платочком, чтобы пылинки у нее в шерстке нигде не было, даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка ее золотая расходилась… В эту пору у нас разом шли

две ярмарки: одна в Л., другая в К., и мы с князем разделились: на одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет «прислать, говорит, ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотницкий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее, голубушку, променял или продал, или, еще того вернее, проиграл в карты… И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное: я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападет на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю: «Я на столько-то или на столько-то дней пропаду». Ну, а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе: «Нет, однако, я больше не стану пить, потому что князя моего нет и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до пяти тысяч». Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения и держусь, и усердия своего, чтобы сделать выход

и хорошенько пропасть, не попущаю, но ослабления к этому желанию все-таки не чувствую, а, напротив того, больше и больше стремлюсь сделать выход. И, наконец, стал я исполняться одной мысли: как бы мне так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнить и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этою целию прятать и всё по самым невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придет деньги положить… Думаю: «Что делать? видно, с собою не совладаешь, устрою, думаю, понадежнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду свое усердие, сделаю выход». Но только напало на меня смущение: где я эти проклятые деньги спрячу? Куда я их ни положу, чуть прочь от того места отойду, сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду и опять поскорее возьму и опять перепрятываю… Измучился просто я их прятавши, и по сеновалам, и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неподобным местам для хранения, а чуть отойду, сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хоронил, и непременно их отыщет, и я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою, а сам опять думаю: «Нет, уже баста, видно мне не судьба в этот раз свое усердие исполнить». И

вдруг мне пришла божественная мысль: ведь это, мол, меня бес томит этой страстью, пойду же я его, мерзавца, от себя святыней отгоню! И пошел я к ранней обедне, помолился, вынул за себя часточку и, выходя из церкви, вижу, что на стене Страшный суд нарисован и там в углу дьявола в геенне ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелам, а дьяволу взял да, послюнивши, кулак в морду и сунул:

«На-ка, мол, тебе кукиш, на него что хочешь, то и купишь», — а сам после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить… А там, в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец. Самый препустейший-пустой человек. Я его и прежде, этого человека, видал и почитал его не больше как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособия себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе служил, но все свое промотал и в карты проиграл и ходит по миру… Тут его, в этом трактире, куда я пришел, услужающие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить и стоит да говорит:

— Вы еще знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня, у меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцов, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сек, а что я всего лишился, так на это была особая Божия воля, и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет.

Те ему не верят и смеются, а он сказывает, как он жил, и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял, и один раз к губернаторше голый приехал, «а ныне, — говорит, — я за свои своеволия проклят и вся моя натура окаменела, и я ее должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки! — я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом съем».

Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил, и, как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать и перед всеми ее и съел, и все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже утробою жертвует. Думаю: надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть, и велел ему на свой счет другую рюмку подать, но стекла

есть не понуждал. Сказал: не надо, не ешь. Он это восчувствовал и руку мне подает.

— Верно, — говорит, — ты происхождения из господских людей?

— Да, — говорю, — из господских.

— Сейчас, — говорит, — и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гран-мерси[58],– говорит, — тебе за это.

Я говорю:

— Ничего, иди с Богом.

— Нет, — отвечает, — я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду.

— Ну, мол, пожалуй, садись.

Он возле меня и сел и начал сказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания, и опять говорит:

— Что это… ты чай пьешь?

— Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мною пей.

— Спасибо, — отвечает, — только я чаю пить не могу.

— Отчего?

— А оттого, — говорит, — что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная: вели мне лучше еще рюмку вина подать!.. — И этак он и раз, и

---

[58] Примечания: 58

Гран-мерси (*франц.* grand merci) — большое спасибо.

два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А еще больше противно мне стало, что он очень мало правды сказывает, а все-то куражится и невесть что о себе соплетет, а то вдруг беднится, плачет, и все о суете.

— Подумай, — говорит, — ты, какой я человек? Я — говорит, — самим Богом в один год с императором создан и ему ровесник.

— Ну так что же, мол, такое?

— А то, что какое же мое, несмотря на все это, положение? Несмотря на все это, я, — говорит, — нисколько не взыскан и вышел ничтожество, и, как ты сейчас видел, я ото всех презираем. — И с этими словами опять водки потребовал, но на сей раз уже велел целый графин подать, а сам завел мне преогромную историю, как над ним по трактирам купцы насмехаются, и в конце говорит:

— Они, — говорит, — необразованные люди, думают, что это легко такую обязанность несть, чтобы вечно пить и рюмкою закусывать? Это очень трудное, братец, призвание, и для многих даже совсем невозможное; но я свою натуру приучил, потому что вижу, что свое надо отбыть, и несу.

— Зачем же, — рассуждаю, — этой привычке так уже очень усердствовать? Ты ее брось.

— Бросить? — отвечает. — А-га, нет, братец, мне этого бросить невозможно.

— Почему же, — говорю, — нельзя?

— А нельзя, — отвечает, — по двум причинам: во-первых, потому, что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить; а во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют.

— Что же, мол, это такое? Что ты в кровать не попадешь, это понятно, потому что все пить ищешь; но чтобы христианские чувства тебе не позволяли этаку вредную пакость бросить, этому я верить не хочу.

— Да, вот ты, — отвечает, — не хочешь этому верить… Так и все говорят… А что, как ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее поднимет да возьмет: рад ли он этому будет или нет?

— Спаси, мол, Господи! Нет, я думаю, не обрадуется.

— А-га! — говорит. — Вот то-то и есть, а если уже это так надо, чтобы я страдал, так вы уважайте же меня по крайней мере за это, и вели мне еще графин водки подать!

Я постучал еще графинчик, и сижу, и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно, а он

продолжает таковые слова:

— Оно, — говорит, — это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем еще другому достанется, потому что я, — говорит, — хорошего рода и настоящее воспитание получил, так что даже я еще самым маленьким по-французски Богу молился, но я был немилостивый и людей мучил, в карты своих крепостных проигрывал; матерей с детьми разлучал; жену за себя богатую взял и со света ее сжил, и, наконец, будучи во всем сам виноват, еще на Бога возроптал: зачем у меня такой характер? Он меня и наказал: дал мне другой характер, что нет во мне ни малейшей гордости, хоть в глаза наплюй, по щекам отдуй, только бы пьяным быть, про себя забыть.

— И что же, — спрашиваю, — теперь ты уже на этот характер не ропщешь?

— Не ропщу, — отвечает, — потому что оно хотя хуже, но зато лучше.

— Как это, мол, так: я что-то не понимаю, как это: хуже, но лучше?

— А так, — отвечает, — что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить не могу, ибо от меня все отвращаются. Я, — говорит, — теперь все равно что Иов на гноище, и в этом, — говорит, — все мое счастье и спасе-

ние, — и сам опять водку допил, и еще графин спрашивает, и молвит:

— А ты знаешь ли, любезный друг: ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы, одержимые, страждем, а другим зато легче. И сам ты если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился; а ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял.

— Ну, где же, — говорю, — возможно такого человека найти! Никто на это не согласится.

— Отчего так? — отвечает, — да тебе даже нечего далеко ходить: такой человек перед тобою, я сам и есть такой человек.

Я говорю:

— Ты шутишь?

Но он вдруг вскакивает и говорит:

— Нет, не шучу, а если не веришь, так испытай.

— Ну как, — говорю, — я могу это испытывать?

— А очень просто: ты желаешь знать, каково мое дарование? У меня ведь, брат, большое дарование: я вот, видишь, — я сейчас пьян… Так или нет: пьян я?

Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый и весь осоловевши и на ногах покачивается, и говорю:

— Да разумеется, что ты пьян.

А он отвечает:

— Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме «Отче наш».

Я отвернулся и действительно, только «Отче наш», глядя на образ, в уме прочитал, а этот пьяный баринок уже опять мне командует:

— А ну-ка погляди теперь на меня? пьян я теперь или нет?

Обернулся я и вижу, что он, точно ни в одном глазу у него ничего не было, и стоит, улыбается.

Я говорю:

— Что же это значит: какой это секрет? А он отвечает:

— Это, — говорит, — не секрет, а это называется магнетизм.

— Не понимаю, мол, что это такое?

— Такая воля, — говорит, — особенная в человеке помещается, и ее нельзя ни пропить, ни проспать, потому что она дарована. Я, — говорит, — это тебе показал для того, чтобы ты понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить, но я этого не

хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я, поправившись, чтобы про Бога не позабыл. Но с другого человека со всякого я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести.

— Так сведи, — говорю, — сделай милость, с меня!

— А ты, — говорит, — разве пьешь?

— Пью, — говорю, — и временем даже очень усердно пью.

— Ну так не робей же, — говорит, — это все дело моих рук, и я тебя за твое угощение отблагодарю: все с тебя сниму.

— Ах, сделай милость, прошу, сними!

— Изволь, — говорит, — любезный, изволь: я тебе это за твое угощение сделаю; сниму и на себя возьму, — и с этим крикнул опять вина и две рюмки.

Я говорю:

— На что тебе две рюмки?

— Одна, — говорит, — для меня, другая — для тебя!

— Я, мол, пить не стану.

А он вдруг как бы осерчал и говорит:

— Тссс! силянс[59]! молчать! Ты теперь кто? —

---

[59] Примечания: 59

Силянс — (*франц.* silence) — молчание.

больной.

— Ну, мол, ладно, будь по-твоему: я больной.

— А я, — говорит, — лекарь, и ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарство, — и с этим налил и мне и себе по рюмке и начал над моей рюмкой в воздухе, вроде как архиерейский регент, руками махать. Помахал, помахал и приказывает:

— Пей!

Я было усумнился, но как, по правде сказать, и самому мне винца попробовать очень хотелось и он приказывает: «Дай, — думаю, — ни для чего иного, а для любопытства выпью!» — и выпил.

— Хороша ли, — спрашивает, — вкусна ли или горька?

— Не знаю, мол, как тебе сказать.

— А это значит, — говорит, — что ты мало принял, — и налил вторую рюмку и давай опять над нею руками мотать. Помотает-помотает и отряхнет, и опять заставил меня и эту, другую, рюмку выпить и вопрошает: «Эта какова?»

Я пошутил, говорю:

— Эта что-то тяжела показалась.

Он кивнул головой, и сейчас намахал третью, и опять командует: «Пей!» Я выпил и говорю:

— Эта легче, — и затем уже сам в графин стучу,

и его потчую, и себе наливаю, да и пошел пить. Он мне в этом не препятствует, но только ни одной рюмки так просто, не намаханной, не позволяет выпить, а чуть я возьмусь рукой, он сейчас ее из моих рук выймет и говорит:

— Шу, силянс… атанде[60],– и прежде над нею руками помашет, а потом и говорит:

— Теперь готово, *можешь принимать, как сказано.*

И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера, и все был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазухою деньги, и чувствую, что они все, как должно, на своем месте целы лежат, и продолжаю.

Барин мне тут, пивши со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь, и впоследи всего стал ссориться, что я любви не понимаю.

Я говорю:

— Что же с тем делать, когда я к этим пустякам не привлечен? Будет с тебя того, что ты все понимаешь и зато вон какой лонтрыгой[61] ходишь.

---

[60] Примечания: 60

Атанде (*франц.* attendez) — подождите.

[61] Примечания: 61

Лонтрыга — мот, пьяница, праздный гуляка.

А он говорит:

— Шу, силянс! Любовь — наша святыня!

— Пустяки, мол.

— Мужик, — говорит, — ты и подлец, если ты смеешь над священным сердца чувством смеяться и его пустяками называть.

— Да, пустяки, мол, оно и есть.

— Да ты понимаешь ли, — говорит, — что такое «краса природы совершенство»?

— Да, — говорю, — я в лошади красоту понимаю.

А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить.

— Разве лошадь, — говорит, — краса природы совершенство?

Но как время было довольно поздно, то ничего этого он мне доказать не мог, а буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцам, а те подскочили человек шесть и сами просят… «пожалуйте вон», а сами подхватили нас обоих под ручки и за порог выставили и дверь за нами наглухо на ночь заперли.

Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сие время не могу себе понять, что тут произошло за действие и какою силою оно надо мною творилось, но только таких искушений и про-

исшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в Четминеях нет.

Глава двенадцатая

Первым делом, как я за дверь вылетел, сейчас же руку за пазуху и удостоверился, здесь ли мой бумажник? Оказалось, что он при мне. «Теперь, — думаю, — вся забота, как бы их благополучно домой донести». А ночь была самая темная, какую только можете себе вообразить. В лете, знаете, у нас около Курска бывают такие темные ночи, но претеплейшие и премягкие: по небу звезды как лампады навешаны, а понизу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает… А на ярмарке всякого дурного народа бездна бывает, и достаточно случаев, что иных грабят и убивают. Я же хоть силу в себе и ощущал, но думаю, во-первых, я пьян, а во-вторых, что если десять или более человек на меня нападут, то и с большою силою ничего с ними не сделаешь, и оберут, а я хоть и был в кураже, но помнил, что когда я, не раз вставая и опять садясь, расплачивался, то мой компаньон, баринок этот, видел, что у меня с собою денег тучная сила. И потому вдруг мне, знаете, впало в голову: нет ли с его стороны ко вреду моему какого-нибудь предательства? Где он взаправду? вместе нас вон

выставили, а куда же он так спешно делся?

Стою я и потихоньку оглядываюсь и, имени его не зная, потихоньку зову так:

— Слышишь, ты? — говорю, — магнетизер, где ты?

А он вдруг, словно бес какой, прямо у меня перед глазами вырастает и говорит:

— Я вот он.

А мне показалось, что будто это не тот голос, да и впотьмах даже и рожа не его представляется.

— Подойди-ка, — говорю, — еще поближе. — И как он подошел, я его взял за плечи, и начинаю рассматривать, и никак не могу узнать, кто он такой? как только его коснулся, вдруг ни с того ни с сего всю память отшибло. Слышу только, что он что-то по-французски лопочет: «ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе», а я в том ничего не понимаю.

— Что ты такое, — говорю, — лопочешь?

А он опять по-французски:

— Ди-ка-ти-ли-ка-типе.

— Да перестань, — говорю, — дура, отвечай мне по-русски, кто ты такой, потому что я тебя позабыл.

Отвечает:

— Ди-ка-ти-ли-ка-типе: я магнетизер.

— Тьфу, мол, ты, пострел этакой! — и на ми-

нутку будто вспомню, что это он, но стану в него всматриваться, и вижу у него два носа!.. Два носа, да и только! А раздумаюсь об этом — позабуду, кто он такой…

«Ах ты, будь ты проклят, — думаю, — и откуда ты, шельма, на меня навязался?» — и опять его спрашиваю:

— Кто ты такой?

Он опять говорит:

— Магнетизер.

— Провались же, — говорю, — ты от меня: может быть, ты черт?

— Не совсем, — говорит, — так, а около того.

Я его в лоб и стукнул, а он обиделся и говорит:

— За что же ты меня ударил? я тебе добродетельствую и от усердного пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьешь?

А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю:

— Да кто же ты, мол, такой?

Он говорит:

— Я твой довечный друг.

— Ну, хорошо, мол, а если ты мой друг, так ты, может быть, мне повредить можешь?

— Нет, — говорит, — я тебе такое пти-ком-пё представлю, что ты себя иным человеком ощу-

тишь.

— Ну, перестань, — говорю, — пожалуйста, врать.

— Истинно, — говорит, — истинно: такое птиком-пё…

— Да не болтай ты, — говорю, — черт, со мною по-французски: я не понимаю, что то за птиком-пё!

— Я, — отвечает, — тебе в жизни новое понятие дам.

— Ну, вот это, мол, так, но только какое же такое ты можешь мне дать новое понятие?

— А такое, — говорит, — что ты постигнешь красу природы совершенство.

— Отчего же я, мол, вдруг так ее и постигну?

— А вот пойдем, — говорит, — сейчас увидишь.

— Хорошо, мол, пойдем.

И пошли. Идем оба, шатаемся, но всё идем, а я не знаю куда, и только вдруг вспомню, что кто же это такой со мною, и опять говорю:

— Стой! говори мне, кто ты? иначе я не пойду.

Он скажет, и я на минутку как будто вспомню, и спрашиваю:

— Отчего же это я позабываю, кто ты такой?

А он отвечает:

— Это, — говорит, — и есть действие от моего

магнетизма; но только ты этого не пугайся, это сейчас пройдет, только вот дай я в тебя сразу побольше магнетизму пущу.

И вдруг повернул меня к себе спиною и ну у меня в затылке, в волосах пальцами перебирать… Так чудно: копается там, точно хочет мне взлезть в голову.

Я говорю:

— Послушай ты… кто ты такой! что ты там роешься?

— Погоди, — отвечает, — стой: я в тебя свою силу магнетизм перепущаю.

— Хорошо, — говорю, — что ты силу перепущаешь, а может, ты меня обокрасть хочешь?

Он отпирается.

— Ну так постой, мол, я деньги попробую.

Попробовал — деньги целы.

— Ну, теперь, мол, верно, что ты не вор, — а кто он такой — опять позабыл, но только уже не помню, как про то и спросить, а занят тем, что чувствую, что уже он совсем в меня сквозь затылок точно внутрь влез и через мои глаза на свет смотрит, а мои глаза ему только словно как стекла.

«Вот, — думаю, — штуку он со мной сделал! — а где же теперь, — спрашиваю, — мое зрение?»

— А твоего, — говорит, — теперь уже нет.

— Что, мол, это за вздор, что нет?

— Так, — отвечает, — своим зрением ты теперь только то увидишь, чего нету.

— Вот, мол, еще притча! Ну-ка, давай-ка я понатужусь.

Вылупился, знаете, во всю мочь, и вижу, будто на меня из-за всех углов темных разные мерзкие рожи на ножках смотрят, и дорогу мне перебегают, и на перекрестках стоят, ждут и говорят: «Убьем его и возьмем сокровище». А передо мною опять мой вихрястенький баринок, и рожа у него вся светом светится, а сзади себя слышу страшный шум и содом, голоса и бряцанье, и гик, и визг, и веселый хохот. Осматриваюсь и понимаю, что стою, прислонясь спиною к какому-то дому, а в нем окна открыты и в середине светло, и оттуда те разные голоса, и шум, и гитара ноет, а передо мною опять мой баринок, и все мне спереди по лицу ладонями машет, а потом по груди руками ведет, против сердца останавливается, напирает, и за персты рук схватит, встряхнет полегонечку, и опять машет, и так трудится, что даже, вижу, он сделался весь в поту.

Но только тут, как мне стал из окон дома свет светить и я почувствовал, что в сознание свое

прихожу, то я его перестал опасаться и говорю:

— Ну, послушай ты, кто ты такой ни есть: черт, или дьявол, или мелкий бес, а только, сделай милость, или разбуди меня, или рассыпься.

А он мне на это отвечает:

— Погоди, — говорит, — еще не время: еще опасно, ты еще не можешь перенести.

Я говорю:

— Чего, мол, такого я не могу перенести?

— А того, — говорит, — что в воздушных сферах теперь происходит.

— Что же я, мол, ничего особенного не слышу?

А он настаивает, что будто бы я не так слушаю, и говорит мне божественным языком:

— Ты, — говорит, — чтобы слышать, подражай примерно гуслеигрателю, како сей подклоняет низу главу и, слух прилагая к пению, подвизает бряцало рукою.

«Нет, — думаю, — да что же это такое? Это даже совсем на пьяного человека речи не похоже, как он стал разговаривать!»

А он на меня глядит и тихо по мне руками водит, а сам продолжает в том же намерении уговаривать.

— Так, — говорит, — купно струнам, художне соударяемым единым со другими, гусли песнь

издают и гуслеигратель веселится, сладости ради медовыя.

То есть просто, вам я говорю, точно я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струит, и я думаю: «Вот тебе и пьяничка! Гляди-ка, как он еще хорошо может от божества говорить!» А мой баринок этим временем перестал егозиться и такую речь молвит:

— Ну, теперь довольно с тебя; теперь проснись, — говорит, — и подкрепись!

И с этим принагнулся, и все что-то у себя в штанцах в кармашке долго искал, и, наконец, что-то оттуда достает. Гляжу, это вот такохонький махонький-махонький кусочек сахарцу, и весь в сору, видно оттого, что там долго валялся. Обобрал он с него коготками этот сор, пообдул и говорит:

— Раскрой рот.

Я говорю:

— Зачем? — а сам рот раззявил. А он воткнул мне тот сахарок в губы и говорит:

— Соси, — говорит, — смелее; это магнитный сахар-ментор: он тебя подкрепит.

Я уразумел, что хоть это и по-французски он говорил, но насчет магнетизма, и больше его не спрашиваю, а занимаюсь, сахар сосу, а кто мне

его дал, того уже не вижу. Отошел ли он куда впотьмах в эту минуту или так куда провалился, лихо его ведает, но только я остался один и совсем сделался в своем понятии и думаю: чего же мне его ждать? мне теперь надо домой идти. Но опять дело: не знаю — на какой я такой улице нахожусь и что это за дом, у которого я стою? И думаю: да уже дом ли это? может быть, это все мне только кажется, а все это наваждение… Теперь ночь, — все спят, а зачем тут свет?… Ну, а лучше, мол, попробовать… зайду посмотрю, что здесь такое: если тут настоящие люди, так я у них дорогу спрошу, как мне домой идти, а если это только обольщение глаз, а не живые люди… так что же опасного? я скажу: «Наше место свято: чур меня» — и все рассыпется.

Глава тринадцатая

Вхожу я с такою отважною решимостью на крылечко, перекрестился и зачурался, ничего: дом стоит, не шатается, и вижу: двери отворены, и впереди большие длинные сени, а в глубине их на стенке фонарь со свечою светит. Осмотрелся я и вижу налево еще две двери, обе циновкой обиты, и над ними опять этакие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю: что же это такое за дом: трактир как будто не трактир, а видно, что гостиное место, а какое — не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь, и слышу, что из-за этой циновочной двери льется песня… томная-претомная, сердечнейшая, и поет ее голос, точно колокол малиновый, так за душу и щипет, так и берет в полон. Я и слушаю и никуда далее не иду, а в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу, вышел из нее высокий цыган в шелковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то перед собою скоро выпроводил в особую дверь под дальним фонарем, которую я спервоначала и не заметил. Я, признаться, хоть не хорошо рассмотрел, кого это он спровадил, но показалось мне, что это он вывел моего магнетизера и гово-

рит ему вслед:

— Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом полтиннике, а завтра приходи: если нам *от него* польза будет, так мы тебе за его приведение к нам еще прибавим.

И с этим дверь на защелку защелкнул и бегит ко мне будто ненароком, отворяет передо мною дверь, что под зеркальцем, и говорит:

— Милости просим, господин купец, пожалуйте наших песен послушать! Голоса есть хорошие.

И с этим дверь перед мною тихо навстежь распахнул… Так, милостивые государи, меня и обдало не знаю чем, но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и потолок повихнут, пузом вниз лезет, все темно, закоптело, и дым от табаку такой густой, что люстра наверху висит, так только чуть ее знать, что она светится. А внизу в этом дымище люди… очень много, страсть как много людей, и перед ними этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. Притом, как я взошел, она только последнюю штучку тонко-претонко, нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у нее замер… Замер ее голосок, и с ним в одно мановение точно всё умерло… Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ла-

дошами плещут и кричат. А я только удивляюсь: откуда это здесь так много народу и как будто еще все его больше и больше из дыму выступает? «Ух, — думаю, — да не дичь ли это какая-нибудь вместо людей?» Но только вижу я разных знакомых господ ремонтеров и заводчиков и так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники, и промежду всей этой публики цыганка ходит этакая… даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея, на хвосте движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура! А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золото, и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи, — только одних белых лебедей нет. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердия, денег мечет, золото или ассигнации; а она его тогда в уста поцелует и поклонится. И обошла она первый ряд и второй — гости вроде как полукругом сидели — и потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял, и было уже назад повернула, не хотела мне подносить,

но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет:

— Грушка! — и глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничищами… ей-богу, вот этакие ресницы, длинные-предлинные, черные, и точно они сами по себе живые и, как птицы какие, шевелятся, а в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать, но, однако, свою должность исполняет: заходит ко мне за задний ряд, кланяется и говорит:

— Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье!

А я ей даже и отвечать не могу: такое она со мною сразу сделала! Сразу, то есть, как она передо мною над подносом нагнулась и я увидал, как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощенье, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу: смугла она или бела она, а меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сливе на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка бьет… «Вот она, — думаю, — где настоящая-то красота, что природы совершенство называется; магнетизер правду сказал: это совсем не то, что в

лошади, в продажном звере».

И вот я допил стакан до дна и стук им об поднос, а она стоит да дожидается, за что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадаются четвертаки, да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю; недостойно этим одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет! А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят:

— Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь Груше этого мужика угощать? нам это обидно.

А он отвечает:

— У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский обычай знает; а обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На это разные примеры бывают.

А я, это слышучи, думаю:

«Ах вы, волк вас ешь! Неужели с того, что вы меня богатее, то у вас и чувств больше? Нет уже, что будет, то будет: после князю отслужу, а теперь себя не постыжу и сей невиданной красы скупостью не унижу».

Да с этим враз руку за пазуху, вынул из пачки сторублевого лебедя, да и шаркнул его на под-

нос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другою мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно будто ядом каким провела, и прочь отошла.

Она отошла, а я было на том же месте остался, но только тот старый цыган, этой Груши отец, и другой цыган подхватили меня под руку, и волокут вперед, и сажают в самый передний ряд рядом с исправником и с другими господами.

Мне было, признаться, на это и неохота: я не хотел продолжать и хотел вон идти; но они просят, и не пущают, и зовут:

— Груша! Грунюшка, останови гостя желанного!

И та выходит и… враг ее знает, что она умела глазами делать: взглянула, как заразу какую в очи пустила, а сама говорит:

— Не обидь: погости у нас на этом месте.

— Ну уж тебя ли, — говорю, — кому обидеть можно, — и сел.

А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание: как будто ядовитою кисточкою уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет.

И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая цыганка с шампанеей пошла. Тоже и эта хороша, но где против Груши! Половины той красоты нет, и за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул… Господа это взяли в пересмех, но мне все равно, потому я одного смотрю, где она, эта Грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора слышать, а она не поет. Сидит с другими, подпевает, но со́лу не делает, и мне ее голоса не слыхать, а только роток с белыми зубками видно… «Эх ты, — думаю, — доля моя сиротская: на минуту зашел и сто рублей потерял, а вот ее-то одну и не услышу!» Но на мое счастье не одному мне хотелося ее послушать: и другие господа важные посетители все вкупе закричали после одной перемены:

— Груша! Груша! «Челнок», Груша! «Челнок»!

Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете… их пение обыкновенно достигательное и за сердца трогает, а я как услыхал этот самый ее голос, на который мне еще из-за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось! Начала она так как будто грубовато, мужественно, эдак: «Мо-о-ре во-оо-о-ет, мо-ре сто-нет». Точно в действительности слышно, как и море стонет и в нем челночок

поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к звезде: «Золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда земная недоступна до меня». И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими с обращениями: то плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде, и точно сразу опять сердце вставит… Так и тут она это «море»-то с «челном» всколыхала, а другие как завизжат всем хором:

Джа-ла́-ла. Джа-ла-ла.
Джа-ла́-ла прингала́!
Джа-ла-ла прингa-ла.
Гай да чепурингаля!
Гей гоп-гай, та гара!
Гей гоп-гай-та гара!

и потом Грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще одного лебедя… На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю; так что им даже совестно после меня класть, а я решительно уже ничего не жалею, потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказал. Что Груша раз ни споет, то я ей за то лебедя, и уже не считаю,

сколько их выпустил, а даю да и кончено, и зато другие ее все разом просят петь, она на все их просьбы не поет, говорит «устала», а я один кивну цыгану: не можно ли, мол, ее понудить? тот сейчас на ее глазами поведет, она и поет. И многое она пела, песня от песни могучее, и покидал я уже ей много, без счету лебедей, а в конце, не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась, и устала, и, точно с намеками на меня глядя, завела: «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих». Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает: «Иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой». А я ей еще лебедя! Она меня опять поневоле поцеловала, как ужалила, и в глазах точно пламя темное, а те, другие, в этот лукавый час напоследях как заорут:

Ты восчувствуй, мила́я,
Как люблю тебя, драгая!

и все им подтягивают да на Грушу смотрят, и я смотрю да подтягиваю: «ты восчувствуй!» А потом цыгане как хватят: «Ходи, изба, ходи, печь; хозяину негде лечь» — и вдруг все в пляс пошли… Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут: все вместе вьются, точно и в

самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают, им вслед гонят, молодые с посвистом, а кои старше с покрехтом. На местах, гляжу, уже никого и не остается… Даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал, и те все поднимаются. Посидит-посидит иной, кто посолиднее, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет, либо усом дергает, а потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит и хоть не умеет плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно! Исправник толстый-претолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит, а гусар-ремонтер, ротмистр богатый и собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует: руки в боки, а каблуками навыверт стучит, перед всеми идет — козырится, взагреб валяет, а с Грушей встренется — головой тряхнет, шапку к ногам ее ронит и кричит: «Наступи, раздави, раскрасавица!» — и она… Ох, тоже плясунья была! Я видал, как пляшут актерки в театрах, да что все это, тьфу, все равно что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру мане-

жится, невесть чего ерихонится[62], а огня-жизни нет. Эта же краля как пошла, так как фараон плывет — не колыхнется, а в самой, в змее, слышно, как и хрящ хрустит и из кости в кость мозжечок идет, а станет, повыгнется, плечом ведет и бровь с носком ножки на одну линию строит… Картина! Просто от этого виденья на ее танец все словно свой весь ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти: у кого слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат:

«Ничего не жалеем: танцуй!» — деньги ей так просто зря под ноги мечут, кто золото, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще завеялось, и я лишь один сижу, да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на гусарову шапку наступает… Она ступит, а меня черт в жилу щелк; она опять ступит, а он меня опять щелк, да, наконец, думаю: «Что же мне так себя всуе мучить! Пущу и я свою душу погулять вволю», — да как вскочу, отпихнул гусара, да и пошел перед Грушею вприсядку… А чтобы она на его, гусарову, шапку не становилася, такое средство изобрел, что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалеете, меня тем не удивите: а вот что

---

[62] Примечания: 62

Ерихонится — важничает, ломается.

я ничего не жалею, так я то делом-правдою докажу, да сам прыгну, и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя и кричу: «Дави его! Наступай!» Она было не того… даром, что мой лебедь гусарской шапки дороже, а она и на лебедя не глядит, а все норовит за гусаром; да только старый цыган, спасибо, это заметил, да как на нее топнет… Она и поняла и пошла за мной… Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеища-горынище, ажно гневом землю жжет, а я перед ней просто в подобии беса скачу, да все, что раз прыгну, то под ножку ей мечу лебедя… Сам ее так уважаю, что думаю: не ты ли, проклятая, и землю и небо сделала? а сам на нее с дерзостью кричу: «ходи шибче», да все под ноги ей лебедей; да раз руку за пазуху пущаю, чтобы еще одного достать, а их, гляжу, там уже всего с десяток остался… «Тьфу ты, — думаю, — черт же вас всех побирай!» — скомкал их всех в кучку, да сразу их все ей под ноги и выбросил, а сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил ей горло и крикнул:

— Сторонись, душа, а то оболью! — да всю сразу и выпил за ее здоровье, потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.

Глава четырнадцатая

— Ну, и что же далее? — вопросили Ивана Северьяныча.

— Далее действительно все так воспоследовало, как *он* обещался.

— Кто обещался?

— А магнетизер, который это на меня навел: он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел, и я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал.

— Ну-с, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили?

— А я и сам не знаю, как-то очень просто: как от этих цыганов доставился домой, и не помню, как лег, но только слышу, князь стучит и зовет, а я хочу с коника[63] встать, но никак края не найду и не могу сойти. В одну сторону поползу — не край, в другую оборочусь — и здесь тоже краю нет… Заблудил на конике, да и полно!.. Князь кричит: «Иван Северьяныч!» А я откликаюсь: «Сейчас!» — а сам лазию во все стороны и все не найду края, и, наконец, думаю: ну, если слезть нельзя, так я же

---

[63] Примечания: 63

Коник — ларь с подъемной крышкой.

спрыгну, и размахнулся да как сигану как можно дальше, и чувствую, что меня будто что по морде ударило и вокруг меня что-то звенит и сыпется, и сзади тоже звенит и опять сыпется, и голос князя говорит денщику: «Давай огня скорей!»

А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во сне я все это над собою вижу, и полагаю, что я все еще на конике до края не достиг; а наместо того, как денщик принес огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой в хозяйскую горку с хрусталем запрыгнул и поколотил все…

— Как же вы это так заблудились?

— Очень просто: думал, что я, по всегдашнему своему обыкновению, на конике сплю, а я, верно, придя от цыган, прямо на пол лег, да все и ползал, края искал, а потом стал прыгать… и допрыгал до горки. Блуждал, потому этот… магнетизер, он пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил… Я тут же и вспомнил его слова, что он говорил: «как бы хуже не было, если питье бросить», — и пошел его искать — хотел просить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое, но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес, и тут же, напротив цыганов, у шинкарки так напился, что и помер.

— А вы так и остались замагнетизированы?

— Так и остался-с.

— И долго же на вас этот магнетизм действовал?

— Отчего же долго ли? он, может быть, и посейчас действует.

— А все-таки интересно знать, как же вы с князем-то?... Неужто так и объяснения у вас никакого не было за лебедей?

— Нет-с, объяснение было, только не важное. Князь тоже приехал проигравшись и на реванж у меня стал просить. Я говорю:

— Ну уже это оставьте: у меня ничего денег нет.

Он думает, шутка, а я говорю:

— Нет, исправди, у меня без вас большой выход был.

Он спрашивает:

— Куда же, мол, ты мог пять тысяч на одном выходе деть?...

Я говорю:

— Я их сразу цыганке бросил...

Он не верит.

Я говорю:

— Ну, не верьте; а я вам правду говорю.

Он было озлился и говорит:

— Запри-ка двери, я тебе задам, как казенные

деньги швырять, — а потом, это вдруг отменив, и говорит: — Не надо ничего, я и сам такой же, как ты, беспутный.

И он в комнате лег свою ночь досыпать, а я на сеновал тоже опять спать пошел. Опомнился же я в лазарете и слышу, говорят, что у меня белая горячка была и хотел будто бы я вешаться, только меня, слава Богу, в длинную рубашку спеленали. Потом выздоровел я и явился к князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел, и говорю:

— Ваше сиятельство, надо мне вам деньги отслужить.

Он отвечает:

— Пошел к черту.

Я вижу, что он очень на меня обижен, подхожу к нему и нагинаюсь.

— Что, — говорит, — это значит?

— Да оттрепите же, — прошу, — меня по крайней мере как следует!

А он отвечает:

— А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь, а может быть, я тебя вовсе и виноватым не считаю.

— Помилуйте, — говорю, — как же еще я не виноват, когда я этакую область денег расшвырял?

Я сам знаю, что меня, подлеца, за это повесить мало.

А он отвечает:

— А что, братец, делать, когда ты артист.

— Как, — говорю, — это так?

— Так, — отвечает, — так, любезнейший Иван Северьяныч, вы, мой полупочтеннейший, артист.

— И понять, — говорю, — не могу.

— Ты, — говорит, — не думай что-нибудь худое, потому что и я сам тоже артист.

— Ну, вот это, — думаю, — понятно: видно, не я один до белой горячки подвизался.

А он встал, ударил об пол трубку и говорит:

— Что тут за диво, что ты перед ней бросил, что при себе имел, я, братец, за нее то отдал, чего у меня нет и не было.

Я во все глаза на него вылупился.

— Батюшка, мол, ваше сиятельство, помилосердуйте, что вы это говорите, мне это даже слушать страшно.

— Ну, ты, — отвечает, — очень не пугайся: Бог милостив, и авось как-нибудь выкручусь, а только я за эту Грушу в табор полсотни тысяч отдал.

Я так и ахнул:

— Как, — говорю, — полсотни тысяч! за цыган-

ку? да стоит ли она этого, аспидка?

— Ну, вот это, — отвечает, — вы, полупочтеннейший, глупо и не по-артистически заговорили… Как стоит ли? Женщина всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесет, что за все царство от нее не вылечишься, а она одна в одну минуту от нее может исцелить.

А я все думаю, что все это правда, а только сам все головою качаю и говорю:

— Этакая, мол, сумма! целые пятьдесят тысяч!

— Да, да, — говорит, — и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше дал… все, что хочешь, дал бы.

— А вам бы, — говорю, — плюнуть и больше ничего.

— Не мог, — говорит, — братец, не мог плюнуть.

— Отчего же?

— Она меня красотою и талантом уязвила, и мне исцеленья надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи: ведь правда: она хороша? А? правда, что ли? Есть отчего от нее с ума сойти?…

Я губы закусил и только уже молча головой трясу:

— Правда, мол, правда!

— Мне, — говорит князь, — знаешь, мне ведь за

женщину хоть умереть, так ничего не стоит. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочем?

— Что же, — говорю, — тут непонятного, краса природы совершенство…

— Как же ты это понимаешь?

— А так, — отвечаю, — и понимаю, что краса природы совершенство, и за это восхищенному человеку погибнуть… даже радость!

— Молодец, — отвечает мой князь, — молодец вы, мой почти полупочтеннейший и премного-малозначащий Иван Северьянович! именно-с, именно гибнуть-то и радостно, и вот то-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевернул: и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одной ей в лицо смотреть.

Тут я еще ниже спустил голос и шепчу:

— Как, — говорю, — будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?

А он отвечает:

— А то как же иначе? разумеется, здесь.

— Может ли, — говорю, — это быть?

— А вот ты, — говорит, — постой, я ее сейчас приведу. Ты артист, — от тебя я ее не скрою.

И с этим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю:

«Эх, нехорошо это, что ты так утверждаешь, что на одно на ее лицо будешь смотреть! Наскучит!» Но в подробности об этом не рассуждаю, потому что как вспомню, что она здесь, сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится, и в уме мешаюсь, думаю: «Неужели я ее сейчас увижу?» А они вдруг и входят: князь впереди идет и в одной руке гитару с широкою алой лентой несет, а другою Грушеньку, за обе ручки сжавши, тащит, а она идет понуро, упирается и не смотрит, а только эти ресничищи черные по щекам как будто птичьи крылья шевелятся.

Ввел ее князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван; одну бархатную подушку ей за спину подсунул, другую — под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо и персты руки на струны поклал. Потом сел сам на полу у дивана и голову склонил к ее алому сафьянному башмачку и мне кивает: дескать, садись и ты.

Я тихонечко опустился у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже тощо делается. Я сидел-сидел, индо колени разломило, а гляну на нее, она все в том же положении, а на князя посмотрю: вижу, что он от томноты у себя весь ус изгрыз, а

ничего ей не говорит.

Я ему и киваю: дескать, что же вы, прикажите ей петь! А он обратно мне пантомину дает в таком смысле, что, дескать, не послушает.

И опять оба сидим на полу да ждем, а она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипывать, и по реснице слезка струит, а по струнам пальцы, как осы, ползают и рокочут… И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела: «Люди добрые, послушайте про печаль мою сердечную».

Князь шепчет:

— Что?

А я ему тоже шепотом по-французски отвечаю:

— Пти-ком-пё, — говорю, и сказать больше нечего, а она в эту минуту вдруг как вскрикнет:

— А меня с красоты продадут, продадут, — да как швырнет гитару далеко с колен, а с головы сорвала косынку и пала ничком на диван, лицо в ладони уткнула и плачет, и я, глядя на нее, плачу, и князь… тоже и он заплакал, но взял гитару и точно не пел, а, как будто службу служа, застонал: «Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной», — да и ну рыдать. И поет и рыдает: «Успокой меня, неспокойного, осчастливь меня, несчастливого». Как он так жестоко взволновался, она, вижу, внемлет сим его слезам

и пению и все стала тишать, усмиряться и вдруг тихо ручку из-под своего лица вывела и, как мать, нежно обвила ею его голову…

Ну, тут мне стало понятно, что она его в этот час пожалела и теперь сейчас успокоит и исцелит всю тоску души его пламенной, и я встал потихоньку, незаметно, и вышел.

— И, верно, тут-то вы и в монастырь пошли? — вопросил некто рассказчика.

— Нет-с: еще не тут, а позже, — отвечал Иван Северьяныч и добавил, что ему еще надлежало прежде много в свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось, и его зачеркнуло.

Слушатели, разумеется, приступили с просьбою хотя вкратце рассказать им историю Груни, и Иван Северьяныч это исполнил.

Глава пятнадцатая

— Видите, — начал Иван Северьяныч, — мой князь был человек души доброй, но переменчивой. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи — иначе он с ума сойдет, и в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет, а потом, когда получит, не дорожит счастьем. Так это у него и с этой цыганкой вышло, и ее, Грушин, отец и все те ихние таборные цыганы отлично сразу в нем это поняли и запросили с него за нее невесть какую цену, больше как все его домашнее состояние позволяло, потому что было у него хотя и хорошее именьице, но разоренное. Таких денег, какие табор за Грушу назначил, у князя тогда налицо не было, и он сделал для того долг и уже служить больше не мог.

Знавши все эти его привычки, я много хорошего от него не ожидал и для Груши, и так на мое и вышло. Все он к ней ластился, безотходно на нее смотрел и дышал, и вдруг зевать стал и все меня в компанию призывать начал.

— Садись, — говорит, — послушай.

Я беру стул, сажусь где-нибудь поближе к дверям и слушаю. Так и часто доводилось: он, бывало,

ее попросит петь, а она скажет:

— Перед кем я стану петь! Ты, — говорит, — холодный стал, а я хочу, чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и мучилась.

Князь сейчас опять за мною и посылает, и мы с ним двое ее и слушаем; а потом Груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мною обращаться очень дружественно, и я после ее пения не раз у нее в покоях чай пил вместе с князем, но только, разумеется, или за особым столом, или где-нибудь у окошечка, а если когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядом с собою меня сажала. Вот так прошло сколько времени, а князь все смутнее начал становиться и один раз мне и говорит:

— А знаешь что, Иван Северьянов, так и так, ведь дела мои очень плохи.

Я говорю:

— Чем же они плохи? Слава Богу, живете как надо, и все у вас есть.

А он вдруг обиделся.

— Как, — говорит, — вы, мой полупочтеннейший, глупы, «все есть»? что же это такое у меня *есть?*

— Да все, мол, что нужно.

— Неправда, — говорит, — я обеднел, я теперь

себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. Разве это жизнь? Разве это жизнь?

«Вот, — думаю, — что тебя огорчает», — и говорю:

— Ну, если когда вина недостача, еще не велика беда, потерпеть можно, зато есть что слаще и вина и меду.

Но он понял, что я намекаю на Грушу, и как будто меня устыдился, и сам ходит, рукою машет, а сам говорит:

— Конечно… конечно… разумеется… но только… Вот я теперь полгода живу здесь и человека у себя чужого не видал…

— А зачем, мол, он вам, чужой-то человек, когда есть душа желанная?

Князь вспыхнул.

— Ты, — говорит, — братец, ничего не понимаешь: все хорошо одно при другом.

«А-га! — думаю, — вот ты что, брат, запел?» — и говорю:

— Что же, мол, теперь делать?

— Давай, — говорит, — станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили.

Пустое это и не господское дело лошадьми торговать, но, думаю, чем бы дитя ни тешилось, абы

не плакало, и говорю: «Извольте».

И начали мы с ним заводить. Но чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть: где какие деньжонки добудет, сейчас покупать коней, и все берет, хватает зря; меня не слушает… Накупили обельму[64], а продажи нет… Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил, да давай что попало городить: то кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел, и все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере… Постоянно он дома не сидит, а летает то туда, то сюда, да чего-то ищет, а Груша одна и в таком положении… в тягости. Скучает. «Мало, — говорит, — его вижу», — а перемогает себя и великатится; чуть заметит, что он день-другой дома заскучает, сейчас сама скажет:

— Ты бы, — говорит, — изумруд мой яхонтовый, куда-нибудь поехал, прогулялся, что тебе со мною сидеть: я проста, неученая.

Этих слов он, бывало, сейчас застыдится, и руки у нее целует, и дня два-три крепится, а зато потом как выкатит, так уже и завьется, а ее мне заказывает.

— Береги, — говорит, — ее, полупочтенный

---

[64] Примечания: 64

Обельма — множество.

Иван Северьянов, ты артист, ты не такой, как я, свистун, а ты настоящий, высокой степени артист, и оттого ты с нею как-то умеешь так говорить, что вам обоим весело, а меня от этих «изумрудов яхонтовых» в сон клонит.

Я говорю:

— Почему же это так? ведь это слово любовное.

— Любовное, — отвечает, — да глупое и надоедное.

Я ничего не ответил, а только стал от этого времени к ней запросто вхож: когда князя нет, я всякий день два раза на день ходил к ней во флигель чай пить и как мог ее развлекал.

А развлекать было оттого, что она, бывало, если разговорится, все жалуется:

— Милый мой, сердечный мой друг Иван Северьянович, — возговорит, — ревность меня, мой голубчик, тягостно мучит.

Ну, я ее, разумеется, уговариваю:

— Чего, — говорю, — очень мучиться: где он ни побывает, все к тебе воротится.

А она всплачет, и руками себя в грудь бьет, и говорит:

— Нет, скажи же ты мне… не потай от меня, мой сердечный друг, где он бывает?

— У господ, — говорю, — у соседей или в го-

роде.

— А нет ли, — говорит, — там где-нибудь моей с ним разлучницы? Скажи мне: может, он допреж меня кого любил и к ней назад воротился или не задумал ли он, лиходей мой, жениться? — А у самой при этом глаза так и загорятся, даже смотреть ужасно.

Я ее утешаю, а сам думаю:

«Кто его знает, что он делает», — потому что мы его мало в то время и видели.

Вот как вспало ей это на мысль, что он жениться хочет, она и ну меня просить:

— Съезди, такой-сякой, голубчик Иван Северьянович, в город; съезди, доподлинно узнай о нем все как следует и все мне без потайки выскажи.

Пристает она с этим ко мне все больше и больше и до того меня разжалобила, что думаю:

«Ну, была не была, поеду. Хотя ежели что дурное об измене узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу все дело в ясность».

Выбрал такой предлог, что будто бы надо самому ехать лекарств для лошадей у травщиков набрать, и поехал, но поехал неспроста, а с хитрым подходом.

Груше было неизвестно и людям строго-настрого наказано было от нее скрывать, что у князя,

до этого случая с Грушею, была в городе другая любовь — из благородных, секретарская дочка Евгенья Семеновна. Известная она была во всем городе большая на фортепьянах игрица, и предобрая барыня, и тоже собою очень хорошая, и имела с моим князем дочку, но располнела, и он ее, говорили, будто за это и бросил. Однако, имея в ту пору еще большой капитал, он купил этой барыне с дочкою дом, и они в том доме доходцами и жили. Князь к этой к Евгенье Семеновне, после того как ее наградил, никогда не заезжал, а люди наши, по старой памяти, за ее добродетель помнили и всякий приезд все, бывало, к ней захаживали, потому что ее любили и она до всех до наших была ужасно какая ласковая и князем интересовалась.

Вот я приехал в город прямо к ней, к этой доброй барыне, и говорю:

— Я, матушка Евгенья Семеновна, у вас остановился.

Она отвечает:

— Ну что же; очень рада. Только отчего же, — говорит, — ты к князю не едешь на его квартиру?

— А разве, — говорю — он здесь в городе?

— Здесь, — отвечает. — Он уже другая неделя здесь и дело какое-то заводит.

— Какое, мол, еще дело?

— Фабрику, — говорит, — суконную в аренду берет.

— Господи! мол, еще что такое он задумал?

— А что, — говорит, — разве это худо?

— Ничего, — говорю, — только что-то мне это удивительно.

Она улыбается.

— Нет, а ты, — говорит, — вот чему подивись, что князь мне письмо прислал, чтобы я нынче его приняла, что он хочет на дочь взглянуть.

— И что же, — говорю, — вы ему, матушка Евгенья Семеновна, разрешили?

Она пожала плечами и отвечает:

— Что же, пусть приедет, на дочь посмотрит, — и с этим вздохнула и задумалась, сидит спустя голову, а сама еще такая молодая, белая да вальяжная, а к тому еще и обращение совсем не то, что у Груши… та ведь больше ничего, как начнет свое «изумрудный да яхонтовый», а эта совсем другое… Я ее и взревновал.

«Ох, — думаю себе, — как бы он на дитя-то как станет смотреть, то чтобы на самое на тебя своим несытым сердцем не глянул! От сего тогда моей Грушеньке много добра не воспоследует». И в таком размышлении сижу я у Евгеньи Семеновны

в детской, где она велела няньке меня чаем поить, а у дверей вдруг слышу звонок, и горничная прибегает очень радостная и говорит нянюшке:

— Князенька к нам приехал!

Я было сейчас же и поднялся, чтобы на кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна разговорчивая была старушка из московских: страсть любила все высказать и не захотела через это слушателя лишиться, а говорит:

— Не уходи, Иван Голованыч, а пойдем вот сюда в гардеробную за шкапу сядем, она его сюда ни за что не поведет, а мы с тобою еще разговорцу проведем.

Я и согласился, потому что, по разговорчивости Татьяны Яковлевны, надеялся от нее что-нибудь для Груши полезное сведать, и как от Евгеньи Семеновны мне был лодиколонный пузыречек рому к чаю выслан, а я сам уже тогда ничего не пил, то и думаю: подпущу-ка я ей, Божьей старушке, в чаек еще вот этого разговорцу из пузыречка, авось она, по благодати своей, мне тогда что-нибудь и соврет, чего бы без того и не высказала.

Удалились мы из детской и сидим за шкапами, а эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать — коридор, с дверью в конце, а та дверь как раз в ту комнату выходила, где Евгенья Се-

меновна князя приняла, и даже к тому к самому дивану, на котором они сели. Одним словом, только меня от них разделила эта запертая дверь, с той стороны материей завешенная, а то все равно будто я с ними в одной комнате сижу, так мне все слышно.

Князь как вошел, и говорит:

— Здравствуй, старый друг! испытанный!

А она ему отвечает:

— Здравствуйте, князь! Чему я обязана?

А он ей:

— Об этом, — говорит, — после поговорим, а прежде дай поздороваться и позволь в головку тебя поцеловать, — и мне слышно, как он ее в голову чмокнул и спрашивает про дочь.

Евгенья Семеновна отвечает, что она, мол, дома.

— Здорова?

— Здорова, — говорит.

— И выросла небось?

Евгенья Семеновна рассмеялась и отвечает:

— Разумеется, — говорит, — выросла.

Князь спрашивает:

— Надеюсь, что ты мне ее покажешь?

— Отчего же, — отвечает, — с удовольствием, — и встала с места, вошла в детскую и зовет

эту самую няню, Татьяну Яковлевну, с которою я угощаюсь.

— Выведите, — говорит, — нянюшка, Людочку к князю.

Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдце на стол и говорит:

— О, пусто бы вам совсем было, только что сядешь, в самый аппетит, с человеком поговорить, непременно и тут отрывают и ничего в свое удовольствие сделать не дадут! — и поскорее меня барыниными юбками, которые на стене висели, закрыла и говорит: — Посиди, — а сама пошла с девочкой, а я один за шкапами остался и вдруг слышу, князь девочку раз и два поцеловал и потетешкал на коленах и говорит:

— Хочешь, мой анфан[65], в карете покататься?

Та ничего не отвечает; он говорит Евгенье Семеновне:

— Же ву при[66],– говорит, — пожалуйста, пусть она с нянею в моей карете поездит, покатается.

Та было ему что-то по-французскому, дескать, зачем и пуркуа, но он ей тоже вроде того, что, дескать, «непременно надобно», и этак они раза

---

[65] Примечания: 65

Анфан (*франц.* enfant) — дитя.

[66] Примечания: 66

Же ву при (*франц.* Je vous prie) — я вас прошу.

три словами перебросились, и потом Евгенья Семеновна нехотя говорит нянюшке:

— Оденьте ее и поезжайте.

Те и поехали, а эти двоичкой себе остались, да я у них под сокрытьем на послухах, потому что мне из-за шкапов и выйти нельзя, да и сам себе я думал: «Вот же когда мой час настал и я теперь настоящее исследую, что у кого против Груши есть в мыслях вредного?»

Глава шестнадцатая

Пустившись на этакое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнился, а захотел и глазком что можно увидеть и всего этого достиг: стал тихонечко ногами на табуретку и сейчас вверху дверей в пазу щелочку присмотрел и жадным оком приник к ней. Вижу, князь сидит на диване, а барыня стоит у окна и, верно, смотрит, как ее дитя в карету сажают.

Карета отъехала, и она оборачивается и говорит:

— Ну, князь, я все сделала, как вы хотели: скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне?

А он отвечает:

— Ну что там дело!.. дело не медведь, в лес не убежит, а ты прежде подойди-ка сюда ко мне: сядем рядом, да поговорим ладом, по-старому, по-бывалому.

Барыня стоит, руки назад, об окно опирается и молчит, а сама бровь супит. Князь просит:

— Что же, — говорит, — ты: я прошу, — мне говорить с тобой надо.

Та послушалась, подходит, он сейчас, это видя, опять шутит:

— Ну, мол, посиди, посиди по-старому, — и обнять ее хотел, но она его отодвинула и говорит:

— Дело, князь, говорите, дело: чем я могу вам служить?

— Что же это, — спрашивает князь, — стало быть, без разговора все начистоту выкладать?

— Конечно, — говорит, — объясняйте прямо, в чем дело? мы ведь с вами коротко знакомы, — церемониться нечего.

— Мне деньги нужны, — говорит князь.

Та молчит и смотрит.

— И не много денег, — молвил князь.

— А сколько?

— Теперь всего тысяч двадцать.

Та опять не отвечает, а князь и ну расписывать, — что: «Я, говорит, суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет, а если куплю ее, то я буду миллионер, я, говорит, все переделаю, все старое уничтожу и выброшу, и начну яркие сукна делать да азиатам в Нижний продавать. Из самой гадости, говорит, вытку, да ярко выкрашу, и все пойдет, и большие деньги наживу, а теперь мне только двадцать тысяч на задаток за фабрику нужно». Евгенья Семеновна говорит:

— Где же их достать?

А князь отвечает:

— Я и сам не знаю, но надо достать, а потом расчет у меня самый верный: у меня есть человек — Иван Голован, из полковых конэсеров, очень не умен, а золотой мужик — честный, и рачитель, и долго у азиатов в плену был и все их вкусы отлично знает, а теперь у Макария стоит ярмарка, я пошлю туда Голована заподрядиться и образцов взять, и задатки будут… тогда… я, первое, сейчас эти двадцать тысяч отдам…

И он замолк, а барыня помолчала, воздохнула и начинает:

— Расчет, — говорит, — ваш, князь, верен.

— Не правда ли?

— Верен, — говорит, — верен; вы так сделаете: вы дадите за фабрику задаток, вас после этого станут считать фабрикантом; в обществе заговорят, что ваши дела поправились…

— Да.

— Да; и тогда…

— Голован наберет у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею.

— Нет, позвольте, не перебивайте меня: вы прежде поднимете всем этим на фуфу предводителя, и пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери и тогда, взявши за ней ее

приданое, в самом деле разбогатеете.

— Ты так думаешь? — говорит князь.

А барыня отвечает:

— А вы разве иначе думаете?

— А ну, если ты, — говорит, — все понимаешь, так дай Бог твоими устами да нам мед пить.

– Нам?

— Конечно, — говорит, — тогда всем нам будет хорошо: ты для меня теперь дом заложишь, а я дочери за двадцать тысяч десять тысяч процента дам.

Барыня отвечает:

— Дом ваш: вы ей его подарили, вы и берите его, если он вам нужен.

Он было начал, что: «Нет, дескать, дом не мой; а ты ее мать, я у тебя прошу… разумеется, только в таком случае, если ты мне веришь…»

А она отвечает:

— Ах, полноте, — говорит, — князь, то ли я вам, — говорит, — верила! Я вам жизнь и честь свою доверяла.

— Ах, да, — говорит, — ты про это… Ну, спасибо тебе, спасибо, прекрасно… Так завтра, стало быть, можно прислать тебе подписать закладную?

— Присылайте, — говорит, — я подпишу.

— А тебе не страшно?

— Нет, — говорит, — я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться.

— И не жаль? говори: не жаль? верно, еще ты любишь меня немножечко? Что? или просто сожалеешь? а?

Она на эти слова только засмеялась и говорит:

— Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы, лучше я велю вам моченой морошки с сахаром подать? У меня она нынче очень вкусная.

Он, должно быть, обиделся: не того, видно, совсем ожидал — встает и улыбается.

— Нет, — говорит, — кушай сама свою морошку, а мне теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай, — и начинает ей руки целовать, а тем временем как раз и карета назад возвратилась.

Евгенья Семеновна и подает ему на прощанье руку, а сама говорит:

— А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?

А он себя вдруг рукой по лбу и вскрикнул:

— Ах, и вправду! какая ты всегда умная! Хочешь верь, хочешь не верь, а я всегда о твоем уме вспоминаю, и спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила!

— А вы, — говорит, — будто про нее так и позабыли?

— Ей-богу, — говорит, — позабыл. И из ума вон, а ее, дуру, ведь действительно надо устроить.

— Устраивайте, — отвечает Евгенья Семеновна, — только хорошенечко: она ведь не русская прохладная кровь с парным молоком, она не успокоится смирением и ничего не простит ради прошлого.

— Ничего, — отвечает, — как-нибудь успокоится.

— Она любит вас, князь? Говорят, даже очень любит?

— Страсть надоела; но слава Богу, на мое счастье, они с Голованом большие друзья.

— Что же вам из этого? — спрашивает Евгенья Семеновна.

— Ничего; дом им куплю и Ивана в купцы запишу, перевенчаются и станут жить.

А Евгенья Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила:

— Эх вы, князенька, князенька, бестолковый князенька: где ваша совесть?

А князь отвечает:

— Оставь, пожалуйста, мою совесть. Ей-богу, мне теперь не до нее: мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать.

Барыня ему и сказала, что Иван Голован, гово-

рит, в городе и даже у меня и приставши. Князь очень этому обрадовался и велел как можно скорее меня к нему прислать, а сам сейчас от нее и уехал.

Вслед за этим пошло у нас все живою рукою, как в сказке. Надавал князь мне доверенностей и свидетельств, что у него фабрика есть, и научил говорить, какие сукна вырабатывает, и услал меня прямо из города к Макарью, так что я Груши и повидать не мог, а только все за нее на князя обижался, что как он это мог сказать, чтобы ей моею женой быть? У Макарья мне счастие так и повалило: набрал я от азиатов и заказов, и денег, и образцов, и все деньги князю выслал, и сам приехал назад и своего места узнать не могу… Просто все как будто каким-нибудь волшебством здесь переменилось: все подновлено, словно изба, к празднику убранная, а флигеля, где Груша жила, и следа нет: срыт, и на его месте новая постройка поставлена. Я так и ахнул и кинулся: где же Груша? а про нее никто и не ведает; и люди-то в прислуге всё новые, наемные и прегордые, так что и доступу мне прежнего к князю нет. Допреж сего у нас с ним все было по-военному, в простоте, а теперь стало все на политике, и что мне надо князю сказать, то не иначе как через

камердинера.

Я этого так терпеть не люблю, что ни одной бы минуты здесь не остался и сейчас бы ушел, но только мне очень было жаль Грушу, и никак я не могу узнать: где же это она делась? Кого из старых людей ни вспрошу — все молчат: видно, что строго заказано. Насилу у одной дворовой старушки добился, что Грушенька еще недавно тут была и всего, говорит, ден десять как с князем в коляске куда-то отъехала и с тех пор назад не вернулась. Я к кучерам, кои возили их: стал спрашивать, и те ничего не говорят. Сказали только, что князь будто своих лошадей на станции сменил и назад отослал, а сам с Грушею куда-то на наемных поехал. Куда ни метнусь, нет никакого следа, да и полно: погубил он ее, что ли, злодей, ножом, или пистолетом застрелил и где-нибудь в лесу во рву бросил да сухою листвою призасыпал, или в воде утопил… От страстного человека ведь все это легко может статься; а она ему помеха была, чтобы жениться, потому что ведь Евгенья Семеновна правду говорила: Груша любила его, злодея, всею страстной своею любовью цыганскою, каторжной, и ей было то не снесть и не покориться, как Евгенья Семеновна сделала, русская христианка, которая жизнь свою перед ним как лампаду ис-

теплила. В этой цыганское пламище-то, я думаю, дымным костром вспыхнуло, как он ей насчет свадьбы сказал, и она тут небось неведомо что зачертила, вот он ее и покончил.

Так я все чем больше эту думу в голове содержу, тем больше уверяюсь, что иначе это быть не могло, и не могу смотреть ни на какие сборы к его венчанью с предводительскою дочкою. А как свадьбы день пришел и всем людям роздали цветные платки и кому какое идет по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надел, а взял все в конюшне в своем чуланчике покинул, и ушел с утра в лес, и ходил, сам не знаю чего, до самого вечера, все думал: не попаду ли где на ее тело убитое? Вечер пришел, я и вышел, сел на крутом берегу над речкою, а за рекою весь дом огнями горит, светится, и праздник идет; гости гуляют, и музыка гремит, далеко слышно. А я все сижу да гляжу уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты. И стало мне таково грустно, таково тягостно, что даже, чего со мною и в плену не было, начал я с невидимой силой говорить и, как в сказке про сестрицу Аленушку сказывают, которую брат звал, зову ее, мою сиротинушку

Грунюшку, жалобным голосом:

— Сестрица моя, моя, — говорю, — Грунюшка! откликнись ты мне, отзовись мне; откликнися мне; покажися мне на минуточку! — И что же вы изволите думать: простонал я этак три раза, и стало мне жутко, и зачало все казаться, что ко мне кто-то бежит; и вот прибежал, вокруг меня веется, в уши мне шепчет и через плеча в лицо засматривает, и вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет!.. И прямо на мне повисло и колотится…

Глава семнадцатая

Я от страха даже мало на землю не упал, но чувств совсем не лишился, и ощущаю, что около меня что-то живое и легкое, точно как подстреленный журавль, бьется и вздыхает, а ничего не молвит.

Я сотворил в уме молитву, и что же-с? — вижу перед своим лицом как раз лицо Груши…

— Родная моя! — говорю, — голубушка! живая ли ты или с того света ко мне явилася? Ничего, — говорю, — не потаись, говори правду: я тебя, бедной сироты, и мертвой не испугаюсь.

А она глубоко-глубоко из глубины груди вздохнула и говорит:

— Я жива.

— Ну, и слава, мол, Богу.

— Только я, — говорит, — сюда умереть вырвалась.

— Что ты, — говорю, — Бог с тобой, Грунюшка: зачем тебе умирать. Пойдем жить счастливою жизнью: я для тебя работать стану, а тебе, сиротиночке, особливую келейку учрежду, и ты у меня живи заместо милой сестры.

А она отвечает:

— Нет, Иван Северьяныч, нет, мой ласковый, мил-сердечный друг, прими ты от меня, сироты, на том твоем слове вечный поклон, а мне, горькой цыганке, больше жить нельзя, потому что я могу неповинную душу загубить.

Пытаю ее:

— Про кого же ты это говоришь? про чью душу жалеешь?

А она отвечает:

— Про ее, про лиходея моего жену молодую, потому что она — молодая душа, ни в чем не повинная, а мое ревнивое сердце ее все равно стерпеть не может, и я ее и себя погублю.

— Что ты, мол, перекрестись: ведь ты крещеная, а что душе твоей будет?

— Не-е-е-т, — отвечает, — я и души не пожалею, пускай в ад идет. Здесь хуже ад!

Вижу, вся женщина в расстройстве и в исступлении ума: я ее взял за руки и держу, а сам вглядываюсь и дивлюсь, как страшно она переменилась и где вся ее красота делась? тела даже на ней как нет, а только одни глаза среди темного лица как в ночи у волка горят и еще будто против прежнего вдвое больше стали, да недро разнесло, потому что тягость ее тогда к концу приходила, а личико в кулачок сжало, и по щекам черные

космы трепятся. Гляжу на платьице, какое на ней надето, а платьице темное, ситцевенькое, как есть все в клочочках, а башмачки на босу ногу.

— Скажи, — говорю, — мне: откуда же ты это сюда взялась; где ты была и отчего такая неприглядная?

А она вдруг улыбнулася и говорит:

— Что?… чем я нехороша?… Хороша! Это меня так убрал мил-сердечный друг за любовь к нему за верную: за то, что того, которого больше его любила, для него позабыла и вся ему предалась, без ума и без разума, а он меня за то в крепкое место упрятал и сторожей настановил, чтобы строго мою красоту стеречь…

И с этим вдруг-с как захохочет и молвит с гневностью:

— Ах ты, глупая твоя голова княженецкая: разве цыганка барышня, что ее запоры удержат? Да я захочу, я сейчас брошуся и твоей молодой жене горло переем.

Я вижу, что она сама вся трясется от ревнивой муки, и думаю: дай я ее не страхом ада, а сладким воспоминанием от этих мыслей отведу, и говорю:

— А ведь как, мол, он любил-то тебя! Как любил! Как ноги-то твои целовал… Бывало, на коленях

перед диваном стоит, как ты поешь, да алую туфлю твою и сверху и снизу в подошву обцелует…

Она это стала слушать, и вечищами своими черными водит по сухим щекам, и, в воду глядя, начала гулким тихим голосом:

— Любил, — говорит, — любил, злодей, любил, ничего не жалел, пока не был сам мне по сердцу, а полюбила его — он покинул. А за что?… Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли, или больше меня любить его станет… Глупый он, глупый!. Не греть солнцу зимой против летнего, не видать ему век любви против того, как я любила; так ты и скажи ему: мол, Груша, умирая, так тебе ворожила и на рок положила.

Я тут и рад, что она разговорилась, и пристал, спрашиваю:

— Да что это такое у вас произошло и через что все это сталося?

А она всплескивает руками и говорит:

— Ах, ни черезо что ничего не было, а все через одно изменство… Нравиться ему я перестала, вот и вся причина, — и сама, знаете, все это говорит, а сама начинает слезами хлепать. — Он, — говорит, — платьев мне, по своему вкусу, таких нашил, каких тягостной не требуется: узких да с талиями; я их надену, выстроюсь, а он сердится,

говорит: «Скинь; не идет тебе»; не надену их, в роспашне покажусь, еще того вдвое обидится, говорит: «На кого похожа ты?» Я все поняла, что уже не воротить мне его, что я ему опротивела…

И с этим совсем зарыдала и сама вперед смотрит, а сама шепчет:

— Я, — говорит, — давно это чуяла, что не мила ему стала, да только совесть его хотела узнать, думала: ничем ему не досажу и догляжусь его жалости, а он меня и пожалел…

И рассказала-с она мне насчет своей последней с князем разлуки такую пустяковину, что я даже не понял, да и посейчас не могу понять: на чем коварный человек может с женщиною вековечно расстроиться?

Глава восемнадцатая

Рассказала Груша мне, что как ты, говорит, уехал да пропал, то есть это когда я к Макарью отправился, князя еще долго домой не было: а до меня, говорит, слухи дошли, что он женится… Я от тех слухов страшно плакала и с лица спала… Сердце болело, и дитя подкатывало… думала: оно у меня умрет в утробе. А тут, слышу, вдруг и говорят: «Он едет!» Все во мне затрепетало… Кинулась я к себе во флигель, чтобы как можно лучше к нему одеться, изумрудные серьги надела и тащу со стены из-под простыни самое любимое его голубое моревое платье с кружевом, лиф без горлышка… Спешу, одеваю, а сзади спинка не сходится… я эту спинку и не застегнула, а так, поскорее, сверху алую шаль набросила, чтобы не видать, что не застегнуто, и к нему на крыльцо выскочила… вся дрожу и себя не помню, как крикнула:

«Золотой ты мой, изумрудный, яхонтовый!» — да обхватила его шею руками и замерла…

Дурнота с нею сделалась.

— А прочудилась я, — говорит, — у себя в горнице… на диване лежу и все вспоминаю: во сне

или наяву я его обнимала; но только была, — говорит, — со мною ужасная слабость, — и долго она его не видала… Все посылала за ним, а он не ишел.

Наконец он приходит, а она и говорит:

— Что же ты меня совсем бросил-позабыл?

А он говорит:

— У меня есть дела.

Она отвечает:

— Какие, — говорит, — такие дела? Отчего же их прежде не было? Изумруд ты мой бралиянтовый! — да и протягивает опять руки, чтобы его обнять, а он наморщился и как дернет ее изо всей силы крестовым шнурком за шею…

— На счастье, — говорит, — мое, шелковый шнурочек у меня на шее не крепок был, перезниял[67] и перервался, потому что я давно на нем ладанку носила, а то бы он мне горло передушил; да я полагаю так, что он того именно и хотел, потому что даже весь побелел и шипит:

— Зачем ты такие грязные шнурки носишь?

А я говорю:

— Что тебе до моего шнурка; он чистый был, а это на мне с тоски почернел от тяжелого пота.

---

[67] Примечания: 67

Перезниял — истлел.

А он:

— Тьфу, тьфу, тьфу, — заплевал, заплевал и ушел, а перед вечером входит сердитый и говорит:

— Поедем в коляске кататься! — и притворился, будто ласковый и в голову меня поцеловал: а я, ничего не опасаясь, села с ним и поехала. Ехали мы долго и два раза лошадей переменяли, а куда едем — никак не доспрошусь у него, но вижу, настало место лесное и болотное, непригожее, дикое. И приехали среди леса на какую-то пчельню, а за пчельнею — двор, и тут встречают нас три молодые здоровые девки-однодворки в мареновых[68] красных юбках и зовут меня «барыней». Как я из коляски выступила, они меня под руки выхватили и прямо понесли в комнату, совсем убранную.

Меня что-то сразу от всего этого, и особливо от этих однодворок, замутило, и сердце мое сжалось.

— Что это, — спрашиваю его, — какая здесь станция?

А он отвечает:

— Это ты здесь теперь будешь жить.

---

[68] Примечания: 68

Мареновые — окрашенные мареновой (синей) краской.

Я стала плакать, руки его целовать, чтобы не бросал меня тут, а он и не пожалел: толкнул меня прочь и уехал…

Тут Грушенька умолкла и личико вниз спустила, а потом вздыхает и молвит:

— Уйти хотела; сто раз порывалась — нельзя: те девки-однодворки стерегут и глаз не спущают… Томилась я, да, наконец, вздумала притвориться, и прикинулась беззаботною, веселою, будто гулять захотела. Они меня гулять в лес берут, да всё за мной смотрят, а я смотрю по деревьям, по верхам ветвей да по кожуре примечаю — куда сторона на полдень, и вздумала, как мне от этих девок уйти, и вчера то исполнила. Вчера после обеда вышла я с ними на полянку, да и говорю:

— Давайте, — говорю, — ласковые, в жмурки по полянке бегать.

Они согласились.

— А наместо глаз, — говорю, — станем друг дружке руки назад вязать, чтобы задом ловить.

Они и на то согласны.

Так и стали. Я первой руки за спину крепко-накрепко завязала, а с другою за куст забежала, да и эту там спутала, а на ее крик третья бежит, я и третью у тех в глазах силком скрутила; они кричать, а я, хоть тягостная, ударилась быстрей

коня резвого: все по лесу да по лесу и бежала целую ночь и наутро упала у старых бортей[69] в густой засеке. Тут подошел ко мне старый старичок, говорит — неразборчиво шамкает, а сам весь в воску и ото всего от него медом пахнет, и в желтых бровях пчелки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Ивана Северьяныча, видеть хочу, а он говорит:

— Кличь его, молодка, раз под ветер, а раз супротив ветра: он затоскует и пойдет тебя искать, — вы и встретитесь. Дал он мне воды испить и медку на огурчике подкрепиться. Я воды испила и огурчик съела, и опять пошла, и все тебя звала, как он велел, то по ветру, то против ветра — вот и встретились. Спасибо! — и обняла меня, и поцеловала, и говорит:

— Ты мне все равно что милый брат.

Я говорю:

— И ты мне все равно что сестра милая, — а у самого от чувства слезы пошли.

А она плачет и говорит:

— Знаю я, Иван Северьяныч, все знаю и разумею; один ты и любил меня, мил-сердечный друг мой, ласковый. Докажи же мне теперь твою

---

[69] Примечания: 69

Борть — дуплистое дерево, в котором водятся пчелы.

последнюю любовь, сделай, что я попрошу тебя в этот страшный час.

— Говори, — отвечаю, — что тебе хочется?

— Нет; ты, — говорит, — прежде поклянись чем страшнее в свете есть, что сделаешь, о чем просить стану.

Я ей своим спасеньем души поклялся, а она говорит:

— Это мало: ты это ради меня преступишь. Нет, ты, — говорит, — страшней поклянись.

— Ну, уже я, мол, страшнее этого ничего не могу придумать.

— Ну так я же, — говорит, — за тебя придумала, а ты за мной поспешай, говори и не раздумывай.

Я сдуру пообещался, а она говорит:

— Ты мою душу прокляни так, как свою клял, если меня не послушаешь.

— Хорошо, — говорю, — и взял да ее душу проклял.

— Ну, так послушай же, — говорит, — теперь же стань поскорее душе моей за спасителя; моих, — говорит, — больше сил нет так жить да мучиться, видючи его измену и надо мной надругательство. Если я еще день проживу, я и *его*, и *ее* порешу, а если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку… Пожалей меня, родной

мой, мой миленый брат; ударь меня раз ножом против сердца.

Я от нее в сторону да крещу ее, а сам пячуся, а она обвила ручками мои колени, а сама плачет, сама в ноги кланяется и увещает:

— Ты, — говорит, — поживешь, ты Богу отмолишь и за мою душу и за свою, не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла… — Н… н… н… у…

Иван Северьяныч страшно наморщил брови и, покусав усы, словно выдохнул из глубины расходившейся груди:

— Нож у меня из кармана достала… розняла… из ручки лезвие выправила… и в руки мне сует… А сама… стала такое несть, что терпеть нельзя…

«Не убьешь, — говорит, — меня, я всем вам в отместку стану самою стыдной женщиной».

Я весь задрожал, и велел ей молиться, и колоть ее не стал, а взял да так с крутизны в реку и спихнул…

Все мы, выслушав это последнее признание Ивана Северьяныча, впервые заподозрили справедливость его рассказа и хранили довольно долгое молчание, но, наконец, кто-то откашлянулся и молвил:

— Она утонула?…

— Залилась, — отвечал Иван Северьяныч.

— А вы же как потом?
— Что такое?
— Пострадали небось?
— Разумеется-с.

Глава девятнадцатая

— Я бежал оттоль, с того места, сам себя не понимая, а помню только, что за мною все будто кто-то гнался, ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все черное и голова малая, как луковочка[70], а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это если не Каин, то сам губитель-бес, и все я от него убегал и звал к себе ангела-хранителя. Опомнился же я где-то на большой дороге, под ракиточкой. И такой это день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несет, и желтый лист крутит; а я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведет, и ничего у меня на душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать; а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая и моя обязанность за нее отстрадать и ее из ада выручить. А как это сделать — не знаю и об этом тоскую, но только вдруг меня за плечо что-то тронуло: гляжу — это хворостинка с ракиты пала и далеконько так покатилась, покатилася, и вдруг Груша идет, только маленькая,

---

[70] Примечания: 70

Луковочка — небольшой предмет серповидной формы.

не больше как будто ей всего шесть или семь лет, и за плечами у нее малые крылышки; а чуть я ее увидал, она уже сейчас от меня как выстрел отлетела, и только пыль да сухой лист вслед за ней воскурились.

Думаю я: это непременно ее душа за мной следует, верно она меня манит и путь мне кажет. И пошел. Весь день я шел сам не знаю куда и невмоготу устал, и вдруг нагоняют меня люди, старичок со старушкою на телеге парою, и говорят:

— Садись, бедный человек, мы тебя подвезем.

Я сел. Они едут и убиваются:

— Горе, — говорят, — у нас: сына в солдаты берут; а капиталу не имеем, нанять не на что.

Я старичков пожалел и говорю:

— Я бы за вас так, без платы, пошел, да у меня бумаг нет.

А они говорят:

— Это пустяки: то уже наше дело; а ты только назовись, как наш сын, Петром Сердюковым.

— Что же, — отвечаю, — мне все равно: я своему ангелу Ивану Предтече буду молитвить, а называться я могу всячески, как вам угодно.

Тем и покончили, и отвезли они меня в другой город, и сдали меня там вместо сына в рекруты, и дали мне на дорогу монетою двадцать пять руб-

лей, а еще обещались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что от них взял, двадцать пять рублей, сейчас положил в бедный монастырь — вклад за Грушину душу, а сам стал начальство просить, чтобы на Кавказ меня определять, где я могу скорее за веру умереть. Так и сделалось, и я пробыл на Кавказе более пятнадцати лет и никому не открывал ни настоящего своего имени, ни звания, а все назывался Петр Сердюков и только на Иванов день Богу за себя молил, через Предтечу-ангела. И позабыл уже я сам про все мое прежнее бытие и звание, и дослуживаю таким манером последний год, как вдруг на самый на Иванов день были мы в погоне за татарами, а те напаскудили и ушли за реку Койсу. Тех Койс в том месте несколько: которая течет по Андии, так и зовется андийская, которая по Аварии — зовется аварийская Койса, а то корикумуйская и кузикумуйская, и все они сливаются, и от сливу их зачинается Сулак-река. Но все они и по себе сами быстры и холодны, особливо андийская, за которую татарва ушли. Много мы их тут без счету этих татаров побили, но кои переправились за Койсу, — те сели на том берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они в нас палят. Но палят с такою сноровкою, что даром

огня не тратят, а берегут зелье[71] на верный вред, потому что знают, что у нас снаряду не в пример больше ихнего, и так они нам вредно чинят, что стоим мы все у них в виду, они, шельмы, ни разу в нас и не пукнут. Полковник у нас был отважной души и любил из себя Суворова представлять, все, бывало, «помилуй Бог» говорил и своим примером отвагу давал. Так он и тут сел на бережку, а ноги разул и но колени в эту холоднищую воду опустил, а сам хвалится:

«Помилуй Бог, — говорит, — как вода тепла: все равно что твое парное молочко в доеночке. Кто, благодетели, охотники на ту сторону переплыть и канат перетащить, чтобы мост навесть?»

Сидит полковник и таким манером с нами растабарывает, а татары с того бока два ствола ружей в щель выставили, а не стреляют. Но только что два солдатика-охотнички вызвались и поплыли, как сверкнет пламя, и оба те солдатика в Койсу так и нырнули. Потянули мы канат, пустили другую пару, а сами те камни, где татары спрятавшись, как роем, пулями осыпаем, но ничего им повредить не можем, потому что пули наши в камни бьют, а они, анафемы, как плюнут в

---

[71] Примечания: 71
Зелье — здесь: порох.

пловцов, так вода кровью замутилась, и опять те два солдатика юркнули. Пошли за ними и третья пара, и тоже середины Койсы не доплыли, как татары и этих утопили. Тут уже за третьею парою и мало стало охотников, потому что видимо всем, что это не война, а просто убийство, а наказать злодеев надобно. Полковник и говорит:

— Слушайте, мои благодетели. Нет ли из вас кого такого, который на душе смертный грех за собой знает? Помилуй Бог, как бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконие смыть?

Я и подумал:

— Чего же мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? благослови, Господи, час мой! — и вышел, разделся, «Отчу» прочитал, на все стороны начальству и товарищам в землю ударил и говорю в себе: «Ну, Груша, сестра моя названая, прими за себя кровь мою!» — да с тем взял в рот тонкую бечеву, на которой другим концом был канат привязан, да, разбежавшись с берегу, и юркнул в воду.

Вода страсть была холодна: у меня даже под мышками закололо, и грудь мрет, судорога ноги тянет, а я плыву… Поверху наши пули летят, а вокруг меня татарские в воду шлепают, а меня не касаются, и я не знаю: ранен я или не ранен,

но только достиг берега… Тут татарам меня уже бить нельзя, потому что я как раз под ущельем стал, и чтобы им стрелять в меня, надо им из щели высунуться, а наши их с того берега пулями как песком осыпают. Вот я стою под камнями и тяну канат, и перетянул его, и мосток справили, и вдруг наши сюда уже идут, а я все стою и как сам из себя изъят, ничего не понимаю, потому что думаю: видел ли кто-нибудь то, что я видел? А я видел, когда плыл, что надо мною Груша летела, и была она как отроковица примерно в шестнадцать лет, и у нее крылья уже огромные, светлые, через всю реку, и она ими меня огораживала… Однако, вижу, никто о том ни слова не говорит: ну, думаю, надо мне самому это рассказать. Как меня полковник стал обнимать и сам целует, а сам хвалит:

— Ой, помилуй Бог, — говорит, — какой ты, Петр Сердюков, молодец!

А я отвечаю:

— Я, ваше высокоблагородие, не молодец, а большой грешник, и меня ни земля, ни вода принимать не хочет.

Он вопрошает:

— В чем твой грех?

А я отвечаю:

— Я, — говорю, — на своем веку много неповинных душ погубил, — да и рассказал ему ночью под палаткою все, что вам теперь сказывал.

Он слушал, слушал, и задумался, и говорит:

— Помилуй Бог, сколько ты один перенес, а главное, братец, как ты хочешь, а тебя надо в офицеры произвесть. Я об этом представление пошлю.

Я говорю:

— Как угодно, а только пошлите и туда узнать, не верно ли я показываю, что я цыганку убил?

— Хорошо, — говорит, — и об этом пошлю.

И послали, но только ходила, ходила бумага и назад пришла с неверностью. Объяснено, что никогда, говорят, у нас такого происшествия ни с какою цыганкою не было, а Иван-де Северьянов хотя и был и у князя служил, только он через заочный выкуп на волю вышел и опосля того у казенных крестьян Сердюковых в доме помер.

Ну что тут мне было больше делать: чем свою вину доказывать?

А полковник говорит:

— Не смей, братец, больше на себя этого врать: это ты как через Койсу плыл, так ты от холодной воды да от страху в уме немножко помешался, и я, — говорит, — очень за тебя рад, что это

все неправда, что ты наговорил на себя. Теперь офицером будешь; это, брат, помилуй Бог, как хорошо.

Тут я даже и сам мыслями растерялся: точно ли я спихнул Грушу в воду, или это мне тогда все от страшной по ней тоски сильное воображение было?

И сделали-с меня за храбрость офицером, но только как я все на своей истине стоял, чтобы открыть свою запрошедшую жизнь, то чтобы от этого мне больше беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в отставку.

— Поздравляем, — говорят, — тебя, ты теперь благородный и можешь в приказные идти; помилуй Бог, как спокойно, — и письмо мне полковник к одному большому лицу в Петербург дал, — Ступай, — говорит, — он твою карьеру а благополучие совершит. Я с этим письмом и добрался до Питера, но не посчастливило мне насчет карьеры.

— Чем же?

— Долго очень без места ходил, а потом на фиту попал, и оттого стало еще хуже.

— Как на *фиту?* что это значит?

— Тот покровитель, к которому я насчет карьеры был прислан, в адресный стол справщиком

определил, а там у всякого справщика своя буква есть, по какой кто справке заведует. Иные буквы есть очень хорошие, как, например, буки, или покой, или како[72]: много на них фамилиев начинается и справщику есть доход, а меня поставили на фиту. Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется, и то еще из тех, кои по всем видам ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят: кто чуть хочет благородиться, сейчас себя самовластно вместо фиты через ферт ставит. Ищешь-ищешь его под фитою — только пропащая работа, а он под фертом себя проименовал. Никакой пользы нет, а сиди на службе; ну, я и вижу, что дело плохо, и стал опять наниматься, по старому обыкновению, в кучера, но никто не берет; говорят: ты благородный офицер, и военный орден имеешь, тебя ни обругать, ни ударить непристойно… Просто хоть повеситься, но я благодаря Бога и с отчаянности до этого себя не допустил, а чтобы с голоду не пропасть, взял да в артисты пошел.

— Каким же вы были артистом?

— Роли представлял.

— На каком театре?

---

[72] Примечания: 72

…*буки*, или *покой*, или *како*… — названия букв б, п, к старославянского алфавита.

— В балагане на Адмиралтейской площади. Там благородством не гнушаются и всех принимают: есть и из офицеров, и столоначальники, и студенты, а особенно сенатских очень много.

— И понравилась вам эта жизнь?

— Нет-с.

— Чем же?

— Во-первых, разучка вся и репетиция идут на Страстной неделе или перед Масленицей, когда в церкви поют: «Покаяния отверзи ми двери», а во-вторых, у меня роль была очень трудная.

— Какая?

— Я демона изображал.

— Чем же это особенно трудно?

— Как же-с: в двух переменах танцевать надо и кувыркаться, а кувыркнуться страсть неспособно, потому что весь обшит лохматой шкурой седого козла вверх шерстью; и хвост долгий на проволоке, но он постоянно промеж ног путается, а рога на голове за что попало цепляются, а годы уже стали не прежние, не молодые, и легкости нет; а потом еще во все продолжение представления расписано меня бить. Ужасно как это докучает. Палки эдакие, положим, пустые, из холстины сделаны, а в средине хлопья, но, однако, скучно ужасно это терпеть, что всё по

тебе хлоп да хлоп, а иные к тому еще с холоду или для смеху изловчаются и бьют довольно больно. Особенно из сенатских приказных, которые в этом опытные и дружные: всё за своих стоят, а которые попадутся военные, они тем ужасно докучают, и всё это продолжительно начнут бить перед всей публикой с полдня, как только полицейский флаг поднимается, и бьют до самой до ночи, и все, всякий, чтобы публику утешить, норовит громче хлопнуть. Ничего приятного нет. А вдобавок ко всему со мною и здесь неприятное последствие вышло, после которого я должен был свою роль оставить.

— Что же это такое с вами случилось?

— Принца одного я за вихор подрал.

— Как принца?

— То есть не настоящего-с, а театрашного: он из сенатских был, коллежский секретарь, но у нас принца представлял.

— За что же вы его прибили?

— Да стоило-с его еще и не эдак. Насмешник злой был и выдумщик и все над всеми шутки выдумывал.

— И над вами?

— И надо мною-с; много шуток строил: костюм мне портил; в грельне, где мы, бывало, над уго-

льями грелися и чай пили, подкрадется, бывало, и хвост мне к рогам прицепит или еще что глупое сделает на смех, а я не осмотрюсь да так к публике выбегу, а хозяин сердится; но я за себя все ему спускал, а он вдруг стал одну фею обижать. Молоденькая такая девочка, из бедных дворяночек, богиню Фортуну она у нас изображала и этого принца от моих рук спасать должна была. И роль ее такая, что она вся в одной блестящей тюли выходит и с крыльями, а морозы большие, и у нее у бедной ручонки совсем посинели, зашлись, а он ее допекает, лезет к ней, и когда мы втроем в апофезе в подпол проваливаемся, за тело ее щипет. Мне ее очень жаль стало: я его и оттрепал.

— И чем же это кончилось?

— Ничего; в провале свидетелей не было, кроме самой этой феи, а только наши сенатские все взбунтовались и не захотели меня в труппе иметь; а как они первые там представители, то хозяин для их удовольствия меня согнал.

— И куда же вы тогда делись?

— Совсем без крова и без пищи было остался, но эта благородная фея меня питала, но только мне совестно стало, что ей, бедной, самой так трудно достается, и я все думал-думал, как этого положения избавиться? На фиту не захотел ворочаться,

да и к тому на ней уже другой бедный человек сидел, мучился, так я взял и пошел в монастырь.

— От этого только?

— Да ведь что же делать-с? деться было некуда. А тут хорошо.

— Полюбили вы монастырскую жизнь?

— Очень-с; очень полюбил, — здесь покойно, все равно как в полку, много сходственного, все тебе готовое: и одет, и обут, и накормлен, и начальство смотрит и повиновения спрашивает.

— А вас это повиновение иногда не тяготит?

— Для чего же-с? что больше повиноваться, то человеку спокойнее жить, а особенно в моем послушании и обижаться нечем: к службам я в церковь не хожу иначе, как разве сам пожелаю, а исправляю свою должность по-привычному, скажут: «запрягай, отец Измаил» (меня теперь Измаилом зовут), — я запрягу; а скажут: «отец Измаил, отпрягай», — я откладываю.

— Позвольте, — говорим, — так это что же такое, выходит, вы и в монастыре остались… при лошадях?

— Постоянно-с в кучерах. В монастыре этого моего звания офицерского не опасаются, потому что я хотя и в малом еще постриге, а все же монах и со всеми сравнен.

— А скоро же вы примете старший постриг?

— Я его не приму-с.

— Это почему?

— Так… достойным себя не почитаю.

— Это все за старые грехи или заблуждения?

— Да-да-с. Да и вообще зачем? я своим послушанием очень доволен и живу в спокойствии.

— А вы рассказывали кому-нибудь прежде всю свою историю, которую теперь нам рассказали?

— Как же-с; не раз говорил; да что же, когда справок нет… не верят, так и в монастырь светскую ложь занес, и здесь из благородных числюсь. Да уже все равно доживать: стар становлюсь.

История очарованного странника, очевидно, приходила к концу, оставалось полюбопытствовать только об одном: как ему повелось в монастыре.

Глава двадцатая

Так как наш странник доплыл в своем рассказе до последней житейской пристани — до монастыря, к которому он, по глубокой вере его, был от рождения предназначен, и так как ему здесь, казалось, все столь благоприятствовало, то приходилось думать, что тут Иван Северьянович более уже ни на какие напасти не натыкался; однако же вышло совсем иное. Один из наших сопутников вспомнил, что иноки, по всем о них сказаниям, постоянно очень много страдают от беса, и вопросил:

— А скажите, пожалуйста, бес вас в монастыре не искушал? ведь он, говорят, постоянно монахов искушает?

Иван Северьянович бросил из-под бровей спокойный взгляд на говорящего и отвечал:

— Как же не искушать? Разумеется, если сам Павел апостол от него не ушел и в послании пишет, что «ангел сатанин был дан ему в плоть», то мог ли я, грешный и слабый человек, не претерпеть его мучительства.

— Что же вы от него терпели?

— Многое-с.

— В каком же роде?

— Всё разные пакости, а сначала, пока я его не пересилил, были даже и соблазны.

— А вы и его, самого беса, тоже пересилили?

— А то как же иначе-с? Ведь это уже в монастыре такое призвание, но я бы этого, по совести скажу, сам не сумел, а меня тому один совершенный старец научил, потому что он был опытный и мог от всякого искушения пользовать. Как я ему открылся, что мне все Груша столь живо является, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит, то он сейчас кинул в уме и говорит:

«У Якова-апостола сказано: „Противустаньте дьяволу и побежит от вас“, и ты, — говорит, — противустань». И тут наставил меня так делать, что ты, — говорит, — как если почувствуешь сердцеразжижение и ее вспомнишь, то и разумей, что это, значит, к тебе приступает ангел сатанин, и ты тогда сейчас простирайся противу его на подвиг: перво-наперво стань на колени. Колени у человека, — говорит, — первый инструмент: как на них падешь, душа сейчас так и порхнет вверх, а ты тут, в сем возвышении, и бей поклонов земных елико мощно, до изнеможения, и изнуряй себя постом, чтобы заморить, и дьявол как увидит твое протягновение на подвиг, ни за

что этого не стерпит и сейчас отбежит, потому что он опасается, как бы такого человека своими кознями еще прямее ко Христу не привести, и помыслит: «Лучше его оставить и не искушать авось-де он скорее забудется». Я стал так делать, и действительно все прошло.

— Долго же вы себя этак мучили, пока от вас ангел сатаны отступал?

— Долго-с; и все одним измором его, врага этакого, брал, потому что он другого ничего не боится: вначале я и до тысячи поклонов ударял и дня по четыре ничего не вкушал и воды не пил, а потом *он* понял, что ему со мною спорить не ровно, и оробел, и слаб стал: чуть увидит, что я горшочек пищи своей за окно выброшу и берусь за четки, чтобы поклоны считать, он уже понимает, что я не шучу и опять простираюсь на подвиг, и убежит. Ужасно ведь, как он боится, чтобы человека к отраде упования не привести.

— Однако же, положим… *он*-то… Это так: вы его преодолели, но ведь сколько же и сами вы от него перетерпели?

— Ничего-с; что же такое, я ведь угнетал гнетущего, а себе никакого стеснения не делал.

— И теперь вы уже совсем от него избавились?

— Совершенно-с.

— И он вам вовсе не является?

— В соблазнительном женском образе никогда-с больше не приходит, а если порою еще иногда покажется где-нибудь в уголке в келье, но уже в самом жалостном виде: визжит, как будто поросеночек издыхает. Я его, негодяя, теперь даже и не мучу, а только раз перекрещу и положу поклон, он и перестанет хрюкать.

— Ну и слава Богу, что вы со всем этим так справились.

— Да-с; я соблазны большого беса осилил, но, доложу вам, — хоть это против правила, — а мне мелких бесенят пакости больше этого надокучили.

— А бесенята разве к вам тоже приставали?

— Как же-с; положим, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лезут…

— Что же такое они вам делают?

— Да ведь ребятишки, и притом их там, в аду, очень много, а дела им при готовых харчах никакого нет, вот они и просятся на землю поучиться смущать, и балуются, и чем человек хочет быть в своем звании солиднее, тем они ему больше досаждают.

— Что же такое они, например… чем могут досаждать?

— Подставят, например, вам что-нибудь такое или подсунут, а опрокинешь или расшибешь и кого-нибудь тем смутишь и разгневаешь, а им это первое удовольствие, весело: в ладоши хлопают и бежат к своему старшому: дескать, и мы смутили, дай нам теперь за то грошик. Ведь вот из чего бьются… Дети.

— Чем же именно им, например, удавалось вас смутить?

— Да вот, например, у нас такой случай был, что один жид в лесу около монастыря удавился, и стали все послушники говорить, что это Иуда и что он по ночам по обители ходит и вздыхает, и многие были о том свидетели. А я об нем и не сокрушался, потому что думал: разве мало у нас, что ли, жидов осталось; но только раз ночью сплю в конюшне и вдруг слышу, кто-то подошел и морду в дверь через поперечную перекладину всунул и вздыхает. Я сотворил молитву, — нет, все-таки стоит. Я перекрестил: все стоит и опять вздохнул. «Ну что, мол, я тебе сделаю: молиться мне за тебя нельзя, потому что ты жид, да хоть бы и не жид, так я благодати не имею за самоубийц молить, а пошел ты от меня прочь в лес или в пустыню». Положил на него этакое заклятие, он и отошел, а я опять заснул, но на другую ночь

он, мерзавец, опять приходит и опять вздыхает… мешает спать, да и все тут. Как ни терпел, просто сил нет! Тьфу ты, невежа, думаю, мало ему в лесу или на паперти места, чтобы еще непременно сюда в конюшню ко мне ломиться? Ну, нечего делать, видно, надо против тебя хорошее средство изобретать: взял и на другой день на двери чистым углем большой крест написал, и как пришла ночь, я и лег спокойно, думаю себе: уж теперь не придет, да только что с этим заснул, а он и вот он, опять стоит и опять вздыхает! Тьфу ты, каторжный, ничего с ним не поделаешь! Всю как есть эту ночь он меня этак пугал, а утром, чуть ударили в первый колокол к заутрене, я поскорее вскочил и бегу, чтоб пожаловаться настоятелю, а меня встречает звонарь, брат Диомид, и говорит:

«Чего ты такой пужаный?»

Я говорю:

«Так и так, такое мне во всю ночь было беспокойство, и я иду к настоятелю».

А брат Диомид отвечает:

«Брось, — говорит, — и не ходи, настоятель вчера себе в нос пиявку ставил и теперь *пресердитый* и ничего тебе в этом деле не поможет, а я тебе, если хочешь, гораздо лучше его могу помогать».

Я говорю:

«А мне совершенно все равно; только сделай милость, помоги, — я тебе за это старые теплые рукавицы подарю, тебе в них зимою звонить будет очень способно».

«Ладно», — отвечает.

И я ему рукавицы дал, а он мне с колокольни старую церковную дверь принес, на коей Петр апостол написан, и в руке у него ключи от царства небесного.

«Вот это-то, — говорит, — и самое важное есть *ключи:* ты этою дверью только заставься, так уже через нее никто не пройдет».

Я ему мало в ноги от радости не поклонился и думаю: чем мне этою дверью заставляться да потом ее отставлять, я ее лучше фундаментально прилажу, чтобы она мне всегда была ограждением, и взял и учинил ее на самых надежных плотных петлях, а для безопаски еще к ней самый тяжелый блок приснастил из булыжного камня, и все это исправил в тишине в один день до вечера и, как пришла ночная пора, лег в свое время и сплю. Но только, что же вы изволите думать: слышу — опять дышит! просто ушам своим не верю, что это можно, ан нет: дышит, да и только! да еще мало этого, что дышит, а прет дверь… При старой двери у меня изнутри замок был, а в этой,

как я более на святость ее располагался, замка не приладил, потому что и времени не было, то он ее так и пихает, и все раз от разу смелее, и, наконец, вижу, как будто морда просунулась, но только дверь размахнулась на блоке и его как свистнет со всей силы назад… А он отскочил, видно, почесался, да, мало обождавши, еще смелее, и опять морда, а блок ее еще жестче щелк… Больно, должно быть, ему показалось, и он усмирел и больше не лезет, я и опять заснул, но только прошло мало времени, а он, гляжу, подлец, опять за свое взялся, да еще с новым искусством. Уже нет того, чтобы бодать и прямо лезть, а полегонечку рогами дверь отодвинул, и как я был с головою полушубком закрыт, так он вдруг дерзко полушубок с меня долой сорвал, да как лизнет меня в ухо… Я больше этой наглости уже не вытерпел: спустил руку под кровать и схватил топор да как тресну его, слышу — замычал и так и бякнул на месте. «Ну, — думаю, — так тебе и надо», — а вместо того, утром, гляжу, никакого жида нет, а это они, подлецы, эти бесенята, мне вместо его корову нашу монастырскую подставили.

— И вы ее поранили?

— Так и прорубил топором-с! Смущение ужасное было в монастыре.

— И вы, чай, неприятности какие-нибудь за это имели?

— Получил-с; отец игумен сказали, что это все оттого мне представилось, что я в церковь мало хожу, и благословили, чтобы я, убравшись с лошадьми, всегда напереди у решетки для возжигания свеч стоял, а они тут, эти пакостные бесенята, еще лучше со мною подстроили и окончательно подвели. На самого на Мокрого Спаса, на всенощной, во время благословения хлебов, как надо по чину, отец игумен и иеромонах стоят посреди храма, а одна богомолочка старенькая подает мне свечечку и говорит:

«Поставь, батюшка, празднику».

Я подошел к аналою, где положена икона «Спас на водах», и стал эту свечечку лепить, да другую уронил. Нагнулся, эту поднял, стал прилеплять, — две уронил. Стал их вправлять, ан, гляжу — четыре уронил. Я только головой качнул, ну, думаю, это опять непременно мне пострелята досаждают и из рук рвут… Нагнулся и поспешно с упавшими свечами поднимаюсь да как затылком махну под низ об подсвечник… а свечи так и посыпались. Ну, тут я рассердился да взял и все остальные свечи рукой посбивал. «Что же, — думаю, — если этакая наглость пошла, так лучше

же я сам поскорее все это опрокину».

— И что же с вами за это было?

— Под суд меня за это хотели было отдать, да схимник, слепенький старец Сысой, в земляном затворе у нас живет, так он за меня заступился.

«За что, — говорит, — вы его будете судить, когда это его сатанины служители смутили».

Отец игумен его послушались и благословили меня без суда в пустой погреб опустить.

— Надолго же вас в погреб посадили?

— А отец игумен не благословили на сколько именно времени, а так сказали только, что «посадить», я все лето до самых до заморозков тут и сидел.

— Ведь это, надо полагать, скука и мучение в погребе, не хуже, чем в степи?

— Ну нет-с: как же можно сравнить? здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали. Придут, сверху над ямой станут, и поговорим, а отец казначей жернов мне на веревке велели спустить, чтобы я соль для поварни молол. Какое же сравнение со степью или с другим местом.

— А потом когда же вас вынули? верно, при морозах, потому что холодно стало?

— Нет-с, это не потому, совсем не для холода, а для другой причины, так как я стал пророче-

ствовать.

— Пророчествовать!?

— Да-с, я в погребу, наконец, в раздумье впал, что какой у меня самоничтожный дух и сколько я через него претерпеваю, а ничего не усовершаюсь, и послал я одного послушника к одному учительному старцу спросить: можно ли мне у Бога просить, чтобы другой более соответственный дух получить? А старец наказал мне сказать, что «пусть, говорит, помолится, как должно, и тогда, чего нельзя ожидать, ожидает».

Я так и сделал: три ночи всё на этом инструменте, на коленях, стоял в своей яме, а духом на небо молился и стал ожидать себе иного в душе совершения. А у нас другой инок Терентий был, этот был очень начитанный и разные книги и газеты держал, и дал он мне один раз читать житие преподобного Тихона Задонского, и когда, случалось, мимо моей ямы идет, всегда, бывало, возьмет да мне из-под ряски газету кинет.

«Читай, — говорит, — и усматривай полезное: во рву это тебе будет развлечение».

Я, в ожидании невозможного исполнения моей молитвы, стал покамест этим чтением заниматься: как всю соль, что мне на урок назначено перемолоть, перемелю, и начинаю читать, и

начитал я сначала у преподобного Тихона, как посетили его в келии Пресвятая Владычица и святые апостолы Петр и Павел. Писано, что угодник Божий Тихон стал тогда просить Богородицу о продлении мира на земле, а апостол Павел ему громко ответил знамение, когда не станет мира, такими словами: «Егда, — говорит, — все рекут мир и утверждение, тогда нападает на них внезапу всегубительство». И стал я над этими апостольскими словами долго думать и все вначале никак этого не мог понять: к чему было святому от апостола в таких словах откровение? На конец того начитываю в газетах, что постоянно и у нас и в чужих краях неумолчными усты везде утверждается повсеместный мир. И тут-то исполнилось мое прошение, и стал я вдруг понимать, что сближается реченное: «егда рекут мир, нападает внезапу всегубительство», и я исполнился страха за народ свой русский и начал молиться и всех других, кто ко мне к яме придет, стал со слезами увещевать, молитесь, мол, о покорении под нозе царя нашего всякого врага и супостата, ибо близ есть нам всегубительство. И даны были мне слезы, дивно обильные!.. все я о родине плакал. Отцу игумену и доложили, что, — говорят, — наш Измаил в погребе стал очень плакать и войну

пророчествовать. Отец игумен и благословили меня за это в пустую избу на огород перевесть и поставить мне образ *«Благое молчание»*, пишется Спас с крылами тихими, в виде ангела, но в Саваофовых чинах заместо венца, а ручки у груди смирно сложены. И приказано мне было, чтобы я перед этим образом всякий день поклоны клал, пока во мне провещающий дух умолкнет. Так меня с этим образом и заперли, и я так до весны взаперти там и пребывал в этой избе и все *«Благому молчанию»* молился, но чуть человека увижу, опять во мне дух поднимается, и я говорю. На ту пору игумен лекаря ко мне прислали посмотреть: в рассудке я не поврежден ли? Лекарь со мною долго в избе сидел, вот этак же, подобно вам, всю мою повесть слушал и плюнул:

— Экий, — говорит, — ты, братец, барабан: били тебя, били, и все никак еще не добьют.

Я говорю:

— Что же делать? Верно, так нужно.

А он, все выслушавши, игумену сказал:

— Я, — говорит, — его не могу разобрать, что он такое: так просто добряк, или помешался, или взаправду предсказатель. Это, — говорит, — по вашей части, а я в этом не сведущ, мнение же мое такое: прогоните, — говорит, — его куда-нибудь

подальше пробегаться, может быть он засиделся на месте.

Вот меня и отпустили, и я теперь на богомоление в Соловки к Зосиме и Савватию благословился и пробираюсь. Везде был, а их не видал и хочу им перед смертью поклониться.

— Отчего же «перед смертью»? Разве вы больны?

— Нет-с, не болен; а все по тому же случаю, что скоро надо будет воевать.

— Позвольте: как же это вы опять про войну говорите?

— Да-с.

— Стало быть, вам *«Благое молчание»* не помогло?

— Не могу знать-с: усиливаюсь, молчу, а дух одолевает.

— Что же он?

— Все свое внушает: «ополчайся».

— Разве вы и сами собираетесь идти воевать?

— А как же-с? Непременно-с: мне за народ очень помереть хочется.

— Как же вы: в клобуке и в рясе пойдете воевать?

— Нет-с; я тогда клобучок сниму, а амуничку надену.

Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше расспрашивать? повествования своего минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой души, а провещания его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных и только иногда открывающего их младенцам.

Мелочи архиерейской жизни (Картинки с натуры)

Нет ни одного государства, в котором бы не находились превосходные мужи во всяком роде, но, к сожалению, каждый человек собственному своему взору величайшей важности кажется предметом.

(«Народная гордость», Москва, 1788 г.)

Предисловие к первому изданию

В течение 1878 года русскою печатью сообщено очень много интересных и характерных анекдотов о некоторых из наших архиереев. Значительная доля этих рассказов так невероятна, что человек, незнакомый с епархиальною практикою, легко мог принять их за вымысел; но для людей, знакомых с клировою жизнью, они имеют совсем другое значение. Нет сомнения, что это не чьи-либо измышления, а настоящая, живая правда, списанная с натуры, и притом отнюдь не со злою целью.

Сведущим людям известно, что среди наших «владык» никогда не оскудевала непосредственность, это не подлежит ни малейшему сомнению, и с этой точки зрения рассказы ничего не открыли нового, но досадно, что они остановились, показав, как будто умышленно, только одну сторону этих интересных нравов, выработавшихся под особенными условиями оригинальной исключительности положения русского архиерея, и скрыли многие другие стороны архиерейской жизни.

Невозможно согласиться, будто все странности,

которые рассказываются об архиереях, напущены ими на себя произвольно, и я хочу попробовать сказать кое-что в *защиту* наших владык, которые не находят себе иных защитников, кроме узких и односторонних людей, почитающих всякую речь о епископах за оскорбление их достоинству.

Из моего житейского опыта я имел возможность не раз убеждаться, что наши владыки, и даже самые непосредственнейшие из них, по своим оригинальностям, отнюдь не так нечувствительны и недоступны воздействиям общества, как это представляют корреспонденты. Об этом я и хочу рассказать кое-что, в тех целях, чтобы отнять у некоторых обличений их очевидную односторонность, сваливающую непосредственно все дело на одних владык и не обращающую ни малейшего внимания на их положение и на отношение к ним самого общества. По моему мнению, наше общество должно понести на себе самом хоть долю укоризн, адресуемых архиереям.

Как бы это кому ни показалось парадоксальным, однако прошу внимания к тем примерам, которые приведу в доказательство моих положений.

Глава первая

Первый русский архиерей, которого я знал, был орловский Никодим. У нас в доме стали упоминать его имя по тому случаю, что он сдал в рекруты сына бедной сестры моего отца. Отец мой, человек решительного и смелого характера, поехал к нему и в собственном его архиерейском доме разделался с ним очень сурово… Дальнейших последствий это не имело.

В доме у нас не любили черного духовенства вообще, а архиереев в особенности. Я их просто боялся, вероятно потому, что долго помнил страшный гнев отца на Никодима и пугавшее меня заверение моей няньки, будто «архиереи Христа распяли». Христа же меня научили любить с детства.

Первый архиерей, которого я узнал лично, был Смарагд Крижановский, во время его управления орловскою епархиею.

Это воспоминание относится к самым ранним годам моего отрочества, когда я, обучаясь в орловской гимназии, постоянно слышал рассказы о деяниях этого владыки и его секретаря, «ужасного Бруевича».

Сведения мои об этих лицах были довольно разносторонние, потому что, по несколько исключительному моему семейному положению, я в то время вращался в двух противоположных кругах орловского общества. По отцу моему, происходившему из духовного звания, я бывал у некоторых орловских духовных и хаживал иногда по праздникам в монастырскую слободку, где проживали ставленники и томившиеся в чаянии «владычного суда» подначальные. У родственников же с материной стороны, принадлежавших к тогдашнему губернскому «свету», я видал губернатора, князя Петра Ивановича Трубецкого, который терпеть не мог Смарагда и находил неутолимое удовольствие везде его ругать. Князь Трубецкой постоянно называл Смарагда не иначе, как «козлом», а Смарагд в отместку величал князя «петухом».

Впоследствии я много раз замечал, что очень многие генералы любят называть архиереев «козлами», а архиереи тоже, в свою очередь, зовут генералов «петухами».

Вероятно, это почему-нибудь так следует.

Губернатор князь Трубецкой и епископ Смарагд невзлюбили друг друга с первой встречи и считали долгом враждовать между собою во все время

своего совместного служения в Орле, где по этому случаю насчет их ссор и пререканий ходило много рассказов, по большей части, однако же, или совсем неверных, или по крайней мере сильно преувеличенных. Таков, например, повсеместно с несомненною достоверностью рассказываемый анекдот о том, как епископ Смарагд будто бы ходил с хоругвями под звон колоколов на съезжую посещать священника, взятого по распоряжению князя Трубецкого в часть ночным обходом в то время, как этот священник шел с дароносицею к больному.

На самом деле такого происшествия в Орле вовсе не было. Многие говорят, что оно было будто бы в Саратове или в Рязани, где тоже епископствовал и тоже ссорился преосвященный Смарагд, но немудрено, что и там этого не было. Несомненно одно, что Смарагд терпеть не мог князя Петра Ивановича Трубецкого и еще более его супругу, княгиню Трубецкую, урожденную Витгенштейн, которую он, кажется не без основания, звал «буесловною немкою». Этой энергической даме Смарагд оказывал замечательные грубости, в том числе раз при мне сделал ей в церкви такое резкое и оскорбительное замечание, что это ужаснуло орловцев. Но княгиня снесла и ответить

Смарагду не сумела.

Епископ Смарагд был человек раздражительный и резкий, и если ходящие о его распрях с губернаторами анекдоты не всегда фактически верны, то все они в самом сочинении своем верно изображают характер ссорившихся сановников и общественное о них представление. Князь Петр Иванович Трубецкой во всех этих анекдотах представляется человеком заносчивым, мелочным и бестактным. О нем говорили, что он «петушится», топорщит перья и брыкает шпорою во что попало, а покойный Смарагд «козляковал». Он действовал с расчетом: он, бывало, некое время посматривает на петушка и даже бородой не тряхнет, но чуть тот не поостережется и выступит за ограду, он его в ту же минуту боднет и назад на его насест перекинет.

В кружках орловского общества, которое не любило ни князя Трубецкого, ни епископа Смарагда, последний все-таки пользовался лучшим вниманием. В нем ценили по крайней мере его ум и его «неуемность». О нем говорили:

— Сорванец и молодец ни Бога не боится, ни людей не стыдится.

Такие люди в русском обществе приобретают авторитет, законности которого я и не намерен

оспаривать, но я имею основание думать, что покойный орловский дерзкий епископ едва ли на самом деле «ни Бога не боялся, ни людей не стыдился».

Конечно, если смотреть на этого владыку с общей точки зрения, то, пожалуй, за ним как будто можно признать такой авторитет; но если заглянуть на него со стороны некоторых мелочей, весьма часто ускользающих от общего внимания, то выйдет, что и Смарагд не был чужд способности стыдиться людей, а может быть, даже и бояться Бога.

Вот тому примеры, которые, вероятно, одним вовсе неизвестны, а другими, может быть, до сих пор позабыты.

Теперь я сначала представлю читателям оригинального человека из орловских старожилов, которого чрезвычайно боялся «неуемный Смарагд».

В то самое время, когда жили и враждовали в Орле кн. П. И. Трубецкой и преосвященный Смарагд, там же в этом «многострадальном Орле», в небольшом сереньком домике на Полешской площади проживал не очень давно скончавшийся отставной майор Александр Христианович Шульц. Его все в Орле знали и все звали его с

титулом «майор Шульц», хотя он никогда не носил военного платья и самое его майорство некоторым казалось немножко «апокрифическим». Откуда он и кто такой, едва ли кто-нибудь знал с полною достоверностью. Шутливые люди решались даже утверждать, что «майор Шульц» и есть вечный жид Агасфер или другое, столь же таинственное, но многозначащее лицо.

Александр Христианович Шульц с тех пор, как я его помню, а я помню его с моего детства, был старик, сухой, немножко сгорбленный, довольно высокого роста, крепкой комплекции, с сильною проседью в волосах, с густыми, очень приятными усами, закрывавшими его совершенно беззубый рот, и с блестящими, искрившимися серыми глазами в правильных веках, опушенных длинными и густыми темными ресницами. Люди, видевшие его незадолго до его смерти, говорят, что он таким и умер. Он был человек очень умный и еще более очень приятный, всегда веселый, всегда свободный, искусный рассказчик и досужий шутник, умевший иногда ловко запутать путаницу и еще ловчее ее распутать. Он не только был человек доброжелательный, но и делал немало добра. Официальное положение Шульца в Орле выражалось тем, что он был бессменным старшиною

дворянского клуба. Никакого другого места он не занимал и жил неизвестно чем, но жил очень хорошо. Небольшая квартира его всегда была меблирована со вкусом, на холостую ногу; у него всегда кто-нибудь гостил из приезжих дворян; закуска в его доме подавалась всегда обильная, как при нем, так и без него. Домом у него заведовал очень умный и вежливый человек Василий, питавший к своему господину самую верную преданность. Женщин в доме не было, хотя покойный Шульц был большой любитель женского пола и, по выражению Василия, «страшно следил по этому предмету».

Жил он, как одни думали, картами, то есть вел постоянную картежную игру в клубе и у себя дома; по другим же, он жил благодаря нежной заботливости своих богатых друзей Киреевских. Последнему верить гораздо легче, тем более что Александр Христианович умел заставить любить себя очень искренно. Шульц был человек очень сострадательный и не забывал заповеди «стяжать себе друзей от мамоны неправды». Так, в то время, когда в Орле еще не существовало благотворительных обществ, Шульц едва ли был не единственным благотворителем, который подавал больше гроша, как это делало и, вероятно,

доселе делает орловское православное христианство. Майора хорошо знали беспомощные бедняки Пушкарской и Стрелецкой слобод, куда он часто отправлялся в своем куцем коричневом сюртучке с запасом «штрафных» денег, собиравшихся у него от поздних клубных гостей, и здесь раздавал их бедным, иногда довольно щедрою рукою. Случалось, что он даже покупал и дарил рабочих лошадей и коров и охотно хлопотал об определении в училище беспомощных сирот, что ему почти всегда удавалось благодаря его обширным и коротким связям.

Но, помимо этой пользы обществу, Шульц приносил ему еще и другую, может быть не менее важную услугу: он олицетворял в своей особе местную гласность и сатиру, которая благодаря его неутомимому и острому языку была у него беспощадна и обуздывала много пошлостей дикого самодурства тогдашнего «доброго времени». Тонкий и язвительный юмор Шульца преследовал по преимуществу местных светил, но преследование это велось у него с таким тактом и наивностью, что никто и думать не смел ему мстить. Напротив, многие из преследуемых бичом его сатиры нередко сами помирали со смеху от насмешек майора, а боялись его *все*,

по крайней мере все, имевшие в городе вес и значение и потому, конечно, желавшие не быть осмеянными, лебезили перед не имевшим никакого официального значения клубным майором.

Шульц, конечно, это знал и мастерски пользовался почтительным страхом, наведенным им на людей, не желавших почитать ничего более достойного почтения.

Шульцу было известно все, что происходило в городе. Сам он, по преимуществу и даже исключительно, держался компании в «высшем круге», где его и особенно боялись, но он не затворял своих дверей ни перед кем, и оттого все сколько-нибудь интересные или скандальные вести стекались к нему всяческими путями. Шульц был принят и у князя Трубецкого и у архиерея Смарагда, распрями которых он тешился и рачительно ими занимался, то собирая, то сочиняя и распуская об этих лицах повсюду самые смешные и в то же время способные усиливать их ссору вести. Мало-помалу Шульц до такой степени увлекся этой травлею, что предался ей с исключительным жаром и, можно сказать, некоторое время просто как бы ею только и жил. Он всеми мерами старался разогреть и раздуть страсти этих борцов до того непримиримого пламени, в котором они

с неукротимою энергиею старались испепелить друг друга.

Почти всякий день Шульц приходил к дяде моему, дворянскому предводителю (потом совестному судье и председателю палат) Л. И. Константинову и помирал со смеху, рассказывая, что ему удалось настроить, чтобы архиерей с губернатором лютее обозлились друг на друга, или же предавался серьезной скорби, что они «устают действовать», в последнем случае он не успокоивался, пока не приходил к счастливым соображениям, чем их раздразнить и стравить наново. И он отменно достигал этих целей, о которых мы в доме дяди всегда больше или меньше знали и из коих об иных стоит, кажется, рассказать для характеристики лиц и того *солидного* времени, которое так часто противопоставляется нынешнему времени легкомысленному и несолидному.

Смарагд по прибытии в Орел очень скоро узнал о Шульце и оценил его значение. Он, разумеется, не только не пренебрег майором, но отнесся к нему с самою лестною внимательностью. Долго он все зазывал Шульца к себе через Киреевских и заигрывал с ним через других, поручая попенять ему, что он не хочет «навестить бедного монаха».

Шульц не шел, но как бы благоволил к архиерею и похваливал его насчет губернатора. Наконец они встретились с Смарагдом, кажется на обеде в с. Шахове, и майор здесь совсем очаровал скучавшего епископа своими едкими сарказмами над Трубецким и доктором Лоренцем, а также и над другими видными орловскими гражданами. Знавший толк в людях, Смарагд тут же постарался подметить слабость самого майора: он заметил, что Шульц любил хорошо покушать и притом был тонкий ценитель «доброго винца», в чем довольно сведущ был и покойный епископ. И вот «бедный монах» пригласил Зоила к себе в город запросто и угостил его, что называется, «по-знатоцки».

С тех пор они стали знакомы и, как люди очень умные, не много чинясь друг с другом, скоро сблизились. Но Смарагду, конечно, не удалось закормить Шульца до того, чтобы он совсем положил печать молчания на свои уста, и хотя многим казалось, будто майор как бы щадил архиерея и даже нападал за него на князя, но весьма вероятно, что это происходило оттого, что Смарагд без сравнения превосходил губернатора в уме, а Шульц был любителем ума, в ком бы ни встречал его. Однако послабление епископу дли-

лось недолго: раз, когда Шульцу стали замечать, что он щадит архиерея, он ответил:

— Не могу же я, господа, не делать разницы между Трубецким, у которого мне подают блюдо его лакеи, и архиереем, который всегда сам меня потчует.

Это было передано Смарагду и послужило началом владычного неудовольствия, которое вскоре затем усилилось еще одним обстоятельством, после которого между владыкою и Шульцем произошел разрыв. Причиною тому был приезд в Орел какого-то важного чиновника центрального духовного учреждения. Может быть, это был директор синодальной канцелярии, а может быть, что-нибудь даже еще более достопримечательное. Смарагд чествовал заезжего гостя в своем архиерейском доме вечернею трапезою, а Шульц был в числе возлежавших и, по обыкновению, один оживлял пир своим веселым и злым остроумием.

Благодаря ему зашла беседа за ночь, и «недоставшу вину» владыка восплескал руками, что у него было призывным знаком для слуг; но слуги, не чая позднего дополнения к столу, отлучились. Тогда архиерей живо встал и, чтобы не распустить компанию, подобрав свою бархатную рясу,

побежал с такою резвостию, что, чрезвычайно удивленный этою прыткостию епископа, Шульц на другой же день начал рассказывать, как резво умеют наши владыки бегать перед чиновниками.

Смарагду это совсем не понравилось. Он нашел, что Шульц «нехорош в компании», но, однако, его высокопреосвященство никак не мог освободиться от довольно тяжкого нравственного влияния майора: Шульц ни за что не хотел спускать с глаз архиерейскую распрю с губернатором и придумал такую штуку, чтобы обнародовать положение их фондов во всеобщее сведение.

Это имеет особенный интерес, потому что тут мы можем получить довольно ясное указание, как несправедливы некоторые нарекания на архиереев, будто бы нимало не дорожащих общественным мнением.

Нижеследующий случай покажет, что даже и Смарагд был чуток к совету Сираха «пещись об имени своем».

На светлом окне серого домика на Полешской площади «сожженного» города Орла в один прекрасный день совершенно для всех неожиданно появились два чучела: одно было красный петух в игрушечной каске, с золочеными игрушечными

же шпорами и бакенбардами; а другое маленький, опять-таки игрушечный же козел с бородою, покрытый черным лоскутком, свернутым в виде монашеского клобука. Козел и петух стояли друг против друга в боевой позиции, которая от времени до времени изменялась. В этом и заключалась вся штука. Смотря по тому, как стояли дела князя с архиереем, то есть: кто кого из них одолевал (о чем Шульц всегда имел подробные сведения), так и устраивалась группа. То петух клевал и бил взмахами крыла козла, который, понуря голову, придерживал лапою сдвигавшийся на затылок клобук; то козел давил копытами шпоры петуха, поддевая его рогами под челюсти, отчего у того голова задиралась кверху, каска сваливалась на затылок, хвост опускался, а жалостно разинутый клюв как бы вопиял о защите.

Все знали, что это значит, и судили о ходе борьбы по тому, «как у Шульца на окне архиерей с князем дерутся».

Это был первый проблеск гласности в Орле, и притом гласности бесцензурной.

Не знаю, как интересовался этим князь Петр Иванович. Может быть, что этот губернатор, по приписываемым ему словам «сильно занятый поджогами», за недосугами и не знал, что изобра-

жали шульцевы манекены; но преосвященный это знал и очень следил за этим делом. Особенно с тех пор, когда фонды Смарагда в Петербурге совсем пали, бедный старец очень интересовался: как разумеют о нем люди? и частенько, говорят, посылал некоего, поныне еще, кажется, здравствующего в Орле мужа «приватно пройтись и посмотреть, что представляют у Шульца на окне *фигуры:* какая какую борет?»[73]

Муж ходил, смотрел и доносил не знаю, все ли сполна. Когда у Шульца на окне козел бодал петуха и сбивал с него каску, владыку это куражило, и он веселел, а когда петух щипал и шпорил козла, то это производило действие противоположное.

Не наблюдать за *фигурами*, впрочем, было и невозможно, потому что бывали случаи, когда козел представал очам прохожих с аспидною дощечкою, на которой было крупно начертано: «П-р-и-х-о-д», а внизу, под сим заголовком, писалось: «такого-то числа: взял сто рублей и две головы сахару» или что-нибудь в этом роде. Говорили, что эти цифры большею частью имели

---

[73] Примечания: 73

О значении Смарагда в Орле ходили преувеличенные толки, будто он «близок ко двору», потому что «был законоучителем цесаревича» (императора Александра II), но в сущности все это ограничивалось тем, что Смарагд случайно занимался некоторое время «по болезни Павского». (*Прим. автора.*)

живое отношение к действительности, и потому за них жутко доставалось всем, кто мог быть заподозрен в нескромности. Но предпринять против этого ничего нельзя было, так как против устроенного майором Шульцем органа гласности не действовала ни предварительная цензура, ни расширившая свободу печати система предостережений, до благодеяний которой, впрочем, еще и поныне не дожил издающийся в моем родном городе «Орловский вестник».

Сколь счастливее его были оные приснопамятные шутовские органы гласности, изобретенные Шульцем! И зато они сравнительно сильнее действовали. По крайней мере то несомненно, что крутой из крутых и смелый до дерзости архиерей их серьезно боялся. Можно думать, что если бы не они, то анекдоты о Смарагде, вероятно, имели бы еще более жесткий и мрачный характер, от которого владыку воздерживало только одно шутки ради устроенное пугало.

Надеюсь, что рассказанными мелочами из моих отроческих воспоминаний об архиерее, которого я знал в оную безгласную пору на Руси, я в некоторой степени показал примером, что и самые крутые из архиереев не остаются безучастными к общественному мнению, а потому

такое нарекание на них едва ли справедливо. Теперь же я на том же самом Смарагде представлю другой пример, который может показать, что и обвинение архиереев в безучастии и жестокости тоже может быть не всегда верно.

Но пусть вместо наших рассуждений говорят сами маленькие «события».

Глава вторая

На долю Орла выпало довольно суровых владык, между коими, по особенному своему жестокосердию, известны Никодим и опять-таки тот же Смарагд Крижановский. О жестокостях Никодима я слыхал ужасные рассказы и песню, которая начиналась словами:

Архиерей наш Никодим
Архилютый крокодил.

Но многие жестокости Смарагда я сам лично видел и сам оплакивал моими ребячьими слезами истомленных узников орловской Монастырской слободы, где они с плачем глодали плесневые корки хлеба, собираемые милостыней. Я видал, как *священники целовали руки* некоего жандармского вахмистра, ростовщика, имевшего здесь дом и огород, на коем бесплатно работали должные и не должные ему подначальные попы и дьяконы, за то только, чтобы этот вахмистр «поговорил о них секретарю», деньгами которого будто бы оперировал этот воин.

У меня на этой Монастырской слободке жил один мой гимназический товарищ, сын этапного

офицера, семья которого мне в детстве представлялась семьею тех трех праведников, ради которых господь терпел на земле орловские «проломленные головы». Это в самом деле была очень добрая семья, состоявшая из отца, белого, как лунь, коротенького старичка, который два раза в неделю с огромною «валентиновскою» саблею при бедре садился верхом на сытую игренюю кобылку и выводил за кромскую заставу арестантские этапы. Арестанты его любили и, как был слух, не бегали из-под его конвоя только потому, что им «было жалко его благородие». Он был совсем старец и, давно потеряв все зубы, кушал лишь одну манную кашку.

Жена его, золотушная старушка, тоже была в детском состоянии: она питала безграничную и ничем не смущаемую доверчивость ко всем людям, любила получать в подарок игрушечные фарфоровые куколки, которые она расставляла в минуты скуки и уныния, посещавшие ее при появившихся под старость детских болезнях. У нее обыкновенно делались то свинка, то корь, то коклюш, а незадолго перед смертью появились какие-то припадки вроде родимца. Оба этапные супруга были добры до бесконечности. Их сын мой гимназический товарищ, постоянно читав-

ший романы Вальтер Скотта, и дочь, миловидная девушка, занимавшаяся вышиваньем гарусом, тоже были олицетворением простоты и кротости. И вот у этих-то добрых людей на дворе, по сеням и закуткам всегда проживали «духовенные» из призванных «под начал» или «ожидавших резолюции». С них в этом христианском доме ничего не брали, а держали их просто по состраданию, «Христа ради». Изредка разве, и то не иначе как «по усердию», кто-нибудь из подначальных бедняков, бывало, прометет двор или улицы, или выполет гряды, или сходит на Оку за водою, необходимою сколько для хозяйского, столько же и для собственного употребления самих подначальных.

В кромешном аду, который представляла собою орловская Монастырская слободка, уютный домик этапного офицера и его чистенький дворик представляли самое утешительное и даже почти сносное место. Сострадательные хозяева жалели злополучных «подначальников» и облегчали их тяжкую участь без рассуждения, которое так легко ведет к осуждению. Но, однако, и здесь, кроме приюта, «духовенным» ничего не давали, потому что не имели, что им дать. Им дозволяли только дергать в огороде чрезвычайно разрос-

шийся хрен, который угрожал заглушить всякую иную зелень и не переводился, несмотря на самое усердное истребление его «духовенными».

Домом этим дорожили «духовенные» и, прощаясь с офицерским семейством, всегда молили «паки их не отвергнуть, если впадут в руце Бруевича и паки сюда последуют». Дорожил этими добрыми людьми и я, не только потому, что мне всегда было приятно в этой простой, доброй семье, но и потому, что я мог здесь встречать многострадальных «духовенных», с детства меня необыкновенно интересовавших. Они располагали меня к себе их жалкою приниженностию и сословной оригинальностью, в которой мне чуялось несравненно более жизни, чем в тех так называемых «хороших манерах», внушением коих томил меня претензионный круг моих орловских родственников. И за эту привязанность к орловским духовенным я был щедро вознагражден: единственно благодаря ей я с детства моего не разделял презрительных взглядов и отношений «культурных» людей моей родины к бедному сельскому духовенству. Благодаря орловской Монастырской слободке я знал, что среди страдающего и приниженного духовенства русской церкви не все одни «грошевики, алтынники и

блинохваты», каких выводили многие повествователи, и я дерзнул написать «Соборян». Но в тех же хранилищах моей памяти, из коих я черпал типичные черты для изображения лиц, выведенных мною в названной моей хронике, у меня остается еще много клочков и обрезков или, как нынче говорят по-русски, «купюров». И вот один из этих «купюров», герой моего наступающего рассказа молодой сельский дьячок Лукьян, или в просторечии Лучка, а фамилии его я не помню. Это был человек очень длинный и от своей долготы сгорбленный, худой, смуглый, безбородый, со впалыми щеками, несоразмерно маленькою головкою «репкою» и желтыми лукавыми глазками. Он был «беспокойного характера», постоянно имел разнообразные стычки с разными лицами, попал за одну из них под начало и сделался мне особенно памятным по своей отважной борьбе с Смарагдом, которого он имел удивительное счастие и растрогать и одолеть во всяком случае, по собственным его словам, он «победил воеводу непобедимого».

Дьячок Лукьян появился в офицерском доме на Монастырской слободке летом, перед ученическим разъездом на каникулы. Род вины его был оригинальный: он попал сюда *«по обвинению в*

кисейных рукавах». Подробнее этого о своем преступлении Лукьян вначале ничего не сообщал, и я так и уехал на каникулы в деревню с одними этими поверхностными и скудными сведениями о его виновности. Известно было только, что преступление с «кисейными рукавами» стряслось на Троицу и что виновный в нем был взят и привезен в Орел, по его словам, как-то «нагло», так что он даже оказался без шапки. Это я очень хорошо помню, потому что бедняк попервоначалу чрезвычайно стеснялся быть без шапки и все хлопотал отыскать «оказию», чтобы выписать из «своих мест» какую-то, будто бы имевшуюся у него, другую шапку. По своему легкомысленному ребячеству я почему-то все сближал Лукьяна с тогдашним романсом:

Ах, о чем ты проливаешь
Слезы горькие тайком
И украдкой утираешь
Их кисейным рукавом.

Я думал, не он ли сочинил этот романс, или не запел ли он его ошибкою, где не следует. Но дело заключалось совсем в ином.

По возвращении с каникул я застал Лукьяна в прежней позиции, то есть на этой же Монастыр-

ской слободке, в офицерском доме, но только уже не простоволосого, а в желтом кожаном картузе с длинным четырехугольным козырем. Это меня очень обрадовало, и я при первой же встрече выразил ему свое удовольствие, что он нашел хорошую оказию вытребовать себе шапку. Но Лукьян только махнул головою и, сняв с себя свой оригинальный картуз, отвечал, что оказии он еще не нашел, а что носимый им теперь на голове снаряд добыт им «по случаю». При этом, осматривая картуз с глубоким пренебрежением, как вещь, не соответствующую его духовному званию и употребляемую только по крайности, он сказал:

— Колпачок этот, чтобы покуда накрываться, мне царских жеребцов вертинар[74] за регистры подарил, и при этом Лукьян добавил, что колпак этот «дурацкий» и что как только он вскорости возвратится домой, то сейчас же этот «колпачок» сдаст на скворешню и скворца в него посадит, чтобы тот научился в ней по-немецки думать: «кому на Руси жить хорошо».

Однако ни один скворец не дождался этой

[74] Примечания: 74

«Царскими жеребцами» в Орле тогда звали заводских жеребцов случной конюшни императорского коннозаводства. Она помещалась против Монастырской слободы. (*Прим. автора.*)

чести, потому что немецкий колпачок успел разрушиться на голове самого Лукьяна, прежде чем он уехал восвояси. Он гулял в нем все лето, осень и зиму до Алексея божия человека, когда в судьбе моего страдальца неожиданно произошла счастливая перемена.

За этот термин страданий я узнал от Лукьяна в подробности о кисейных рукавах и о прочем, о чем теперь, вероятно, без всяких для него последствий могу сказать в воспоминание: какие важные дела иногда судят наши владыки.

Лукьян был человек холостой и состоял дьячком в очень бедном приходе, в селе, которое, кажется, называлось Цветынь и было где-то неподалеку от известного над Окою крутого Ботавинского спуска. При Лукьяне жила мать, которую он очень любил, но более всего он, по своему кавалерскому положению, любил нежный пол и по этому случаю часто попадал в «стычки». В этих случаях Лукьян нередко был «мят», но все это ему, однако, не приносило всей той пользы, какую должно приносить «телесное научение». Увлечение страсти и слабости сердца заставляли его забывать все былое, и вскоре опять где женщины там и Лукьян, а затем невдалеке его и колотят, и что всего удивительнее колотят

иногда при помощи тех же самых женщин, у которых он благодаря крутым завиткам на висках и обольстительному духовному красноречию имел замечательные успехи. Но, на его несчастье, он был слишком непостоянен и притом слишком находчив. В таком роде было и его последнее преступление, за которое он теперь томился в Орле. Удостоенный внимания пожилой постоялой дворничихи, он был у нее на «кондиции», а в то же самое время воспылал страстью к другой, молодой и более красивой женщине и тут так «попутался», что во время одного визита к дворничихе «скрыл» у нее и «потаенно вынес» пышные кисейные рукава, которые немедленно же и презентовал соблазнительной красавице. Сердце красавицы он этим преклонил на свою сторону, но сам за это «двукратно пострадал». Во-первых, когда молодая женщина появилась в «скрытых» Лукьяном кисейных рукавах на Троицын день под качелями, то она тем привела в неистовство обиженную дворничиху. Последствием этого было, что обе бабы произвели сначала взаимную потасовку, а потом, увидя желавшего их разнять Лукьяна, соединили свои силы и *обе* принялись за него: его они жестоко растрепали и исцарапали, а еще более «пустили

молву», вследствие чего об этом было «донесено репортом», который, к удовольствию всех друзей нерушимости духовно-судебных порядков, предстал на архиерейский суд.

Но суд был еще далек: обвиняемый томился, а Смарагду о нем, вероятно, или совсем не докладывали, или же владыка не считал дело «о кисейных рукавах» подлежащим немедленному разбирательству и хотел нарочно потомить духовного волокиту. На огороде офицера отцвел и свернулся наперенный Лукьяном «по усердию» горох и посинели тучные бобы, в буйной ботве которых, бывало, спрятавшийся Лукьян громко и приятно наигрывал что-то на зеленой ракитовой дудке. Он пленял этою чудесною игрою и нас с товарищем, слушавших его с чердака, куда мы забирались читать Веверлея, и многих соседок офицерского домика, старавшихся открыть через частокол, где кроется в своем желтом картузе пострадавший за любовь трубадур? Все это отошло: огороды опустели, Лукьян убрал офицерше, по усердию, и картофель и репу и нарубил с батрачкою большие наполы капусты, а собственное его дело о кисейных рукавах нимало не подвигалось.

Настала суровая, холодная осень, а он все еще сидел на опустелом огороде и спал в нетопленом

курятнике. Питался он *хреном*, сам готовя себе из этого фрукта и кушанье и напиток. Кушанье это было скобленый хрен с сальными «шкварками», которые выбрасывали из кухни, а напиток делался из тертого хрена с белым квасом «суровцом».

Шутя над своею нуждою, Лукьян называл свое блюдо из хрена «лимонад-буштекц», а напиток «лимонад-бышквит».

Кажется, если бы не только самого узловатого немца, но даже самого сильного из древних русских могучих богатырей покормить этим «лимонад-буштекцем» и попоить «лимонад-бышквитом», то и он не замедлил бы задрать ноги, но тщедушный Лукьян жив и здрав бывал. Однако, наконец, вся эта истома и его пересилила: он заскучал и стал убиваться о том, как бы к кому-нибудь подольститься и «найти протекцию», чтобы «подвинуть свое дело». И он этого достиг и «подольстился» к кому-то такому, кто попросил о нем жандармского вахмистра, который, как сказано, имел сношения с случайными людьми архиерейского дома. Все эти люди явили Лукьяну благостыню, по началу судя, весьма странную, но по последствиям, как оказалось, чрезвычайно полезную.

У полнокровного и тучного Смарагда бывали

тяжелые припадки, надо полагать, геморроидального свойства. В эту пору у него, по рассказам, болела поясница и было «тяготение между крыл». Архиерейское *междукрылие* находится на спине, в том месте, где у обыкновенных людей движутся лопатки. Поэтому «тяготение между крыл», попросту говоря, значило, что у епископа набрякла спина между лопатками, и от этой опухоли, причинявшей больному тяжесть, доктор (кажется, Деппиш) советовал Смарагду полечиться активной гимнастикой. Но какие же гимнастические упражнения удобны и приличны для человека такого высокого, и притом священного, сана? Нельзя же архиерею метать шарами или подскакивать на трапеции. Но Смарагд был находчив и выдумал нечто более солидное и притом патриархальное, а вдобавок и полезное: он пожелал *пилить дрова* с подначальными, которые в его бытность постоянно исполняли при архиерейском доме черные дворовые работы и между прочим пилили и кололи дрова для архиерея и его домовых монахов.

Дьячок Лукьян был при чем-то в сторожах и искал «протекции», чтобы попасть в пильщики, дабы таким образом иметь случай не только встретиться со своим владыкою, но, так сказать,

стать с ним лицом к лицу. Этим способом он надеялся обратить на себя владычное внимание и извлечь из того для себя некоторую существенную пользу. Жандармский вахмистр, силою своих связей с архиерейским домом, все это устроил.

Смарагд избрал для своих упражнений во врачебной гимнастике послеобеденные часы. Прямо из-за стола он шел в сарай, где труждались за топорами и пилою подначальные, и с очередными из пильщиков перепиливал три-четыре, а иногда и пять плах. Так шло уже несколько времени, и хотя епископ неопустительно продолжал свои занятия, но они, вероятно, не оказывали желаемого воздействия на его владычные междукрылия: он все ходил, пригорбясь и насупясь и бе, яко Исав, «нрава дикого, угрюмого, ко гневу склонного и мстительного».

Дьячок Лукьян, наблюдая все это, впадал от такого архиерейского вида в неописанный страх, который потом вдруг стал переходить в раздражение. Все горести Лукьяна разом точно поднялись у него из сердечной глубины, и он стал так свирепо ругаться, что делалось за человека страшно. Позже он даже начал угрожать чем-то нестаточным, и от его возбужденности действительно можно было ожидать какого-нибудь

очень нехристианского поступка.

— Отек очень с сытости, говорил он непочтительно о своем владыке, оттого ничего и не чувствует, а отцы наши все подделываются: самые тоненькие да сухие плашки ему пилить подкладывают. Низкое их обхождение так научает, но дай срок, пусть он первый раз меня за пилою, а не за топором застанет, я его таким поленом разуважу, что будет он меня век помнить.

Мы с товарищем пожелали узнать, что такое именно Лукьян придумал подстроить своему архиерею, и узнали, что подначальный дьякон, полный кипящего мщения к Смарагду, желает подложить ему самые толстые коряги, над которыми бы его преосвященство «хорошенько пропыхтелся». Я и мой товарищ, по своему отроческому легкомыслию, находили эту мысль чрезвычайно счастливою и достойною тех представлений, какие мы имели о Смарагде, но сильно боялись за предприимчивого Лукьяна, чтобы это не обошлось ему дороже, чем он рассчитывает.

Лукьян, однако, был на такой возвышенной степени воодушевления, что не хотел слушать никаких доводов.

— Ребра он мне, говорит, не сокрушит, а что ежели он меня костылем отвозит, то я этого толь-

ко и желаю, потому что он опосля битья, говорят, иногда сдабривается.

Так он и пошел неуклонно на эту желанную меру сближения с своим архипастырем; а мы все не забывали интересоваться ходом его истории, которая, впрочем, не замедлила принять оборот самый краткий и самый решительный. Лукьян сделал, как намеревался, и в укромном месте, под стеною, в пильном сарае, припас для своего владыки десятка полтора самых толстых суковатых плах. Он тщательно берег этот отбор до того случая, когда Смарагд застанет его за работою и возьмется с ним за другой конец пилы, чтобы разминать свои междукрылия. Случай этот не замедлил. Дня через два после того, как Лукьян сообщил нам о своем смелом предприятии, он явился домой в невыразимом отчаянии и, бросив под кухонную лавку свой желтый шлык, объявил, что «наделал себе беды, какой не ожидал».

— Приходит, говорит, владыка, а я пилю с кромской округи попом стареньким; владыка попа прогнали: «пошел прочь», говорят, потому он им не по талии, а мне приказали: «клади плаху». Я было оробел и хотел, подобно как и другие-прочие, положить плаху какая собою поделикатнее, но раздумался, что этак я себя

долго ни к чему счастливому не произведу, и, благословясь, выхватил из своего амбара штуку самую безобразную. Владыка взглянули на меня и ничего не сказали, стали резать, два ряда прошли и ряску сняли, говорят, «повесь на колок». А еще ряд отпилили и совсем стали, а я им другую, еще коряжистее, на козлы положил. Тут он на меня уж таким святителем взглянул, что у меня и в животе захолодело. «Ничего, говорит, ничего, я и эту перепилю, а уж зато ты у меня, скотина, еще целый год в пильщиках останешься». С тем и ушли.

Мы спросили Лукьяна: что же он теперь думает делать? А он в отчаянии отвечал, что и сам не знает, но что, кажется, ему лучше всего продолжать свой термин держать потому что, так он надеялся, может быть ему бог поможет на сем тяготении своего владыку раньше года постоянством «преодолеть и замучить».

И точно, прошло не более недели, как «державший свой термин» Лукьян возвратился с веселым видом и объявил, что он «архиерея замучил» и дело о кисейных рукавах, кажется, поправляется.

— Как же это так счастливо обернулось? — спрашиваем.

— А так, отвечает, оно обернулось, что я его

преосвященство совсем заморил и от болезни их совершенно этими толстыми поленьями выпользовал.

— А по чему, говорим, это видно?

— Рассердился и ныне меня, слава богу, так костылем отвозил, что и сейчас загорбок больно.

— За что же это?

— Досадно стало, что характер имею большие плахи класть, и сам мне наклал.

— Что же, говорим, тут хорошего?

— Теперь сдобрится.

— А как нет?

— Нет, сдобрится: все, которые опытные, завидуют, говорят: «Экое счастие тебе от святителя! теперь, как сердце отойдет, он твое дело потребует и решит».

Приходит Лукьян на другой день и еще веселее.

— Вчера же, сказывает, дело к себе потребовали.

А еще через день после этого наш Лукьян как вбежал на двор в калитку, так прямо ни с того ни с сего и пошел на руках колесом.

— Отпустил, кричит, отпустил, ко двору благословил идти.

— А какое же, спрашиваем, было наказание?

— Вовсе без наказания, кроме того, как третьего дня костылем поблагословлял, ничего другого не вменено.

— Да ведь костылем это было не за кисейные рукава, а за другое.

— Ну что там разбирать, что за что выпало! Одно слово: иду благополучный, все равно как плетьми да на выпуск. Чего еще надо?

«Плетьми на выпуск» в то время на Руси за большую неприятность не считалось. Нынче русские люди на этот счет немножко избаловались.

Итак, не поучает ли нас этот приснопамятный Лукьян приведенным случаем своей судьбы, что никогда не должно отчаиваться в милосердии русских владык, ибо хотя иные из них и гневны, но и их гневности бывает порою ослабление. И не достоин ли тоже этот, по-видимому, как будто маловажный, случай особенного внимания именно потому, что он был не с каким-нибудь слабохарактерным лицом, а со Смарагдом, о котором в Орле говорили, что он никого не боится и единственно лишь тем уступает московскому митрополиту, что тот «ездит на шести животных, с двумя человеками на запятке». Другой же, менее Смарагда нравный архиерей, конечно, может оказаться еще податливее, если только случай

сведет его с человеком, который поведет свою линию как надо. А без сноровки, конечно, ничего не поделаешь не только с архиереями, но даже и со своими собственными детьми.

В подтверждение же моих слов о способности архиереев переходить от гневной ярости к благоуветному добродушию расскажу еще один такой случай о другом архиерее, тоже вспыльчивом и гневном, но укрощавшемся еще легче и проще.

Глава третья

Одна из моих теток была замужем за англичанином Шкоттом, который управлял огромными имениями у гр. Перовского, в восточной полосе России. Англичанин Шкотт был человек очень благородный и добрый, но своеобычный. Он был очень вежлив, но если встречал с чьей-либо стороны грубость и наглость, то не спускал их никому. Еще в молодости он имел в Орловской губернии историю с одним кавалерийском полковником, которого Шкотт просто-напросто прибил за нахальство. Не изменился он в этом отношении и под старость. Когда я жил в П‹ензен›ской губернии, он тогда, имея уже шестьдесят лет от роду, вызывал на дуэль губернского предводителя дворянства Арапова, и тот струсил. Шкотт не разделался с ним иначе только потому, что умер. Теперь они оба уже покойники.

Раз летом, не помню теперь которого именно года, дядя Шкотт, строивший *первую* в П‹ензен›ской губернии паровую мельницу, купил для нее в селе К. огромные штучные французские жернова, которые были уже скованы крепкими шинами и которых нам очень не хотелось раз-

бирать и сковывать заново. Мы решили катить их целиком и послали приготовленную для того снасть, лошадей и людей, но вдруг получаем известие, что камни наши, едва отъехав десять верст от К., *проломили мост* и засели в сваях.

Мы с Шкоттом сейчас же поехали на место крушения и, приехав в К. довольно поздно вечером, остановились в доме тамошнего священника, тогда еще очень молодого человека, который был нам и рад и не рад. По личным добрым отношениям к Шкотту он встретил нас весьма радушно, но был встревожен и смущен тем, что преосвященный В‹арлаам›, объезжавший в ту пору епархию, ночевал всего в десяти верстах от К. и завтра должен был нагрянуть со всею ордою провожатых, коих Петр Великий в своем регламенте именовал «несытыми скотинами». Священнику, конечно, было о чем позаботиться: надо было и накормить и разместить «оных несытых скотин». Особенно его затрудняло последнее, так как его сельский домик был очень невелик, а поврежденный мост с застрявшими в сваях камнями не подавал никакой надежды скоро переправить «обонпол потока» архипастырскую карету.

Мы были некоторым образом виновниками тягостных для батюшки осложнений и чувство-

вали это, но помочь ему не могли ничем, кроме того, что, не претендуя на его гостеприимство в доме, приготовленном «под владыку», легли спать на сеновале. Мы встали утром чем свет и отправились к изломанному мосту, о поправке которого нельзя было и думать, прежде чем мы найдем какое-нибудь средство снять камень, засевший в проломе настилки, между сваями.

Снять камень оказалось, однако, совершенно невозможно, и мы, после многих соображений, решили рассечь шины, которые его связывали в одно целое, после чего он должен был разделиться на штуки и упасть в ручей, откуда уже его предстояло после вытащить и перевезти на колеснях.

Распорядясь этою работою и оставив людей при деле, мы около десяти часов утра возвратились в дом священника, выкупались в реке, съели яичницу и, усталые, кувырнулись на сеновал и заснули. Но только что мы разоспались, как внезапу быть шум: мы были разбужены разливавшимся над поповкою оглушительным трезвоном колоколов и криком: «Едет! едет! Архиерей едет!»

Было очень любопытно посмотреть, как *он едет?*

С неубранными спросонья головами, заспанными лицами и в сыром, не отчищенном от грязи дорожном платье мы вышли к калитке и увидали, что *он ехал* неважно на своих на двоих. Попросту говоря, *он шел пешком*, потому что его карета не могла переехать через мост. Зато шел святитель, окруженный толпою, состоявшею человек из двадцати духовных и недуховных людей, между которыми особенно замечательны были две бабы. Одна из этих православных христианок все подстилала перед святителем полотенце, на которое тот и наступал для ее удовольствия, а другая была еще благочестивее и норовила сама лечь перед ним на дорогу, вероятно с тем, чтобы святитель по самой по ней прошелся, но *он* ей этого удовольствия не сделал. Сам он представлял из себя особу с красноватым геморроидальным лицом, на котором светились маленькие, сердитые серые глазки, разделенные толстым, дубоватым носом. Во всей фигуре владыки не было не только ничего «святолепного», но даже просто ничего внушительного. Он казался только разгневанным и «преогорченным». Тревожный взор его как будто вопрошал всех и каждого: «Что это такое? Отчего это я могу ходить пешком?»

Дядя Шкотт был человек религиозный и даже

езжал в русскую церковь, к которой принадлежала его жена и дети, но, на несчастие, он о ту пору был сердит на архиереев. Это вышло по одному, незадолго перед тем случившемуся, случаю с дочерью его великобританского друга, мисс Сп-нг. Дело это состояло в том, что мисс Сп-нг, гостя у своих и у наших друзей в Орловской губернии, заболела и, как девушка религиозная, позвала к себе единственное духовное лицо в деревне приходского священника. А добрый сельский батюшка не только помазал ее миром и причастил, но и примазал ей это в ее документе, то есть сейчас же «учинил о сем надпись на ее паспорте».

Между тем умиравшая мисс Сп-нг после совершенного над нею тайнодействия не только выздоровела, но вскоре же была помолвлена за сына известного московского английского коммерсанта г. Л-ви. И тут, когда дело дошло до венчания, московский английский пастор набрел на самый неожиданный сюрприз: невеста значилась *«православною»*. Обе английские семьи и весь московский английский приход, не сумев достойно оценить это обстоятельство, пришли в непонятное смятение и ужас. И вот пастор с моим дядею отправились к митрополиту Филарету Дроздову «отпрашивать» присоединен-

ную по неведению англичанку, но митрополит им отказал. Тогда дело поправили иначе гораздо легче и проще. Горю помог в этом случае один московский квартальный, указавший средство переписать оправославленную невесту снова в ее прежний еретический англиканизм. Секрет, сколько припоминаю, состоял в том, что паспорт англичанки с надписью о ее присоединении *утратили* и вытребовали ей новый, на котором никакой надписи о присоединении не было. Так ее и перевенчали как *будто англиканку*, хотя благодать православия на ней, разумеется, осталась и до сего дня. Но все-таки московских англичан Леонтьевского переулка все эти хлопоты сердили, и дядя Шкотт был, по его словам, «зол на архиереев» и дал слово не иметь с ними никаких дел. Однако нижеследующий случай заставил его нарушить это слово.

О местном п‹ензен›ском архиерее В‹арлааме› мы кое-что знали, но по преимуществу только смешное. Он отличался независимостью в расправе с подчиненными и вообще разнообразно чудесил. Так, например, он целую зиму клал у себя в спальной соборного протоиерея Она для того, чтобы отучить этого старичка от нюхания табаку даже в ночное время. Впрочем, некроло-

гисты этого архиерея говорят о нем разно, но в П‹ен›зе он слыл за человека грубого, самочинного и досадительного.

Мы им, разумеется, особенно нимало не интересовались, но тут нам захотелось посмотреть, не покажет ли он при настоящем случае какое-либо чудодейство? И вот мы с дядею Шкоттом вошли вслед за процессиею в церковь, конечно никак не ожидая, что его преосвященство постарается показать себя именно насчет одного из нас.

Когда мы вошли в церковь, недовольный путешествием архиерей жестоко шумел на кого-то в алтаре и покрикивал так интересно, что мы постарались подойти поближе и стали на левом клиросе. Царские врата были открыты, и до нас свободно долетали слова: «пес, дурак, болван», которые, кажется, главным образом выпадали на долю отца-настоятеля, но, может быть, по частям доставались и другим лицам освященного сана. Но вот, наконец, епископ, все обозрев и сделав все распорядки в алтаре, вышел на солею, у которой стояли ктитор и еще человека два-три не из духовных. Здесь же находилась и «матушка» отца-настоятеля, пришедшая просить его преосвященство на чай.

Преосвященный все супился и, раздавая всем

по рукам благословение, спрашивал каждого: «чей такой?» или «чья ты?» и раздав эти благословения, на низкий поклон и привет матушки ответил:

— Ступай, готовься, приду.

И затем он вдруг неожиданно обратился к нам, смиренно стоявшим на левом клиросе, и громко крикнул:

— А вы что? Чьи вы? Чего молчишь, старик?

Англичанин мой замотал головою, что у него обыкновенно бывало признаком неудовольствия, и неожиданно для всех ответил:

— А ты чего кричишь, старик?

Архиерей даже покачнулся и вскрикнул:

— Как? что ты такое?

— А ты что такое?

Шумливый епископ как будто совсем потерялся и, ткнув по направлению к нам пальцем, крикнул священнику:

— Говори: кто этот грубец? (sic)[75].

— Грубец, да не глупец, отвечал Шкотт, предупредив ответ растерявшегося священника.

Архиерей покраснел, как рак, и, защелкав по палке ногтями, уже не проговорил, а прохрипел:

---

[75] Примечания: 75
Так (*лат.*).

— Сейчас мне доложить, *что это* такое?

Ему доложили, что *это* А. Я. Шкотт, главноуправляющий имениями графов П‹еров›ских. Архиерей сразу стих и вопросил:

— А для чего он в таком уборе? но, не дождавшись на это никакого ответа, направился прямо на дядю.

Момент был самый решительный, но окончился тем, что архиерей протянул Шкотту руку и сказал:

— Я очень уважаю английскую нацию.

— Благодарю.

— Характерная нация.

— Ничего: хороша, отвечал Шкотт.

— А что здесь случилось, прошу покорно, пусть остается между нас.

— Пусть остается.

— Теперь же прошу к священнику: откушать вместе моего дорожного чаю.

— Отчего не так? отвечал дядя, я люблю чай.

— Значит, обрусели?

— Нет, значит чай люблю.

Преосвященный хлопнул дядю по-товарищески по плечу и еще раз воскликнул:

— Ишь, какая характерная нация! Полно злиться!

А затем он оборотился ко всем предстоявшим и добавил:

— А вы ступайте по своим местам.

И наговорившие друг другу комплиментов англичанин и архиерей долгонько кушали чай и закусывали «из дорожных запасов» владыки, причем его преосвященство в это время не раз принимался хлопать Шкотта по плечу, а тот, не оставаясь в долгу, за каждую такую ласку в свою очередь дружески хлопал его по стомаху. Оба они остались друг другом столько довольны, что на прощанье братски расцеловались, причем Шкотт так сильно сжал поданную ему архиереем руку, что тот сморщился и еще раз вскрикнул:

— Ох, какая здоровая нация!

Так все это мирно и приятно кончилось в мимолетном свидании этого архипастыря с англичанином, а между тем этого самого архиерея иные его современники представляли человеком и злым и желчным, да и позднейшие некрологисты не могут согласиться в его оценке. Я же более согласен с тем из них, который старается доказать, что преосвященный В‹арлаам› имел очень доброе сердце. По крайней мере я не вижу причины, которая не позволила бы мне заключить, что этот человек владел золотою способностью

делаться очень незлобивым, *если* чувствовал, что имеет дело с человеком, принадлежащим к «здоровой нации». А в таком случае очень возможно, что те, которым он казался неукротимым, вероятно, только не умели себя с ним держать. Не надо забывать старого правила: «кто хочет, чтобы с ним уважительно обходились другие, тот прежде всего должен уважать себя сам».

Мне кажется даже, что его преосвященство имел несколько высокий для русского человека идеал гражданского общества, и потому-то именно он и раздражался презренным низкопоклонством и лестью окружающих. Он хотел видеть людей более стойких и потому, встретясь с человеком «здоровой нации», сейчас же пришел в отрадное состояние удовлетворения. Если бы он ранее встречал подобное со стороны русских людей, то, наверно, и они могли бы привести его в такое же доброе расположение. И это, может быть, самый удачный вариант, которым, мне кажется, напрасно не воспользовался духовный апологет преосвященного В‹арлаама›.

Глава четвертая

Были также не раз высказываемы жалобы, будто архиереи порою обнаруживают *неодолимую* упорность в невнимании к жалобам прихожан на неудовлетворяющее сих последних приходское духовенство. Было говорено именно так, что упорство этого рода бывает *«неодолимо»*. Мне, с моей точки зрения, и это кажется преувеличенным, и я постараюсь представить на это пример в пользу моего мнения.

На этот раз мы будем вести речь об особе очень большой, особе, ездившей «на шести животных с двумя человеками на запятках», об особе, имевшей видную роль в истории, известной во всех родах литературы и во всех подвигах веры, не исключая строжайшего постничества.

Об этом владыке злые языки говаривали (что даже где-то было и напечатано), будто он «ел по одной просфоре, но целым попом закусывал». Эта злобная выходка так при нем и осталась. А между тем один маленький случай, который я хочу здесь рассказать, может свидетельствовать, что владыка едва ли имел приписываемый ему странный аппетит «целым попом закусывать».

И он, как увидим, иногда стоял за своих попов, и даже очень твердо.

У графини В‹исконти›, дочери известного партизана Дениса Давыдова, в свое время очень изящной и бойкой светской дамы, в одной ее М-ской деревне завелся не в меру деньголюбивый поп. Он притеснял крестьян графини до того, что те вышли из терпения и не раз уже на него жаловались, но или жалобы крестьян не доходили по назначению, или же у попа при владыке, как говорят, была «своя рука». Но как бы там ни было, а только приход никак не мог избавиться от своего грабителя. О том же, чтобы унять его нестерпимое корыстолюбие, не могло быть и речи, так он «в сем заматорел, будучи в летах преклонных».

Но вот приехала из-за границы навестить свои маетности графиня, обыкновенно постоянно проживавшая в Париже. Крестьяне тотчас же пали ей в ноги, умоляя ее сиятельство «стать за отца за матерь: ослобонить их от ворога», причем, разумеется, рассказали все, или по крайней мере многие, проделки «ненасытного» пастыря.

Графиня вскипела и позвала к себе «ненасытного», но тот не только не покаялся, а еще оказался искусным ответчиком и нагрубил барыне вволю.

Пылкая и тогда еще очень молодая дама сейчас же написала обо всем этом самое энергическое письмо владыке и была уверена, что его преосвященство непременно обратит внимание на ее справедливую просьбу, а может быть, даже и сам ей ответит с галантною вежливостью монсиньора Дарбуа. Но русский владыка, конечно, был не того духа, как архиепископ парижский. Наш владыка был обременен безмерною мудростью, тяжесть которой не позволяла ему быть скороподвижным, а внимательностью к просьбам он никого не баловал. Будучи мудр от младых ногтей, он, по преданиям, еще в юности употреблял поговорку: «скорость потребна только блох ловить». Он не делал исключения даже для спасения утопающих, где тоже «потребна» скорость. Тяжелая медлительность этого Фабия Кунктатора была чертою его расчетливого и осторожного характера, а теперь ее, кажется, хотят сделать даже стимулом его святости.

Судя по отзывам панегиристов покойного, можно думать, что он не изменил бы этому своему правилу даже в том случае, если бы миру угрожал новый потоп и от его преосвященства зависело бы заткнуть дыру в хлябях небесных. Он и тогда не ускорил бы движение перста, и тогда продол-

жал бы в самоуглублении созерцать

…вдали козни горького зла,

Тартар, ярящийся пламень огня, глубину вечной ночи,

Скрытое ныне во тьме, явное там в срамоте.[76]

Некто, знавший его более других, сказал, что владыка был «прежде всего и после всего *монах*», и притом самый строгий, *«истовый»* монах, ставивший свой аскетизм выше всех своих обязанностей духовного администратора. И вот с этакою-то нерушимою скалою аскетизма предстояло вступить в состязание молодой, красивой женщине, полупарижанке, избалованной своими успехами в свете, где поклонялись ее веселому остроумию, красоте и очень оригинальной независимости характера.

Бой мог быть интересным, но с первого же шага обещал быть неравным. Владыка не отвечал графине: он или совсем не удостоил внимания ее письмо, или же ее хлопоты о каких-то притеснениях, чинимых попом каким-то крестьянам,

---

[76] Примечания: 76

«Увещательная песнь св. Григория Богослова», стихотворный перевод митрополита Филарета Дроздова. (*Прим. автора.*)

казались ему «суетными». А может быть, и самое нетерпение крестьян представлялось ему «малодушеством», к которому он стоически относил все человеческие скорби и несчастия. Но графиня, привыкшая к иному с нею обхождению, обиделась и послала его преосвященству другое письмо, за другим третие, четвертое, пятое, десятое… Владыка все не отвечал ни одним словом, и ни о каком распоряжении к удовлетворению просьбы графини вести не было.

Не оставалось сомнения, что владыка так и преодолеет даму, покрыв пыл ее светского негодования своим молчаливым безучастием «истового монаха».

Но на этот раз нашла коса на камень. Оскорбленная невниманием владыки, графиня не хотела ему «подарить» этого, и, как только приспел час ее отлету с милого севера к своим сезонным удовольствиям в Париж, она призвала безутешных крестьян и дала им слово «сама быть у владыки и не уйти от него до тех пор, пока поп будет смещен».

Крестьяне откланялись графине на ее ласковом слове, но едва ли верили в возможность его исполнения.

Судьба, однако, определила иначе.

Графиня повела дело своих крестьян с свойственною ей энергиею и нетерпеливостью. Она и мысли не допускала, чтобы это смело задержать ее в городе более трех-четырех часов, которые она могла пожертвовать крестьянам в ожидании поезда, приближавшего ее к границе. Поэтому она тотчас же с дороги переоделась в черное платье и в ту же минуту полетела к владыке.

Время было неурочное: владыка *никого* не принимал в эти часы, но келейник, очутясь перед такою ослепительною в свою пору дамою, с громким титулом и дышащим негодованием энергическим лицом, оплошал и отворил перед ней двери.

Ей только и надо было.

Графиня смело взошла в зал и, сев у стола, велела «*попросить* к себе владыку».

— Попросить!.. Келейник только руки развел… Будто же так говорят! но гостья стояла на своем: «сию же минуту *попросить к ней* владыку, так как она приехала к нему *по делу церкви*».

— По церковному делу пожалуйте завтра, — упрашивал ее шепотом келейник.

— Ни за что на свете: я сейчас, сию минуту должна видеть владыку, потому что мне некогда; я через полтора часа уезжаю и могу опоздать

на поезд.

Келейник увидал спасение в том, что графиня не может долго ожидать, и с удовольствием объявил, что теперь владыку решительно нельзя видеть.

— Это ложь, он меня примет, Я требую, чтобы вы сейчас обо мне доложили.

— Помилуйте, спросите у кого угодно, принимает ли кого-нибудь владыка в эти часы? и вы изволите убедиться…

— Нет, это вы изволите убедиться, что вы говорите ложь! Сейчас прошу обо мне доложить, или вы увидите, как я сумею вас заставить делать то, что составляет вашу обязанность.

— Воля ваша, но я не могу.

— Не можете?

— Не могу-с, не смею.

— Хорошо!

С этим графиня быстро поднялась с места, сбросила с плеч мантилью и, подойдя к висевшему над столом зеркалу, стала развязывать ленты у своей шляпки.

Келейник смешался и уже умоляющим голосом заговорил:

— Что это вам угодно делать?

— Мне угодно снять мою шляпу, чтобы было

спокойнее, и терпеливо ожидать, пока вы пригласите ко мне вашего владыку.

— Но я… извините… я не имею права вас здесь оставить…

Но на это графиня уже совсем не отвечала: она только обернулась к келейнику и, смерив его с головы до ног презрительным взглядом, повелительно сказала:

— Отправляйтесь на свое место! Я устала вас слушать и хочу отдыхать.

— Отдыхать?!

Послушник совсем опешил: сатаны в таком привлекательном и в то же время в таком страшном виде он еще не видал во всю свою аскетическую практику, а графиня между тем достала бывший у нее в кармане волюмчик нового французского романа и села читать.

Что бы решился предпринять еще далее против этого наваждения неопасливый келейник, это неизвестно. Но, к его счастью, затруднительному его положению *поспешил* на помощь сам дипломатический владыка.

По рассказу графини, только что она раскрыла свою книгу, как келейник стих, а в противоположном конце зала что-то *зашуршало*.

— Я — говорит графиня, — догадалась, что это,

может быть, *сам он* идет на расправу с моим сорванством, но притворилась, что не замечаю его появления, и продолжала смотреть в книгу. Это его, конечно, немножко затрудняло, и я этим пользовалась. Он не дошел до меня на кадетскую дистанцию, то есть шагов на шесть, и остановился. Я все продолжаю сидеть и гляжу в мою книгу, а сама вижу, что он все стоит и тихо потирает свои как будто зябнущие руки… Мне стало жалко старика; и я перевернула листок и как бы невзначай взглянула в его сторону. Посмотрела на него, но не тронулась с места, делая вид, как будто я не подозреваю, что это сам он. Это было для меня тем более удобно, что он был в одной легкой ряске и каком-то колпачке.

Увидав, что я смотрю на него (продолжаю словами графини), он пристально вперил в меня свои проницательные серые глазки и проговорил мягким, замирающим полушепотом:

— Чем могу вам служить?

— Мне нужно видеть владыку, — отвечала я, по-прежнему не оставляя своего места и своей книги.

— Я тот, кого вы желаете видеть.

— А, в таком случае я прошу у вашего высокопреосвященства благословения и извинения, что

я вас так настойчиво беспокою.

И, бросив на стол свой волюм, я подошла под благословение: он благословил и торопливо спрятал руку, как бы не желая, чтобы я ее поцеловала; но на мое извинение не ответил ни слова, а продолжал стоять столбушком.

«О, нет же, — подумала я себе, — так в свете не водится: объяснение в подобной позиции мне неудобно», и я, отодвинув от стола свое кресло, пригласила его преосвященство сесть на диван.

Он моргнул раза два глазами и проговорил:

— Я вас слушаю.

— Нет, — отвечала я, — вы извините меня, владыко: я не могу так с вами говорить. Это неудобно, чтобы я сидела, а вы меня слушали стоя. Усердно вас прошу присесть и сидя меня выслушать.

При этом я, как бы опасаясь за его слабость, позволила себе подвести его за локоть к дивану.

Он не сопротивлялся и сел на диван, а я на кресло.

Мы оба, казалось, были изрядно взволнованы — я его невниманием, а он моим нахальством, и оба несколько времени молчали.

Я начала первая и, скоро овладев собою, рассказала ему, кажется, о всех главнейших обидах, какие терпят от его попа мои крестьяне; я проси-

ла во что бы то ни стало взять от нас этого обиралу и дать вместо него в мое село лучшего человека.

Во время всего моего рассказа я наблюдала владыку и видела, что он решил себе ни за что не исполнить моей просьбы. И тут моя врожденная отцовская вспыльчивость сказалась во мне до того решительно, что я способна была наговорить ему таких вещей, о которых, конечно, сама после бы жалела. Но я собрала все свои силы и ждала ответа, который последовал поспешно и, по моим понятиям, в высшей степени возмутительно.

Он опять начал потирать свои руки, взмахнул веками, а потом опять их опустил и опять взмахнул, и тогда только заговорил с медлительными расстановками:

«Я получил… ваши письма…»

Воспользовавшись первою паузою, я заметила, что «сомневалась в судьбе моих писем и очень рада, что они дошли по назначению». А в сущности это меня еще более бесило.

— Да, они дошли, — продолжал он, — я опасаюсь, что вы вовлечены в заблуждение…

— О, будьте покойны, владыко, я не заблуждаюсь: все, что я вам писала и что теперь говорю, это сущая правда.

— На духовенство… часто клевещут.

— Очень может быть, но я сама была свидетельницею многих поступков этого нечестного человека.

При словах «нечестный человек» владыка опять взмахнул веками и, остановив на мне свои серые глаза, укоризненно молчал. Но видя, что я смотрю ему в упор, и, может быть, заметив, что во мне хватит терпения пересмотреть и перемолчать его, он произнес:

— И при собственном видении… все еще возможна… ошибка.

— Нет, извините, владыко, я знаю, что в том, о чем я вам говорю, нет ошибки.

Он опять замолчал и потом произнес:

— Но я должен быть… в этом удостоверен.

— Что же вам угодно будет считать достаточным удостоверением?

— Я велю спросить благочинного… и тогда распоряжусь.

— Но это будет не скоро, и, вы простите меня, я не думаю, чтобы благочинный, его родственник, был более достоверным свидетелем, чем я, дочь человека, известную правдивость которого ценил государь, или чем мои крестьяне, страдающие от попа-лихоимца.

От последнего слова владыка пошевелился и,

как бы желая встать, прошептал:

— Я чту память вашего родителя, но… дела должны идти в своем порядке.

— Так дайте хотя средство унять его как-нибудь, пока это дело будет переходить свои несносные порядки! — сказала я, чувствуя, что более не могу, да и не хочу владеть собою…

— Прикажите сказать ему… моим именем, что мне… о нем доложено.

— Для него ничего не значит ваше имя.

Владыка остановил свои ручки, но терпеливо ответил:

— Это… не может быть.

— Нет, извините: я не приучена лгать, и если я вам это говорю, то это именно так и есть. Я ему давно говорила, что буду вам жаловаться, но он отвечал: «Владыка нам ни шьет, ни порет, а нам пить-есть надо».

И только что я это проговорила, как тихий голос владыки исчез и угасший взгляд его загорелся: он пристально воззрился на меня во все глаза и, точно вырастая с дивана, как выдвижной великан в цирке, произнес звучным, сильным и полным голосом:

– Он вам это сказал?!

— «Да», — отвечала я, — он сказал: «владыка

нам ни шьет, ни порет…»

И не успела я повторить всей фразы, как в дрожащей руке владыки судорожно зазвенел серебряный колокольчик, и… я через полчаса могла со станции железной дороги послать в деревню известие, что корыстолюбивый поп от нас уже взят.

Этот незначительный случай, я думаю, может показать, с одной стороны, что наши владыки очень осторожны в своих расправах с духовенством и склонны к решительным мерам только тогда, когда узнают о недостатке субординационной почтительности в иерархии. С другой же стороны, отсюда можно видеть, что при всей прозорливости наших епископов, каковою, по мнению многих, особенно отличался сейчас упомянутый святитель, и они, эти высокоблагодатные люди, все-таки могут погрешать и быть жертвами своей доверчивости. Так это и случилось в рассказанном мною случае. Корыстолюбивый поп, виновный во множестве дурных поступков, не виноват был только в том, что ему навязала приведенная в азарт графиня: *он никогда не говорил погубивших его слов, что «владыка ему ни шьет, ни порет»*.

Глава пятая

Однако, если бы предшествовавший случай был поставлен в вину владыке, который так незаметно попал в женские сети, то не надо забывать, что этих опасных сетей иногда не избегали даже и такие святые, которые творили чудеса еще заживо. Но зато у нас известны и другие епископы, которых никакие жены не могли уловить в свои сети. Один из таковых, например, достойный Иоанн Смоленский, о котором ходит следующий анекдот.

Вскоре по прибытии его в Смоленск, даже едва ли не после первой совершенной им там службы, две местные «аристократки» пожаловали в его приемную и приказали о себе доложить.

Архиерей между тем уже успел снять рясу и сел с стаканом чая к своему рабочему столу, на котором, вероятно, написаны многие из его вдохновенных и глубоких сочинений.

Услыхав доклад о посетивших его дамах, Иоанн удивился их желанию его видеть и, не оставляя своего места, приказал докладчику спросить их, что им нужно.

Тот вышел и через минуту возвратился с отве-

том, что дамы пришли «за благословением».

— Скажи им, что я сейчас всех благословил в церкви.

Келейник пошел с этим ответом, но опять идет и докладывает, что «дамы желают особо благословиться».

— Скажи им, что моего одного благословения на всех достаточно.

Келейник пошел разъяснять беспредельность расширяемости архиерейского благословения, но снова идет назад с неудачею.

— Требуют, говорит, чтобы их *особенно благословили*.

— Ну, скажи им, что я их и особо благословляю и посылаю им это мое особое благословление чрез твое посредство.

Но келейник пошел и опять возвращается.

— Они, — докладывает, — и теперь не уходят.

— Чего же им еще нужно?

— Говорят, что желают поучения.

— Попроси извинить, я устал, а поучение им в церкви скажу.

Но келейник опять возвращается.

— Еще что? — спрашивает епископ.

— Недовольны, говорят: «мы для домашней беседы пришли».

Преосвященный, продолжая оставаться за рабочим столом, протянул руку к полке, на которой у него складывались получаемые им газеты, и, взяв два нумера «Домашней беседы» г. Аскоченского, сказал келейнику:

— Дай им поскорее «Домашнюю беседу» и скажи, что я тебе не позволяю мне о них более докладывать.

Дамы удалились и никогда более не возвращались для домашней беседы с епископом, который зато с этой поры стал слыть у некоторых смолян нелюдимым и даже грубым, хотя он на самом деле таковым не был. По крайней мере люди, знавшие его ближе, полны наилучших воспоминаний о приятности его прямого характера, простоты обхождения, смелого и глубокого ума и настоящей христианской свободы мнений.

Повторяемый же в рассказах о нем вышеприведенный анекдот с двумя смоленскими дамами, кажется, нет нужды относить к *нелюдимству* покойного епископа. Его, может быть, скорее надо отнести к тому чувству, какое должны были возбуждать в этом умном человеке праздные докуки так называемых «архиерейских барынь», которые, к сожалению и к унижению своего пола, еще и до сих пор в изобилии водятся повсюду,

где есть владыки, склонные напрасно баловать таких особ своим вниманием и тем поощрять и развивать в них суетность, не распознающую благочестия от святошества.

Этот анекдот также должен относиться не к укоризне нашим епископам, а, напротив, к похвале их проницательности, и он, по моему мнению, прекрасно поясняет собою анекдот о приеме, которого достигла графиня В‹исконти›. Смоленские дамы, докучавшие епископу, так сказать, по ханжеской *рутине*, встретили твердый отпор и были отосланы к «Беседе» г. Аскоченского, а графиня В‹исконти›, настойчиво действовавшая *по вдохновению*, была принята и удовлетворена, как требовало дело.

Кто бы что ни говорил, но такая способность отстранить с твердостью мертвящую рутину и отдать должное живому вдохновению, конечно, говорит в пользу, а не во вред того высокого представления, какое нам приятно иметь о наших иерархах, положение коих часто бывает очень трудно и очень неприятно. В обществе этого и не воображают, потому что в обществе не знают множества тягостных мелочей архиерейского обихода.

Глава шестая

Дамы, даже очень благочестивые, не исключая принявших сан «ангельский», имеют удивительную способность доводить наших святителей до прегрешений, которых те, по своей известной солидности, конечно, ни за что бы без женской докуки не сделали. Так, например, о покойном «русском Златоусте» Иннокентии Таврическом (Борисове) известно, что он был человек не только умный и даровитый, но и до того свободомысленный, что, бывши киевским ректором, прощал и покрывал грубые кощунственные выходки В. И. Аскоченского, а в письмах своих к Максимовичу, даже прежде Флуранса, вступался за «душу бедных животных». Анекдотов о его либерализме было много и они достоверны, хотя добрая их половина свидетельствует, что этот замечательный человек был несвободен от некоторого, в

своем роде хлыщеватого фатовства.[77] Однако все это можно совместить и помирить с многосторонностию увлекавшейся художественной натуры Иннокентия. Но вот чему совершенно трудно поверить, это что высокопросвященный либерал Иннокентий мог хоть раз в жизни драться, и притом драться весьма демократически, сердитее и азартнее прославившегося в этом деле Смарагда или блаженной памяти уфимского Августина, который, говорят, бивал архимандрита Филарета Амфитеатрова, бывшего впоследствии киевским митрополитом. И что же: кто довел до такого поступка нашего даровитейшего витию Иннокентия? Женщина, и вдобавок инокиня, и даже игуменья.

Один сотрудник преподобного Иннокентия по переводу богослужебных книг на зырянский язык рассказывал мне и многим другим следующую энергическую расправу «русского Златоуста». Владыка Иннокентий служил как-то в вологод-

---

[77] Примечания: 77

Так, например, едва ли многие знают, что изумлявшая современников разносторонность сведений знаменитого Иннокентия часто почерпалась им на краткосрочное подержание из карманной французской «Энциклопедии мыслей». «Русский Златоуст», отправляясь куда-либо, где ему предстояло блеснуть, подготовлялся по этой книжке, которая, говорят, и найдена в столе преосвященного после его смерти. «Воспитаньем, слава богу, у нас немудрено блеснуть». (*Прим. автора.)*

ском или в устюжском женском монастыре, сестры которого вместе с своею игуменьею поднесли ему за это довольно ценный образ. Зная скудость средств бедной обители, Иннокентий не захотел принять этого ценного и притом ему совершенно ненужного подарка. Он усердно поблагодарил мать игуменью и сестер, но икону просил их оставить у себя. Верно, он думал, что они найдут как-нибудь средство реализировать произведенные на нее затраты: поступок, конечно, благоразумный и вполне достойный памяти Иннокентия. Послушайся благочестивые сестры обители своего доброго и рассудительного архипастыря — все бы прекрасно и обошлось. Но им это пришлось не по обычаю, и они-таки доставили образ в архиерейский дом, где одна из именуемых петровским регламентом «несытых архиерейских скотин» за известную мзду взялась передать тот образ владыке и якобы это и исполнила. Благочестивые сестры добились своего и успокоились.

Прошло немало времени; владыка занимается своими учеными трудами и сверяет с сотрудником зырянские книги, как вдруг однажды ему понадобился его келейник, который, как на грех, на ту пору отлучился и не явился по владычному

зову. Сотрудник хотел пойти и позвать его, но скорый Иннокентий предупредил и сам прошел в келейницкую, где думал застать своего служку спящим. Но келейника он тут не нашел, а зато нашел на его стене знакомый образ, сооружения сестер вологодской обители. Владыка вскипел и, призвав келейника, сию же минуту *избил* его не только руками, но и *ногами.* Раздраженный епископ бил взяточника до изнеможения сил и, престав от сего делания, сейчас же послал сию самую «несытую скотину» отнести игуменье образ, которым эта назойливая женщина, по своему непослушанию и упрямству, довела своего владыку до такого гнева, что он, по словам очевидца, «несмотря на свой досадительно малый рост, являл энергию и силу Великого Петра».

Поступок, конечно, горячий и не архипастырский, но не нужно и не должно забывать, что все это происходило в оные, относительно недавние, времена, когда считалось неблаговидным, чтобы духовный правитель имел у себя даже для чистки сапог и других домашних услуг простого наемного человека, который удобнее тем, что он привычнее к лакейскому делу и не пользуется в глазах невежд авторитетом лакея монашествующего. Тогда архиерей непременно должен был

терпеть при себе если не ту, так другую «несытую скотину», облеченную в долгую одежду и препоясанную по чреслам поясом усменным. Этого требовал закорузлый этикет владычных домов, об упразднении которого, впрочем, еще и поныне скорбят иные ханжи и пустосвяты.

Теперь все это уже отошло в область минувшего: нынче уж не слыхать, чтобы архиереи дрались; вероятно, они не дерутся, да и не будут драться.[78] И в этом опять нельзя не видеть их важного преимущества перед всеми обыкновенными смертными: обыкновенные люди на Руси, по общим приметам, посмирнели со временем введения мировых учреждений, говоря простым языком, они «испугались мирового», но архиерею мировой не страшен. Если бы случилось, что нынче кого-нибудь прибил бы архиерей, то побитый напрасно пошел бы жаловаться к мировому мировой архиерею не судья. Архиерей превыше суда мирского и потому страхов его не страшится

[78] Примечания: 78

Слова эти, к крайнему моему удивлению, вызвали самое неожиданное опровержение из Москвы, где, как нарочно, на этот грех один из тамошних святителей в октябре месяце 1878 г. «избил в кровь какого-то монаха, отца Меркурия». Такая опрометчивость с моей стороны поставлена газетами мне на вид («Новости», 4 ноября 1878 г., № 282), и я должен повиниться, что никаких оправданий принести не могу. Я думал, что архиереи не будут более драться, но вышло, что я ошибся. (*Прим. автора.*)

и не боится.[79] Всеобщий русский укротитель, наш мировой, несомненно не укрощал ни одного архиерея архиерей сам себя укротил и засмирел. Отчего же это! Что так благодетельно подействовало на архиерейские нравы? Некоторые указывают как на причинное в этом событие на соборную историю калужского епископа Григория, которого кинулся бить недовольный им дьячок. Но это, очевидно, такое же случайное происшествие, как и другая соборная история киевская, когда была провозглашена анафема епископу Филарету Фларетову (впоследствии епископу рижскому), и третья история в петербургском соборе с викарием Добронравиным, в которого был брошен камень. Все это происшествия чисто случайного характера, каковые бывали и прежде, но на архиереев не производи-

[79] Примечания: 79

Происшествие с московским о. Меркурием это подтвердило. О. Меркурий, как писано о нем, не нашел никакой справы на избившего его святителя. Известие это в органе Св. Синода, сколько я знаю, не опровергнуто. (*Прим. автора.*)

ли нынешнего отрадного влияния[80]. А потому в заметном нынешнем самоукрощении особ этого сана, я думаю, нельзя считать виновниками раздражительных маньяков, возглашающих архиереям анафемы или мечущих в них камни. Мне кажется, что, может быть, гораздо основательнее видеть здесь влияние общего *духа времени*, который, как бы он кем ни понимался и ни истолковывался, но, по прекрасному выражению И. С. Тургенева, оказывает на всех неодолимое давление, побуждая всякое величие *опрощаться*. Правда, что некоторые из особ гражданских и военных до сих пор еще как бы этого не чувствуют и, опять по выражению того же Тургенева, продолжают в военном генеральстве «хрипеть», а в статском «гундосить»: но архиереев и нельзя ставить с этими на одну доску; так как между архиереями, несмотря на их владычное своенравие, всегда были и есть люди по преимуществу умные,

---

[80] Примечания: 80

Охотники видеть во всякой такой случайности что-то «систематическое» забывают харьковский случай, когда анафему архиерею хватил посреди собора в день православия его же соборный протодиакон. Но тут систематического было только то, что прежде чем хватить анафему своему архиерею, отец протодиакон хватил дома что-то другое, без чего будто бы этим особам «нельзя выкричать большое служение». Епископ Филарет Гумилевский (историк церкви), которого это всех ближе касалось, однако, очевидно, не считал это ни за что систематическое: он хотя и наказал виновного, но не строго и не мстительно. (*Прим. автора.*)

и потому нимало не удивительно, что направление времени ими почувствовано сильнее, чем другими. Тот бы глубоко заблуждался, кто хотел бы настаивать, будто архиереи изменились поневоле и с напуга. У них не может быть никакого напуга. Живой русский такт, присущий этим людям, выросшим на русских поповках и погостях, дает им верную оценку всяких событий, в которых, несмотря на их порою заносчивый характер, нет ничего способного напугать настоящего русского человека, знающего Русь, как она есть. Нет, архиереи *опростились* просто потому, что все живое и все желающее еще жить теперь опрощается, по неодолимому закону событий, которых никакие тайные гундосы не могут ни остановить, ни направить по иному направлению. Так называемый *престиж* потерялся в заботах тяглой жизни, и его не только не для чего искать, но даже и не у кого более искать. Даже те, которые были окутаны этим *престижем* с ног до головы, и тем «сие оружие оскудеша вконец». Остается еще какое-то русско-татарское кочевряженье, но и оно уже никому не внушает ни почтения, ни страха. «Жизнь по выражению поэта (И. С. Никитина) — изнывает в заботе о хлебе».

Русь хочет *устраиваться, а не великатитъся*,

и изменить ее настроение в противоположном духе *невозможно.* Кто этого не понимает, о том можно только *жалеть*…

Понимать свое время и уметь действовать в нем сообразно лучшим его запросам это не значит раболепствовать воле масс; нет, это значит только чувствовать потребность «одной с ними жизнью дышать и внимать их сердец трепетанью». И наши лучшие архиереи этого хотят.

Откидывая насильственно к ним привитой и никогда им не шедший византийский этикет, они сами хотят *опроститься* по-русски и стать людьми народными, с которыми по крайней мере отраднее будет ждать каких-либо *настоящих* мер, способных утолить нашу религиозную истому и возвратить изнемогшей вере русских людей дух животворящий.

Затем снова продолжаем передвигать нашу портретную галерею, открывая новое ее отделение лицами иного «благоуветливого» характера.

Глава седьмая

Самая неукротимая, желчная раздражительность оных «бывых» епископов никак не может быть строго осуждаема без внимания к некоторым тяжким условиям их, по-видимому, счастливого и даже будто бы завидного положения. Теперь, когда, благодаря новому порядку вещей, в судах резонно и основательно ищут снисхождения, а иногда и полного оправдания преступных деяний, совершенных в состоянии болезненного раздражения, вызванного ненормальностию функций организма, несправедливо и жестоко было бы не применить этого, хотя в некоторой степени, к людям, осужденным вести жизнь самую вредную для своего здоровья, от которого, по уверениям ученых врачей, весьма много зависит и расположение духа и сила самообладания.

Я смею думать, что такое внимание было бы со стороны общества только справедливостью, в которой оно не должно отказывать никому, в каком бы он ни находился звании. И причину думать таким образом я имею на основании слов одного очень умного и прямодушного архиерея, о котором мы сейчас будем беседовать.

Но прежде скажу два слова о нелепом представлении, существующем у многих людей, о так называемом «архиерейском счастии» и о «привольностях владычной жизни», которая на самом деле гораздо тягостнее, чем думают.

Надо признаться, что русские миряне, часто ропща и негодуя на своих духовных владык, совсем не умеют себе представить многих тягостей их житейской обстановки и понять значение тех условий, от которых владыки *не могут освободиться*, какова бы ни была личная энергия, их одушевляющая. Так называемые «светские люди» видят только одну сторону епископского житья так сказать, «казовый его конец», а никогда не промеряли всей материи. В некоторых мирских кружках, где суждения особенно неразборчивы, но смелы, считают «архиерейское житьё» верхом счастия и блаженства. Простолюдины, например, говорят обыкновенно о том, «какие важные рыбы архиереи едят и как, поевши, зобов не просиживают». А между тем какая мука и досада хоть бы с этим «счастием» «есть» и съеденного «не

просиживать»[81].

Один из наших молодых епископов, известный уже своими литературными трудами, усердно возделывал сад при своем архиерейском доме. Гостя лето в том городе и часто посещая его преосвященство, я почти всегда заставал его или за граблями, или за лопатой и раз спросил: с каких пор он сделался таким страстным садоводом?

— Ничуть не бывало — отвечал он, — я вовсе не люблю садоводства.

— А зачем же вы всегда трудитесь в саду?

— Это по необходимости.

Я полюбопытствовал узнать: по какой необходимости?

— А по такой, — отвечал он, — что с тех пор, как учинившись архиереем, я лишен *права двигать-*

---

[81] Примечания: 81

Впрочем, в самом сказании об архиерейских рыбах тоже немало преувеличенного и даже баснословного. Так, например, рассказывают в народе, будто на «коренную» ярмарку (под Курском) съезжаются архиерейские повара и отбирают для своих владык «всю головку», то есть весь первый сорт проковой копченой и вяленой рыбы, преимущественно белужьего и осетрова балыка; но, разумеется, все это вздор. Встарь, говорят, что-то такое бывало, но уже давно минуло. Встарь, как видно из записок Гавр. Добрынина, между архиереями действительно бывали не только любители, но и знатоки тонкого рыбного стола; но в наше время и этот след иноческого аристократизма исчез. Нынешние епископы плохие гурмандисты: настоящий архиерейский вкус к тонким рыбам у них утрачен, и, живя по простоте, они и кушать стали простую, но более здоровую пищу, какую вкушают все люди здравого ума и скромного достатка. Дорогие рыбные столы у архиереев теперь бывают редко, и то только для дорогих гостей, сами же они, в своем

уединении, рыбы себе не заготовляют, а кушают большею частию одно… грибное. Некоторые епископы теперь даже берут для себя стол попросту из кухмистерских, где питается всякий «разночинец». (*Прим. автора.*)

ся, то начал страдать невыносимыми головными болями; жирею, как каплун, и того и гляжу, что меня кондрашка стукнет.

Взаправду: кто из всех смертных, не исключая даже колодников, может считать себя лишенным такого важного и необходимого права, как *«право двигаться»?* Кажется, никто… кроме русского архиерея. Это его ужасная привилегия: *ему нельзя выйти* за ворота своего двора, а позволяется только *выехать*, и то не на одном и даже не на двух, а непременно на четырех животных, да еще, пожалуй, под трезвон колоколов.

Надо пожить в таком положении, чтобы понять, до чего оно тягостно и как вредно оно отзывается на всем организме. Сколько сил и способностей, может быть, погибло жертвою одной этой привилегии? И как тяготятся этою привилегиею многие из тех, которым завидуют люди, считающие блаженством «есть и не просиживать зоба».

Мой родной брат, довольно известный врач, *специалист по женским болезням*, живет в г. Киеве, в собственном доме; бок о бок с Михайловским монастырем, где имеет пребывание местный викарный епископ. По своей акушерской практике брат мой никаких сношений с своими черными

соседями не имел и не надеялся практиковать у них, но вот однажды темною осеннею ночью (несколько лет тому назад) к нему звонится монах и во что бы то ни стало просит его поспешить на помощь к преосвященному Порфирию.[82]

Доктор подумал, что монах ошибся дверями, и приказал слуге разъяснить иноку, что он врач-акушер и для епископа не годится. Но слуга, вышедший к монаху с этим ответом, возвращается назад и говорит, что монах не ошибся, что он именно прислан к моему брату, которого владыка просит прийти как можно скорее, потому что ему очень худо.

— Что же такое с ним? — спрашивает доктор.

— Очень худо, говорит, в животе что-то разнесло.

«Ну, — думает акушер, — если дело в животе, так это уже недалеко от моей специальности», и пошел, как всегда ходит к требующим его помощи, с мешком своих акушерских снастей и снарядов. Мы было отсоветовали ему не заносить в монастырь этого духа, но он не послушался.

— Надо взять, — говорит, — я без них как без рук.

---

[82] Примечания: 82

Пр. Порфирий Успенский, известный писатель о Востоке. Скончался в Москве на покое. (*Прим. автора.*)

И он отлично сделал, что настоял на своем.

Возвращается он назад перед самым утром, с ароматною сигарою в зубах, и смеется. Расспрашиваем его: где был?

— Да, действительно, — говорит, — был у архиерея.

— А кому же ты у него помогал?

— Да ему же и помогал.

— Неужели, — спрашиваем, — и инструменты недаром брал?

— Да, — говорит, — одна инструментина пригодилась, и рассказывает вообще следующее.

— Прихожу, говорит, в спальню и вижу архиерей лежит и стонет:

— Ох, доктор! как вы медлите… мне худо.

Я ему отвечаю: «Извините, владыка, ведь я акушер и лечу специально одних женщин».

А он говорит:

— Ах, полноте, пожалуйста: есть ли когда теперь это разбирать, да у меня, может быть, и болезнь-то женская.

— Что же у вас такое?

— Брюхо вспучило совсем задыхаюсь.

— И вижу, — говорит доктор, — он действительно так тяжело дышит, что даже весь побагровел и глазами нехорошо водит; а в брюхе, где ни по-

стучу, все страшно вздуто.

— У вас, — говорю, — все это газами полно и ничего более.

— Да я и сам, — отвечает, — думал, что в ином-то ни в чем вы меня не обличите, а только помогайте.

— Желудок надо скорее очистить, — сказал доктор.

— И не трудитесь: все напрасно: одеревенел и не чистится.

И архиерей назвал самые сильнейшие слабительные, которые он (сам изрядный знаток медицины) употреблял, но все бесполезно.

— Худо, — молвил акушер.

— Да-с, — отвечал епископ, совсем весь свой аппарат испортил. Хоть ничего не ешь и не пей, а все его не убережешь в этой нечеловеческой жизни. Но теперь… умоляю… хоть какую-нибудь струменцию, что ли, в ход пустить, только бы полегчало.

Тут-то и пригодилась инструментина из акушерского ридикюля, а после принесенного ею быстрого облегчения настал приятный разговор, начавшийся с того, что врач сказал облегченному святителю, что он ему не будет ничего прописывать, потому что болезнь его не от случайной

неумеренности, а от недостатка воздуха и движения, но что состояние его, обусловливаемое этими причинами, очень серьезно и угрожает его жизни.

— Ах, я с вами согласен, — отвечал пр. Порфирий. Но что же вы мне посоветуете?

— Больше ходить по воздуху, преимущественно по горкам, которых у нас так много.

— Как же, как же… прекрасно; да еще бы, может быть, часа полтора в сутки верхом на коне поездить?

— Это бы очень полезно.

— Сядьте же, дорогой сосед, поскорее к моему столу и напишите мне все это, по старой формуле, cum deo[83].

— Зачем же это писать, когда я вам это так ясно сказал.

— Да мало ли что вы мне сказали. Я и сам без вас все это знаю. Нет, а вы мне это напишите, а я попробую в синод просьбу послать и приложу ваш рецепт: не разрешат ли мне, хоть *ради спасения жизни, часа два в день по улицам пешком ходить?* Но нет, впрочем, не хочу вас напрасно и затруднять, не пишите. И Св. Синод мне такой

---

[83] Примечания: 83
С Богом (*лат.*)

льготы не разрешит, да и благочестивые люди мне не дадут пешком ходить: все под благословение будут становиться. Другое бы дело верхом ездить, я это и люблю, и когда-то много на Востоке на коне ездил, и тогда никаких этих припадков не знал, но на Востоке наш брат счастливее, там при турках проще можно жить и свободнее можно двигаться.

— Ну, вы бы, — говорит доктор, — как-нибудь у себя дома устроили себе моцион.

— Летом, когда сад открыт, я хожу по саду. Хоть и скучно все по одному месту топотать, но топочу. А вот как придет осень с дождями, так и сел. Куда же в топь-то лезть? А на дворе на мощеные дорожки выйти опять благословляться пристанут. И сижу в комнате. Зима, все дни дома, и весь весенний ранок тоже дома. Вот вы и посчитайте: много ли архиерею по воздуху-то можно ходить?

— У вас по монастырскому двору зимою дорожки есть?

— Как же, есть; только мне-то по ним ходить нельзя.

— Отчего же?

— Сан велик ношу: монахи будут стесняться со мною гулять, да и мне, скажут, непристойно с ними панибратствовать; а потом благочестив-

цы прознают, что архиерей наружи ходит, за благословением одолеют. Словом, беспокойство поднимется: даже мой монастырский журавль и конюшенный козел, которые нынче имеют передо мною привилегию разгуливать по той дорожке, и они почувствуют стеснение от моего появления на воздух. Какой же вы мне иной, более подвижный образ жизни можете указать?

Врач развел руками и отвечал:

— Никакого.

— А вот то-то и есть, что никакого. Я давно говорю, что мы, архиереи, самые, может быть, беспомощные и даже совсем пропащие люди, если за нас медицина не заступится.

— Медицина? — повторил врач, — ну, ваше преосвященство, вряд ли вы от нас этого дождетесь.

— А почему?

— Да ведь мы не набожны… Скорее набожные люди пусть за вас заступятся.

— Так-то и было! Эк вы куда хватили! набожные-то это и есть наши губители. Перед ними архиерей, наевшись постной сытости, рыгнет, а тот это за благодать принимает говорит, будто «душа с богом беседует», когда она совсем ни с кем не беседует, а просто от тесноты на двор просит-

ся! Нет! медицина, государь мой, одна медицина может нас спасти, и она тут не выйдет из своей роли. Медицина должна нами заняться не для нас и не для благочестия, а для обогащения науки.

— Какую же услугу может оказать медицине занятие архиереями? Это очень интересно.

— Очень интересно-с! Медицина через нас может обогатить науку открытиями. Я вот за столько лет моих кишечных страданий очень зорко слежу за всеми новыми медицинскими диссертациями и все удивляюсь: что они за негодные и неинтересные темы берут! Тот пишет о лучистом эпителии, другой о послеродовом последе, словом, все о том, что выплевывается да извергается, а нет того, чтобы кто-нибудь написал диссертацию, например, «об архиерейских запорах». А это было бы и ново, и оригинально, и вполне современно, да и для человечества полезно, потому что мы, освежившись, сделались бы добрее… намекнуть бы только об этом надо где-нибудь в газетах, а то наверное найдется умный медик, который за это схватится. И уж какая бы к нему отборная духовная публика на диспут съехалась, и какую бы он себе выгодную практику приготовил, специализовавшись по этому предмету. А наше начальство, увидав из

этого рассуждения доказательства, отчего род преподобных наиболее страждет и умаляется, может быть смилостивилось бы и позволило бы нам ходить пешком по улице. И, может быть, тогда и люди-то к нам больше привыкать бы стали, и начались бы другие отношения не чета нынешним, оканчивающимся раздаянием благословений. Право, так! Я или другой архиерей, ходя меж людьми, может быть кого-нибудь чему-нибудь доброму бы научили, и воздержали бы, и посоветовали.

А то что в нас кому за польза! Пожалуйста, доктор, поверните нас на пользу науки и пустите об этом, промежду своими, словечко за нас *запорников*[84].

И больной с доктором, пошутив, весело расстались.

А между тем подумайте, читатель: сколько горького в этой шутке, которою отводил свою досаду очень умный русский человек духовного чина? сколько в том, что он осмеивал, чего-то

---

[84] Примечания: 84

Лица, имеющие какие-либо сношения с специальными медицинскими органами, может быть, действительно принесли бы некоторую пользу человечеству, если бы не пренебрегли точно мною передаваемым мнением епископа об особенном характере их, так сказать, сословного недуга. Может быть, гг. медики убедили бы общество и начальство, что так людям жить нельзя. (*Прим. автора.*)

напрасного, обременяющего и осложняющего жизнь невыносимыми условиями, которые чуть не целые века стоят неизменными только потому, что никто не хочет понять их тяжесть и снять с людей «бремена тяжкие и неудобоносимые»…

Положим, что наше облагодатствованное духовенство невозможно ставить на одну доску с какими-нибудь совсем безблагодатными протестантскими пасторами, которые ходят повсюду, куда можно ходить частному человеку; но если даже сравнить положение нашего епископа с положением лица соответственного сана римской церкви, то насколько свободнее окажется в своих общественных отношениях даже римский епископ? Этот не только может проехать к знакомому мирянину без звона и на простом извозчике, но он посещает безвредно для себя и для церкви музеи, выставки, концерты, сам покупает для себя книги, а с одним из таковых, еп. Г-м, большим любителем старинного искусства, я даже не раз хаживал к букинистам на петербургский Апраксин двор, и все это не вредило ни сану епископа, ни его доброй репутации, ни римской церкви.

Почему же наш епископ лишен этой свободы, и почему лишение это идет, например, так

далеко, что когда один из русских епископов, человек весьма ученый и литературный, пожелал заниматься наряду с другими людьми в залах публичной библиотеки, то говорили, будто это было найдено некоторыми широко расставленными людьми за непристойность и даже за «фанфаронскую браваду» (два слова, и оба не русские)… Мы так не привыкли, чтобы наши епископы пользовались хотя бы самою позволительною свободою, что приходим в недоумение, если встречаем их где-нибудь запросто. Я помню, как однажды покойный книгопродавец Николай Петрович Кораблев (вместо которого, по газетным известиям, вероятно из вежливости, преждевременно был зачислен умершим его товарищ Сиряков) встретил меня в самом возбужденном состоянии и с живостью и смущением возвестил, что к ним в магазин *заходил епископ!* Но и то это было еще во время о́но; да и епископ тот был краса нашей церковной учености, трудолюбивый Макарий литовский, впоследствии митрополит московский…

В обществе о таком «укрывательстве архиереев» думают различно: один находит, что этого будто «требует сан», а другие утверждают, что сан этого не требует. Люди сего последнего мне-

ния, ссылаясь на простоту и общедоступность «оных давниих архиереев», склонны винить в отчуждении архиереев от мира так называемую «византийскую рутину» или, наконец, кичливость самых архиереев, которым будто бы особенно нравится сидеть во свете неприступнем и ездить на шести животных.

Может быть, что все это имеет место в своем роде и склоняет дело к одному положению. Кто хоть раз бывал в архиерейском доме, тот знает, как там все нелюдимо, дико и как-то бесприютно, и кто видал много владычных домов, тот знает, что нелюдимость и бесприютность это неотъемлемое качество сих жилищ; а всякое жилище, говорят, будто бы выражает своего хозяина. Еще одно общее архиерейским домам отличительное и притом удивительное свойство, это необъяснимый запах *старыми фортепианами*, который очень легко чувствовать, но причину его отгадать трудно, ибо фортепиан в архиерейских домах не бывает, но этот *скучный запах* там есть, точно в зале старого нежилого помещичьего дома, где заперты фортепианы, на которых никто не играет. Есть и еще *нечто*, как мне кажется, еще более действенное. Довольно общее и притом небезосновательное убеждение таково, что

православные любят пышное велелепие своих духовных владык и едва ли могли бы снести без смущения их «опрощение». Об этом даже писано в газете «Голос» по поводу неприятности, случившейся с епископом Гермогеном Добронравиным в Исаакиевском соборе. Однако, впрочем, по игре случая сказано это было в том же самом нумере, где говорилось, что в оное время все газеты будто бы писали не то, что думали. Но на самом деле православные действительно до того любят велелепие владык, что даже при расписывании своих храмов, на изображаемых по западной стене картинах Страшного суда, настойчиво требуют, чтобы в разинутой огненной пасти геенны цепью дьявола, обнимающего корыстолюбивого Иуду, было непременно прихвачено и несколько архиереев *(в полном облачении)*[85]. Любовь к пышности, мне кажется, несомненна, и она не ограничивается требованием пышности только

---

[85] Примечания: 85

Когда в Орле в дни моего отрочества расписывали церковь Никития и я ходил туда любоваться искусством местных художников, то один из таковых, высоко разумея о своем даровании, которое будто бы позволяло ему «одним почерком написать двенадцать апостолов», говорил, что будто ему раз один церковный староста дал десять целковых на шабашку, чтобы он поставил в аду за цепь к Иуде Смарагда, и что он будто бы это отлично исполнил. «Сходства, — говорит, — лишнего не вышло, а притом все, однако, понимали, что это наш Тигр Евфратович». (*Прим. автора.*)

в служении. Есть православные, которым как будто нужно, чтобы их архиереи и вне храма вели себя поважнее чтобы они ездили не иначе, как «в пристяж», по крайней мере четверкою, «гласили томно» и «благословляли авантажно», и чтобы при этом показывались не часто, и чтобы доступить до них можно было не иначе, как «с подходцем». А в доме у них все стояло бы чинно в ряд, без всякого удобства словом, не так, как у людей. Напрасно было бы оспаривать, что все это действительно так; но едва ли можно было бы доказать, что такое «люблeние» пышности выражает любовь к лицам, от которых она требуется, и укрепляет уважение к их высокому сану. Совсем нет; в этом желании православных «превозвышать» своих архиереев есть живое сродство с известным с рыцарских времен «обожанием женщин», которое отнюдь не выражало собою ни любви, ни уважения рыцарей к дамам: дамы от этого «обожания» только страдали в томительной зависимости. Мертвящая пышность наших архиереев, с тех пор как они стали считать ее принадлежностью своего сана, не создала им народного почтения. Народная память хранит имена святителей «прóстых и препростых», а не пышных и не важных. Вообще «непрóстых» наш

народ никогда не считает ни праведными, ни богоугодными. Русский народ любит глядеть на пышность, но уважает *простоту*, и кто этого не понимает или небрежет его уважением, тем и он платит неуважением же. Не говоря о скверных песнях и сказках, сложенных русскими насчет архиереев, и не считая известных лубочных карикатур, где владыки изображаются в унижающем их виде, одни эти церковные картины Страшного суда с архиереями, связанными неразрывною цепью с корыстолюбивым Иудою, показывают, что «любление» пышности архиерейской сто́ит не высокой цены и выражает совсем не то, что думают некоторые стоятели за эту пышность. Она скорее всего просто следствие привычки и, может быть, вкуса, воспитанного византизмом и давно требующего перевоспитания *истинным христианством.* Тот же самый народ, которому будто бы столь нужна пышность, узнав о таком «простом владыке», как живший в Задонске Тихон, еще при жизни этого превосходного человека оценил его дух и назвал его *святым.* Этот самый народ жаждал слова Тихона и слушался этого слова более, чем всяких иных словес владык пышных.

Небезызвестен и другой подобный же пример и нынче, но только мы не назовем этого

современного нам епископа, из уважения к его скромности и тщательному старанию, с коим он таится от мира в незначительном Ш-ке. Стало быть, не пышность и не велелепие, а еще более не важность и не неприступность служат лучшим средством доброго влияния архиереев на их паству, а, напротив, качества совсем иные — качества, не только не утверждающиеся на пышности, но даже совсем с нею не сродные: уважается *простота*.

Есть, однако, люди, которые утверждают, что пленительная простота, отличавшая Тихона, возможна только для епископов, отказавшихся от дел управления. Правящий же епископ будто бы не может вести себя так просто ибо «наш-де народ еще не достиг того понятия, чтобы чтить простоту».

Помимо отвратительного и горького чувства, внушаемого сим подобными словами, которые дышат и невежеством и предательством, они совершенно несправедливы. В подкрепление моей мысли я приведу примеры двух недавно скончавшихся архиереев, кои были младенчески просты, а правили епархиями ничуть не хуже самых «великатных».

Глава восьмая

Первый из двух непорочных «младенцев в митрах» был усопший киевский митрополит Филарет Амфитеатров, о милой простоте которого я уже рассказывал в моей книжечке «Владычный суд», но еще и здесь сообщу нечто в воспоминание о его теплой и чисто детской душе. Это интересно уже по одному тому, что народ вменял Филарету его простоту в *святость.* Посмотрим же, что это был за характер и каким он родился обычаем.

То, что я ниже буду рассказывать, известно мне со слов моего умершего друга, художника Петербургской академии художеств, Ивана Васильевича Гудовского, которого, вероятно, еще очень многие не забыли в Киеве. Он был хороший мастер своего дела и очень добрый, честный и прямой, правдивый человек, которого каждому слову можно было смело и несомненно верить.

Ив. В. Гудовский — сын казака из г. Пирятина. Он еще в отрочестве своем был привезен в Киево-Печерскую лавру и, во внимание к замеченным в нем художественным наклонностям, отдан для научения живописи в лаврскую иконописную мастерскую. Мастерскою этою (пришедшею

при митрополите Арсении в совершенный упадок) тогда заведовал иеромонах Иринарх, художественные способности которого многих не удовлетворяли. Иринарху ставили в вину, что «кисть его над смертными играла»; он имел удивительное несчастье всех писать «на одно лицо». И на самом деле, отец Иринарх был не очень большой искусник, но человек очень рачительный и очень полезный. Он оставил в лавре множество памятников своего удивительного мастерства «писать *всех на одно лицо*». Замечательнейшие из произведений этого рода представляют иконопортреты святых, почивающих в ближних и дальних пещерах, размещенные над их гробницами. Во всех этих лицах отцом Иринархом соблюдено удивительное «сходство на одно лицо», даже мужчины и женщины у него все схожи между собою, и не только par expression[86], что еще кое-как возможно было бы объяснить однородностью одушевлявшего их религиозного настроения, но все они схожи par lrait[87], что уже может быть объяснено только феноменальною своеобразностью благочестивой кисти

[86] Примечания: 86
Общим выражением (*франц.*).

[87] Примечания: 87
Отдельными чертами (*франц.*).

отца Иринарха, которая давала всему теплый колорит *родства святости.* Митрополит Филарет Амфитеатров считал иеромонаха Иринарха хорошим мастером по иконописанию, и едва ли митрополит не был правее многих заезжих знатоков, смущавшихся тем, что у отца Иринарха «все шло на одно лицо». У него зато не было неприятной *головастости* академика Солнцева (который не избежал своего порока даже в изданном теперь М. О. Вольфом дорогом и изящном «Молитвослове») и не было сухой *вытянутости* фигур Пешехонова. Пешехонов, по моему мнению, гораздо стильнее г. Солнцева, но он всегда «клонил к *двоеперстию*» в «благословящих ручках», что, как известно, в православии терпимо быть не может. Этим Пешехонов навлек на себя такое подозрение митрополита Филарета, что считался одно время неблагонадежным, а при реставрациях даже и *«опасным».* Особенно это усилилось с того случая, как Пешехонов в одной из стенописных картин собора вздумал открыть контуры двуперстного сложения и, доверясь старинным очертаниям, прописал было ручки по этим абрисам. Но, к счастью для киевских святынь, Пешехонов не укрылся с этим от внимания досужих людей, которые довели о том до ведома

митрополита, и дело было поправлено: антикварные вольности Пешехонова были отстранены, и святые отцы древнего собора сложили свои ручки троеперстно.

С отцом Иринархом не могло быть никаких беспокойств подобного рода: умея писать «всех на одно лицо», он еще аккуратнее всем давал одинаковые ручки, с верным троеперстием. Да и вообще он писал в иконном роде довольно приятно, строгоньким, но довольно округлым монастырским рисунком, в мягких тонах и нежными лассировками, что, бесспорно, приличествует иконописному роду живописи и очень нравилось митрополиту Филарету[88]. Но всего более о. Иринарх был отличный *школьмейстер*, что совершенно основательно ценил в

---

[88] Примечания: 88

Два современника: Филарет московский (Дроздов) и Филарет киевский (Амфитеатров), между множеством отличавших их различий, несходно относились и к иконописному искусству. Филарет Дроздов, по собственному его признанию (см. письма, изд. А. Н. Муравьевым), не знал толку в этом деле и даже, судя по тону письма, относился к этому как будто равнодушно; но Филарет киевский любил иконописное дело и считал себя в нем сведущим. Он смело вмешивался в работы по реставрации стенописи киевских соборов, пока (как рассказывали за достоверное) получил чувствительные для него неприятности от покойного государя Николая Павловича, желавшего правильной реставрации Софийского собора Ярослава. По правде судя, кажется, добрый старец более любил искусство, чем понимал его, и если там в фресках что излишне «замалевано», — то едва ли этого не следует хотя долею относить на его *милую память*. (*Прим. автора.*)

нем покойный владыка. Лаврская школа при о. Иринархе была относительно в таком цветущем состоянии, что надо было удивляться мастерству киевопечерских правителей, которые потом умели привести ее в самое жалкое состояние, в каком я ее в последний раз видел незадолго до кончины митрополита Арсения, многообразные услуги коего киевской пастве не оценены ее историком. При Иринархе здесь не только «тонко» работали, но и недурно держали учеников, так что у них был свой товарищеский *дух* и предания, несколько напоминавшие дух школ старинных монастырских маэстро. Некоторые ученики о. Иринарха переходили из его школы в академию и там оказывались хорошо подготовленными по рисунку и отличались добрым, чисто художественным настроением, делавшим их хорошими товарищами и приятными людьми в дальнейшей жизни. Все это творил о. Иринарх довольно строгий монах, но большой любитель своего рукомесла и заботливый укоренитель его в тех, кого судьба давала ему в ученики.

Художник Гудовский *пришел* в Петербург, в академию, из этой же школы о. Иринарха, о которой до своей трагической кончины говорил всегда с одушевлением, как о «милых годах своей

юности»; в этих же рассказах он не раз упоминал следующий анекдотический случай, лично касающийся митрополита Филарета Амфитеатрова.

— Раз, — говорил Гудовский, — мы работали летом, внизу, под митрополичьими покоями[89], и там после обеда и отдыхали. Отец Иринарх, бывало, пообедавши, остается уснуть в своей келье, а мы, ребятишки, находили, что нам лучше тут, потому что здесь было прохладнее, да и присмотра за нами не было; а самое главное — что отсюда из окон можно было лазить в митрополичий сад, где нас соблазняли большие сочные груши, называемые в Киеве «принц-мадамы», которые мы имели сильное желание отрясти.

После долгих между собою советов и обсуждения всех сторон задуманного нами предприятия полакомиться митрополичьими принц-мадамами мы пришли к убеждению, что это сладкое дело хотя и трудно, но не невозможно. Надежно огороженный сад никто не караулил, а единственный посетитель его был сам митрополит, который в жаркие часы туда не выходил. Стало быть, надо

[89] Примечания: 89

Я уже не помню, была ли тут временная мастерская, или работы шли в нижней домовой церкви митрополичьего дома, или все это было в Голосееве, где киевские митрополиты проводят дачное время. (*Прим. автора.*)

было только обеспечить себя от зоркого глаза отца Иринарха, чтобы он не пришел в ту пору, как мы спустимся в сад красть груши. А потому мы в один прекрасный день разметили посты, поставили на них махальных и затем один по одному всею гурьбою спустились потихоньку в угольное окно, выходившее в темное, тенистое место у стены, и, как хищные хорьки, поползли за кустами к самым лучшим деревьям.

Все шло хорошо; работа кипела, и пазухи наших блуз тяжело нависали. Но вдруг на одном дереве появилось разом два трясуна, из которых один был, вероятно, счастливее другого, и у них тут же, на дереве, произошла потасовка, но в это самое время *кто-то* крикнул:

«Отец Иринарх идет!»

Не разбирая, *какой из наших махальных* это крикнул, мы ударились бежать, рассыпая по дороге значительную долю наворованных принц-мадам. А те двое, которые подрались на дереве, с перепугу оборвались и оба разом полетели вниз. И все мы, столпившись кучею у окна, чрез которое спускались друг за другом веревочкою, смялись и, плохо соображая, что нам делать, зашумели. Каждому хотелось спастись поскорее, чтобы не попасться отцу Иринарху, и оттого мы

только мешали друг другу, обрывались и падали. А *где-то* сверху над нами *кто-то* весело смеялся спокойным и добрым старческим смехом.

Это все мы заметили, но в суетах не обратили на это внимания, тем более что когда мы успели взобраться назад в окно и попрятать принесенные с собою ворованные запасы, то мы обнаружили, что один из дравшихся на дереве был из числа наших махальных, которому надлежало стоять на самом опасном пункте и наблюдать приближение отца Иринарха…

Все часы своей послеобеденной работы мы об этом перешептывались за своими мольбертами, а вечернею шабашкою тотчас же приступили к дознанию: как это могло случиться, и решили виновника «отдуть». Но чуть только мы хотели привести это решение в исполнение, как тот струсил и, желая спастись от наказания, выдал ужасную тайну: он сказал нам, что не он один, а все три наши махальные не выдержали искушения и, покинув свои посты, вместе с нами сбежали в сад за краснобокими принц-мадамами.

Ночью, поев все накраденные груши, юные артисты решили больше не воровать; но назавтра забыли это решение и снова выступили в сад в том же порядке, только с назначением новых

сторожей, которые, однако же, за исключением одного, оказались не исправнее прежних. Не успели воришки приняться за свое дело, как и лакомки-сторожа появились между ними все, за исключением одного. Но и этот один был плохой и злой сторож: оставшись при своем месте, он умыслил жестокое коварство.

— Не успели мы, — говорил Гудовский, — приняться за работу по деревьям, как этот хитрец приложил руки трубкою к губам и крикнул:

«Отец Иринарх идет!»

Все мы, сколько нас там было, услыхав это, как пули попадали сверху на землю и… не поднимались с нее… Не поднимались потому, что к одному ужасу прибавился другой, еще больший: мы опять услыхали голос, которого уже не могли не узнать. Этот голос был тот самый, который нас вчера предупреждал насчет приближения Иринарха, но нынче он не пугал нас, а успокоивал. Слова, им произнесенные, были:

«Неправда, рвите себе, Иринарх еще не идет!»

Это был голос митрополита Филарета, которого дети узнали и, приподняв из травы свои испуганные головенки, оцепенели… И как иначе они увидели самого его, владыку киевского и галицкого, стоявшего для них на страже у косяка

своего окошечка и весело любовавшегося, как они обворовывают его сад…

Как же приняли эти дурно воспитанные дети такое странное и, может быть, с точки зрения всякого сухого педагога, конечно, очень неодобрительное отношение к их плохой шалости?

— Мы, — говорил Гудовский, — потеряли все чувства от стыда; мы все как бы окаменели и не могли двинуться, пока заменявший нам махального митрополит крикнул:

«Ну, теперь бегите, дурачки, теперь Иринарх идет!»

Тут мы брызнули: опять по-вчерашнему взобрались на свое место, но были страшно смущены и более красть митрополичьи груши не ходили.

Прошел день, два, три мы все были в страхе: не призовет ли митрополит о. Иринарха и не откроет ли ему, какие мы негодяи? Но ничего подобного не было, хотя «милый дидуся», очевидно, о нас думал и, догадываясь, что мы беспокоимся, захотел нас обрадовать.

На четвертый день после происшествия вдруг нам принесли целое корыто разных плодов и большую деревянную чашу меду и сказали, что это нам владыка прислал.

— По какому же это случаю? — допытывались

мы, радостно и робко принимая щедрый подарок. Но *случая* никакого не было, кроме того, о котором мы одни знали и крепко о нем помалчивали.

Посланный сообщил только, что владыка просто сказал:

— Сошлите живописцам-мальчишкам медку и всяких яблочек… Дурачки ведь они, им хочется… Пусть поточат.

— Мы эти его груши и сливы, — честное слово говорю, — со слезами ели и потом, как он первый раз после этого служил, окружили его и не только его руки, а и ряску-то его расцеловали, пока нас дьякона по затылкам не растолкали.

Так он их наказал, и, прибавлю, наказание его было столь памятно, что лет через пятнадцать после этого, когда мы с Гудовским жили в доме, выходившем на Софийскую улицу, этот, тогда уже пожилой, художник, бывало, ни разу не пропустит мимо митрополичьей кареты, чтобы не крикнуть вслед с детскою радостью:

— Здоров будь, милый дидуню!

И более того: этот человек здорового и острого ума, вращавшийся в свое время в различных кружках Петербурга, не сохранил всей веры, в которой был наставлен своею церковью. Он был

религиозен, но, к сожалению, долго жил с монахами, хорошо знал их и относился недружелюбно и даже враждебно к духовенству вообще, и к черному в особенности; но на предложенный ему однажды вопрос: «где же, однако, в какой церкви самое лучшее духовенство?» — отвечал:

— В русской, бо из него выйшов наш старый дидуся Филарет, дуже добрый.

И бог весть, когда пала в эту художественную душу любовь к «дуже доброму дидусе». Может быть, именно тогда, когда превосходный старец покрывал своею превосходною добротою *ребячье баловство*, которое любой педагог и моралист не усумнились бы теперь назвать *воровством* и даже, пожалуй, признаком социалистического взгляда на собственность, а какой-нибудь либеральный перевертень с прокурорского кресла потребовал бы за все это самую строгую кару. Но, к счастью, не так смотрит на вещи не направленская, а настоящая добродетель, одним из прекрасных представителей которой может быть назван Филарет Амфитеатров, о коем, право, кажется, можно сказать, как о Моисее, что он «смирен бе паче всех человек».

Но чтобы сказать все, что мне, случайно конечно, известно об истинном, неподдельном

смиренстве этого истинного человека, а с тем вместе чтобы и не дать пропасть анекдоту, который может пригодиться для характеристики простой, но замечательной личности митрополита Филарета, запишу еще следующее событие, известное мне от очевидцев родного дяди моего, профессора С. П. Алферьева, и бывшего генерал-штаб-доктора крымской армии Н. Я. Чернобаева.

Когда юго-западный генерал-губернатор Дмитрий Гаврилович Бибиков возвратился в последний раз из Петербурга, где он был назначен на должность министра внутренних дел, то он посетил митрополита Филарета и, рассказывая ему новости, какие считал уместным сообщить его смирению, привел слова императора Николая Павловича о церковном управлении.

Слова эти, очень верно сохраняемые моею памятью, были таковы, что будто покойный государь, разговаривая с Дмитрием Гавриловичем о разных предметах, сказал:

— О церковном управлении много беспокоиться нечего: пока живы Филарет мудрый да Филарет благочестивый, все будет хорошо.

Услыхав это от министра, митрополит смутился и поник на грудь головой, но через секунду оправился, поднял лицо и радостно проговорил:

— Дай бог здоровья государю, что он так ценит заслуги митрополита московского.

— И ваши, ваше высокопреосвященство, — поправил Бибиков.

Филарет наморщил брови.

— Ну, какие мои заслуги?… ну что… тут… государю наговорили… Все «мудрый» Филарет московский, а я… что пустое.

— Извините, владыка: это не вам принадлежит ваша оценка!

Но митрополит замахал своею слабою ручкою.

— Нет… нет, уж позвольте… какая оценка: все принадлежит мудрости митрополита московского. И это кончено, и я униженно прошу ваше высокопревосходительство мне больше не говорить об этом.

И при этом он, говорят, так весь покраснел и до того сконфузился, что всем стало жалко «милого старика» за потрясение, произведенное в нем неосторожным прикосновением к его деликатности.

Так детски чист и прост был этот добрейший человек, что всякая мелочь из воспоминаний о нем наполняет душу приятнейшею теплотою настоящего добра, которое как будто с ним родилось, жило с ним и… с ним умерло… По крайней

мере для людей, знавших Филарета, долго будет казаться, что органически ему присущее добро умерло с ним в том отношении, что их глаз нигде не находит другого такого человека, который был бы так подчинен кроткому добротолюбию, не по теории, не в силу морали воспитания и, еще более, не в силу сухой и несостоятельной морали направления, а именно подчинялся этому требованию самым сильным образом *органически*. Он родился с своею добротою, как фиалка с своим запахом, и она была его природою.

Но как он, с таким характером и в самых преклонных летах, мог править такою первоклассною епархиею, как киевская? Полагают, что его, вероятно, обманывали какие-нибудь свои «гаврилки» (то есть родственники) и, пользуясь его добротою, под его руку вершили кривду над правдою. Но в том-то и дело, что он не терпел при себе ни одного «гаврилки» и им никто не правил, кроме его собственного сердца. Ветхий и немощный Филарет имел прекрасных викариев и замечательного наместника Иоанна, впоследствии епископа полтавского, который, может быть, более сделал *для духа* монашества лаврского, чем старательно прославленный наместник Сергиевской лавры Антоний *для*

архитектуры; но все эти лица сотрудничали митрополиту Филарету, а не верховодили им. Во всех делах, требовавших от него самостоятельности, он действовал самостоятельно и до конца жизни правил сам и везде его доставало (только в университет он перестал ездить, потому что «не хотел слышать о конкубинах»)[90]. Даже где нужна была строгость и наибольшая энергия, он и тут не устранялся от дела, а только всегда боялся быть жестоким.

---

[90] Примечания: 90

Преосвященный Филарет приехал на защищение диссертации, в которой разбиралась разница прав детей, прижитых от сожительства connubium и concubinatum (В законном и незаконном браке (*лат.*)). Митрополит долго крепился и слушал, но, наконец, не выдержал и встал. Насилу упросили его «не смущать диспутанта». Он это уважил, но жаловался.

— Что же, говорит, я монах, а только и слышу connubium да concubinatum. Не надо было звать меня.

И в этом он был прав. Но замечательно: это так осталось у него в памяти, что он, когда речь касалась университетов, всегда любил за них заступаться, но шутливо прибавлял:

— Одно в них трудно монаху, что все «connubium» да «concubinatum», а больше все хорошо.

Впрочем, из всех так называемых «светских» наук мне известно определительное отношение митрополита Филарета только к медицине. Тяжко страдая мочевыми припадками, он беспрестанно нуждался в помощи врача 3-го и, получив облегчение от припадка, говорил со вздохом:

— Медицина — божественная наука. (*Прим. автора.*)

Глава девятая

Один из памятных случаев в самостоятельном роде устроил ему бывший парадный архидиакон монастыря, о. Антоний. Богатырь, красавец и жуир, диакон этот пользовался большими льготами в монастыре, где дорожили его громоподобным голосом и спускали ему многое, чего, может быть, не следовало бы спускать. Все это его до такой степени избаловало, что он стал не знать меры своим увлечениям и, придя раз летнею ночью в исступление ума, вышел из кельи на житний двор, где на ту пору стояли волы приехавших с вечера мужиков. Исступленному иеродиакону пришла мысль сесть на вола верхом и начать разъезжать на нем по монастырю.

Он так и сделал: отвязал от ярма самого рослого поло́вого вола, замотал ему на рога налыгач (ремень) и взмостился ему на спину. Непривычный к верховой езде, бык пошел реветь, прыгать и метаться, а богатырь-диакон сидит на нем, как клещ на жужелице, и, жаря его каблуками в ребра, кричит: «врешь, не уйдешь».

И вол ревет, и седок ревет; сон мирной обители нарушен — она встревожена; спавшие покатом

по всему двору странники в переполохе мятутся, думают, что видят беса, и впопыхах никто не разберет, кто кого дерет. Словом, смятение произошло ужасное: шум, гвалт, суматоха, и в заключение, когда дело объяснилось, скандал и соблазн, утаить который было так же трудно, как сберечь секрет Полишинеля. Нынешней газетной гласности, питающейся от скандалов, при тогдашней тесноте еще не было, но слух, которым земля полнится, на другой же день распространился из монастыря в монастырь, оттуда по приходским причтам и, наконец, дошел до мирян, между коими редко кто не знал чудака архидиакона Антония. Он, с его нелепым басом, гигантским сложением, завитыми кудрями и щегольскими черными бархатными рясами, то на желтом, то на голубом атласном подбое, слишком бил в глаза каждому. Я никогда не слыхал, чтобы инок Антоний был особенно прославляем за свое благочестие, как аскет, но его любили, как простяка, за его наивную и бестолковую, а часто даже комическую удаль, с которою он, например, сам рассказывал, что он «изнывает от силы», потому что, по ужасно крепкому своему телосложению, он более не монах, а *паразит*.

После этого не должно показаться удивитель-

ным, что весть о ночном путешествии лаврского «паразита» верхом на быке казалась занятною и многих интересовало: какие это будет иметь для него последствия? Но дни проходили за днями, а паразит оставался на своем месте, и строгие люди стали смущаться, что же это митрополит: он ослабел, он слишком стар, или, наконец, от него все это скрыли? Возможно ли, чтобы за все это бесчинное вольтижерство такого видного инока ему совсем ничего не было?

Но все эти люди смущались напрасно: происшествие не осталось безызвестным владыке, да это было и невозможно, так как разгоряченный вол или сам занес наездника к митрополичьим покоям, или же паразит нарочно его сюда направил. Владыка стал на высоте своего призвания: он взыскал с вольтижера, и взыскал, по-своему, не только справедливо, но даже строго.

Управлявший тогда лаврскою типографиею очень образованный монах, к которому я часто хаживал учиться гальванопластике, рассказывал мне по секрету всю сцену разбирательства этого дела у Филарета.

Митрополит, имея, как я сказал, превосходного наместника в лавре, не захотел даже ему доверить разбора этого необычайного дела, а

решил сам его разобрать и наказать виновного *примерно*.

Как инок строгой жизни, он, разумеется, был сильно возмущен и разгневан произведенным беспорядком и собирался быть так строг, что даже опасался, как бы не дойти до жестокости.

Приступая к открытию судьбища, он все обращался к одному из приближенных к нему монахов, благочинному Варлааму (впоследствии наместнику) и говорил ему:

— Боюсь, что я буду жесток, а?

Покойный Варлаам его успокоивал, говоря, что виновный сто́ит сильного наказания.

— Да, разумеется, он, дурак, сто́ит, но я боюсь, что я буду уже очень жесток, а? — повторял митрополит.

— Ничего, ваше высокопреосвященство! Он снесет.

— Снесет-то снесет, но ведь это нехорошо, что я буду очень жесток.

Настал час суда разумеется, суда *келейного*, происходившего только в присутствии двух-трех почетных старцев.

Виновный, думавший, что им очень дорожат за голос, мало смущаясь, ожидал в передней, а владыка, весьма смущенный, сел за стол и еще

раз осведомился у всех приближенных, как все они думают: не будет ли он очень жесток? И хотя все его успокоивали, но он все-таки еще попросил их:

— А на случай, если я стану жесток, то вы мне подговорите за него что-нибудь подобрее.

Открылся суд: ввели подсудимого, который как переступил порог, так и стал у двери.

«Жестокий» судья для внушения страха принасупился, завертел в руках свои беленькие костяные четки с голубою бисерною кисточкою и зашевелил беззвучно губами.

Бог его знает, изливал ли он в этом беззвучном шепоте самые жестокие слова, которые намеревался сказать виновному, или… молился о себе и, может быть, о нем же. Последнее вернее… Но вот он примерился говорить вслух и произнес протяжно:

— Ишь, кавалерист!

Дьякон упал на колени.

Филарет привстал с места и, строго хлопнув рукою по столу, зашиб палец. Это, кажется, имело влияние на дело: владыка долго дул, как дитя, на свой палец и, получив облегчение, продолжал живее:

— Что, кавалерист!

Виновный упал ниц и зарыдал.

Митрополит изнемог от своей жестокости: он опять подул на палец, повел вокруг глазами и, опустясь на место, закончил своим добрым баском:

— Пошел вон, кавалерист!

Суд был кончен; последствием его было такое незначительное дисциплинарное монастырское взыскание, что сторонние люди, как я сказал, его даже вовсе и не заметили; но митрополит, говорят, еще не раз возвращался к обсуждению своего поступка. Он все находил, что он «был жесток», и когда его в этом разуверили, то он даже тихонько сердился и отвечал:

— Ну как же я не жесток: а отчего же он, бедный, плакал?

Атлет-черноризец, которого терпел и о котором так соболезновал «добрый дидуня», однако, погиб. По его собственным словам, он «за свои грехи пережил своего благодетеля», но не пережил своей слабости.

Много лет спустя, в одну из своих побывок в Киеве, я ездил с моими родными и друзьями погулять в лесистую пустынь Китаев. Обходя монастырь со стороны пруда, над белильным током, где выкладывают на солнце струганый

воск с свечного завода, я увидал у св. брама колоссальную фигуру монаха с совершенно седою головою и в одном подряснике.

Он разговаривал с известною всем китаевцам бродяжкою, «монашескою дурочкою», а возле него, бесцеремонно держа его за рукав, стоял послушник (по-киевски *слимак*) и урезонивал его идти домой.

Я всмотрелся в лицо богатыря и узнал его: это был оный давний «паразит», давший мне много красок для лица, выведенного мною в «Соборянах», диакона Ахиллы.

Я заговорил с ним, но он меня не узнал, а когда я ему напомнил кое-что прошлое, он вспомнил, осклабился, но сейчас же понес какой-то жалкий, нескладный и бесстыдный вздор.

Это был человек уже совершенно погибший: в нем умерло все человеческое все, кроме того, что не умирает в душе даже самого падшего человека: он сохранил редкую способность *добро помнить*.

При одном имени покойного Филарета он весь съежился, как одержимый, и, страшно стукнув себя своим могучим кулачищем в самое темя, закричал:

— Подлец я, подлец! я огорчал его, моего бать-

ку! — и с этим он так ужасно зарыдал, что слимак, сочтя это неприличным, повернул его за плечи к браме, пихнул в калитку и сказал:

— Уже годи, идить до дому. Це у в вас опьять водка плачет.

Паразит пошел: крепость его, видно, уже ослабела, и он привык повиноваться, но плакала в нем, мне кажется, все-таки *не одна водка*.

Но возможен вопрос: где же доказательство, что добряк Филарет не портил служебного дела своею младенческою простотою и правил епархиею не хуже самых непростых?

Доказательства есть, хотя их надо взять не из сухих цифр официального отчета, а из живых сравнений, как говорится, *«от противного»*.

Что оставил митрополит Филарет в наследие своим наступникам? Сплошное, одноверное население, самым трогательным образом любившее своего «старесенького дидусю», и обители, в которых набожные люди осязали дух схимника Парфения этого неразгаданного человека, тихая слава которого была равна его смирению, даже превосходившему смирение его владыки.

Митрополит Исидор правил киевскою епархиею недолго, так что его управление не для чего и сравнивать; но отличавшийся «признанным

тактом» митрополит Арсений управлял ею много лет, и наследие, переданное им митрополиту Филофею, замечательно. Он оставил епархию расторгнутою чуждым учением (штундою), с которым борьба трудна, а исход ее неизвестен. Из иноков же времени Арсения самою широкою известностию пользовался на всю Русь распубликованный племянник его высокопреосвященства, архимандрит Мельхиседек, которого митрополит Арсений поставил начальником монастыря, имевшего несчастие долго скрывать в своих стенах возмутительные бесчинства этого до мозга костей развращенного насильника. Деяния этого срамника и дебошира, позорившего русскую церковь, закончились тем, что он утонул, катаясь с женщинами. Старик Днепр был исполнителем суда божия: он опрокинул ладью, в которой носилось оставленное митрополиту Арсением гулевое сокровище, и только тут и Мельхиседек и его спутницы «погибоша аки обре». Так суд божий поправил грехи бессудия, хранившего этого «гаврилку» на соблазн людям, из коих многие от одного этого бесстыдного видения спешили перебегать в тихую штунду.

Какой урок всем, имеющим при себе таких «гаврилок», которые приносят видимое бесславие

церкви! Подвергать ее всем ударам, в изобилии падающим на нее за этих «гаврилок», значит не любить ее или по крайней мере не дорожить ее спокойствием более, чем спокойствием своего «гаврилки».

Митрополит Филарет Амфитеатров ничего в этом роде дурного не оставил церкви, а оставил совершенно иное: он завещал ей «дитя своего сердца» (племянника) преосвященного Антония, почившего архиепископа казанского, у которого, может быть, и были свои недостатки, но который, тем не менее, конечно небезосновательно, пользовался уважением и любовью очень многих людей в России, ожидавших от него больших услуг церкви. Но он так и умер *не в фаворе*.

А посему можно думать, что Русь судит о церковном правительстве митрополита Филарета Амфитеатрова правильно: она держится в этом слов своего божественного учителя: *«дерево узнается по плодам»* (Мф. XII, 33).

Не мне одному, а многим давно кажется удивительным, почему так много говорится об «истинном монашестве» митрополита Филарета московского и при этом *никогда* не упоминается

об *истиннейшем* монахе Филарете киевском[91]. Не дерзая ни одного слова сказать против первого, я все-таки имею право сожалеть, что его монашество как будто совсем застилает того, кого еще при жизни звали не иначе, как *«наш ангел».* Вся жизнь митрополита Филарета Амфитеатрова может быть поистине названа *самою монашескою* в самом наилучшем понятии этого слова… Но, кажется, и об этих высоких людях надо сказать то, что Сократ сказал о женщинах, то есть что «лучше всех из них та, о которой нечего рассказывать», или по крайней мере нечего рассказывать в апологиях, а достаточно вспомнить ненастным вечером, у домашнего очага, где тело согревается огоньком, а душа тихою беседою о *добром человеке*.

Память подобных людей часто не имеет места в истории, но зато она легко переходит в *жития* эти священные саги, которые благоговейно хра-

---

[91] Примечания: 91

Строки эти были уже набраны, когда на страницах журнала «Русский архив» появились бесценные известия, восполняющие нравственный облик митрополита Филарета Амфитеатрова и характеризующие отношения к нему императора Николая Павловича.

Когда возобновляли великую церковь Киево-Печерской лавры, местные художники закрыли старинные фрески новою живописью масляными красками. Это считалось и тогда преступлением,

нит и *чтит* память народа.[92]

[92] Примечания: 92

а потому была назначена комиссия, и Синод постановил митрополиту Филарету сделать выговор. Государь написал на докладе: «Оставить старика в покое; мы и так ему насолили».

В первый за тем приезд государя в лавру митрополит Филарет после обычного молебствия, указав на группу чернецов, сказал:

— Вот, ваше величество, художники, расписывавшие храм.

— Кто их учил? — спросил государь.

— Матерь Божия, — отвечал простодушно владыка.

— А! в таком случае и говорить нечего, — заметил император.

Судя по времени, к которому относится этот рассказ, нельзя сомневаться, что в числе художников, получивших непосредственные уроки от матери божией, был представлен и знаменитый отец Иринарх, написавший «на одно лицо» всех киевских святых. (*Прим. автора.*)

Глава десятая

От милостивого Филарета киевского перейдем к другому, тоже очень доброму старцу, епископу Н‹еофи›ту. Этот был в ином — гораздо более веселом роде, но тоже чрезвычайно прост, а при всем этом правил епархиею так, что оставил ее своему наступнику ничуть не хуже иных прочих.

В отдаленной восточной епархии, где недавно «окончил жизнь свою смертию» пр. Н-т, находятся большие имения г-на N., очень богатого и чрезвычайно набожного человека, устроившего себе житницу от винных операций[93]. Набожность г-на N. так велика, что близкие люди этого праведника, не будучи в состоянии оценить это настроение, готовы были принять ее за требующую лечения манию. Это, впрочем, кажется было необходимо потому, что г-н N. хотел *все* нажитое с русского народа отдать в жертву монастырям и таким способом примириться с богом и «спасти

[93] Примечания: 93

Известный автор сочинения о том, каким святым в каковых случаях надо молиться, пермский протоиерей Евгений Попов напечатал, будто весь наступающий рассказ, конечно, очень несправедливый, касается одного пермского епископа и пермского же помещика г-на П. Д. Дягилева. Пусть это так и остается, как постарался выяснить правдивый протоиерей Евгений Попов. (*Прим. автора.*)

души детей своих нищетою». Монахи обещали ему все это устроить и работали около этого человека очень сильно, но чиновники все-таки их пересилили и устроили ограничение прав N. раздаривать святым отцам то, что годится еще собственным детям.

Иноческое фанатизирование довело этого человека до того, что он совсем очудачел. Он не только «целоденно молился», но даже спал в какой-то освященной «срачице», опоясанный пояском с мощей св. Митрофана, в рукавичках св. Варвары и в шапочке Иоанна Многострадального, а проснувшись, занимался химией: дробил «херувимский ладан» из пещеры гроба и гомеопатически рассиропливал св. елей и воду для раздачи несчастным.

Эти благочестивые занятия, однако, ему тоже были вменены в вину и отнесены к научению монашескому, хотя, может быть, химик получил пристрастие к подобным занятиям гораздо ранее. Таким этот замечательный человек остался до смерти: он был строитель церквей, постник и ненасытный любитель странников, монахов, а наипаче чтитель архиереев, с которыми неустанно искал сближения — желая от них *освятиться*. Когда он долго не сподоблялся архиерейского

благословения натурою, он испрашивал оного письменно. В обширных поместьях N., соединенных в той же отдаленной глухой местности, при нем всегда водились «пустынники», которых он скрывал от нескромных очей мира и особенно от полицейских властей. Это разведение и сбережение пустынников обходилось дорого, и вдобавок N. немало претерпевал от них и за них, так как они порою по искушению попадались в делах непустыннических. В собственных селах N. были самые лучшие церкви, в которых всегда все было в исправности: чистота, порядок, книжный обиход, утварь и ризница — словом, все благолепие в велелепии. А в селе, где жил сам N., «храм сиял», при нем два штата и ежедневное служение, которое измученные г-ном N. священнослужители называют «бесчеловечным», оттого что при нем не присутствовало *ни одного человека*. Таков был устав благочестивого владельца, которому, конечно, не смел и подумать возражать вполне от него зависимый причт духовенства.

К лицам белого духовенства N. был строг до немилосердия и докучлив более, чем покойный Андрей Николаевич Муравьев, которого, как известно, звали в шутку то «несостоявшимся обер-прокурором», то «генерал-инспектором по-

номарства». Впрочем, при огромном их сходстве по ревности к храму и по лютости к храмовым служителям, они совсем не похожи друг на друга в том отношении, что покойный Андрей Николаевич был знаток церковных уставов и порядков и мог в них наставить иного настоятеля, а у г. N. такого знания не было. Кроме познаний в химии и гомеопатических делениях освященных твердых тел и жидкостей, он во всем церковном уставе был человек темный, и оттого у него не было той решительности и смелости, которыми был одержим А. Н. Муравьев, дерзавший произносить осуждение не только священникам и священноинокам, но даже преосвященнейшим владыкам и всему их святейшему собору. N. не был повинен в таких знаниях, но зато он не виноват и в продерзостях, за кои А. Н. Муравьев, вероятно, порядком посудится с обработанными им черне-

цами[94]. Г-н N. был простец и брал все от одного вдохновения, отчего ему угодить было трудно и даже невозможно, если блюсти свое правило и хоть немножко хранить свое достоинство, о коем позволяет заботиться Сирах. Составляя себе придворный штат духовных, N. обыкновенно собирал кондуит человека из архива всех четырех ветров и вообще менял лиц до тех пор, пока находился искусник ему по обычаю. Тут бывал отпуст, пока под ловкача не подберется мастер еще ловчее. Игра идет, бывало, до тех пор, пока увидят, что севший на место новый священнослужитель основательно овладел своим господином. Для этого были нужны: во-первых, чувствительность в служении; во-вторых, любовь к «таинственным уединениям» в лесах или на верхней горнице;

[94] Примечания: 94

До чего покойный Андр. Ник. Муравьев негодовал на высших представителей церкви, могут знать только те, кто видал его в последний год его жизни, когда он контрировал, бог весть из-за чего, с митрополитом Арсением. Раздражение против сего владыки приводило Андрея Николаевича в состояние величественного пафоса, в котором он даже пророчествовал, предсказывая, какою смертию будут вскоре скончаваться не нравившиеся ему синодальные члены и обер-прокурор граф Дм. А. Толстой. Но предусмотрительный митрополит Арсений, до которого, вероятно, доходили отголоски этого пророчества, повел дело так тонко, что пережил Андрея Николаевича и успел ему хоть мертвому сделать самую чувствительную неприятность: он затруднил его вынос и погребение в Андреевской церкви и чуть не успел совсем лишить его права почивать под сводами храма. Остальные пророчества, которых я был слушателем, тоже не все исполнились. Но если он неверно пророчествовал, то вознаградил это удивительною законченностью

своего собственного жизненного пути. Целую жизнь инспектируя священнодействия, он умер в этих же самых занятиях. Накануне

в-третьих, равнодушие и сухость к жене и, в-четвертых, под секретом сообщенный тайный обет монашества.[95]Все это ловкие люди находили возможность проделывать вполне удовлетворительно, а когда N такими заслугами его вкусу, бывало, расположится в их пользу, тогда и ему начинают открываться их заслуги перед небом: он сподоблялся видеть сияние или около лица самого священника, или вокруг потира, который тот износил. С этих пор дело священнослужителя становилось крепко, и если бы N. после этого даже сам увидал такого дивотворца, в часы уединения играющего в верхней горнице в карты или сидящего зимою, под вечерок, у печки, обнявшись с женою, то все это ему не только прощал, но даже и не вменял в вину, а относил к «искушению», от

---

[95] Примечания: 95

смерти он пожелал особороваться. Таинство это, во главе других лиц, совершал Филарет (Филаретов), бывший викарий уманский, а после епархиальный архиерей рижский. Больной во время соборования был уже так слаб, что не подавал голоса. Но когда служба была окончена и архиерей стал разоблачаться, умирающий, ко всеобщему удивлению, совсем неожиданно произнес:

— Благодарю: таинство совершено по чину.

Таковы были его последние слова на земле.

Этою как нельзя более отвечающею всегдашнему его настроению фразою Муравьев окончил свою генерал-инспекторскую службу русской церкви и доказал, что он был один из редких, типических, последовательных и вполне законченных характеров. По крайней мере его не могут превзойти ни старый Домби у Чарльза Диккенса, ни та старушка у Тургенева, которая сама хотела заплатить рубль за

свою отходную. Эта последняя черта, по моему мнению, непременно должна бы украсить биографию «несостоявшегося обер-прокурора», которая вообще могла бы быть очень интересною. (*Прим. автора.*)

которого праведному человеку укрыться трудно. Для того «преобладающу греху и преизбыточествует благодать».

Из того, что мною вкратце сказано, знатокам церковно-бытовой жизни, конечно, будет довольно понятно, коего сорта набожность и благочестие была у самого г. N. и коего духа люди могли уживаться с ним и угождать *его благочестию*... Для несведущих же пояснять это долго и, может быть, опасно «да не соблазнится ни един от малых сих». Но весь этот отменный подбор отменных духовных не мог умолить провидение, чтобы все женатые сыновья и замужние дочери г. N. овдовели и ушли в монастырь, куда он сам очень желал уйти, чтобы там «помириться с богом».

Из всех своих родных N. сподобился устроить в монашество только одного запутавшегося в делах свояка, но и то неудачно. Тот оказался до такой степени легкомысленным, что даже из монастыря давал поводы к соблазну младшим. Так, например, получив однажды письмо от племянницы, институтки, он написал ей: «не адресуй мне *его благородию*: я уже монах, а монах благородным быть не может». И этот бедный инок хотя и был скоро поставлен в иеромонахи Коневецко-

го монастыря, но не выдержал, запил и умер.

Вся очень многочисленная семья N. тоже не тяготела к иночеству. Молодые люди, осемьянившись, нежно любили свои семейства и религиозны в свою меру, по-русски; съезжаясь летом к отцу, они даже прекрасно пели на клиросе сельской церкви и никаких религиозных сомнений и споров не любили. Если же промежду их случайно являлся беспокойный совопросник, то такого отсылали обыкновенно «переговорить с батюшкой»; а этого, сколько известно, всякий еретик боится и продолжительного разговора о религии с русским батюшкою не выдержит. Словом, все дети N. были простые, добрые, очень милые люди, без всякой *ханжеской претенциозности*.

Преосвященный Н-т поступил из г. Вятки в г. П‹ермь› после архиерея сурового, большого постника, с которым старый N. был в наилучших отношениях и желал точно такие же отношения учредить с Н. Но при первом же визите у них дело пошло неладно.

N. явился к новому владыке с некогда знаменитым цензором г. Z. ‹Н. В. Елагиным ›, святошество которого весьма известно. Владыка, добрый, весьма почтенный старичок, еще не совсем от-

дохнул и к тому же был еще расстроен тем, что доставшийся ему двухэтажный дом в г. П. был гораздо хуже одноэтажного дома в г. Вятке, а поправлять его было *не на что.* Да, буквально не на что!.. Архиерей был *беден*, и хотя у него было триста рублей, которые он, по его словам, «заработал честным трудом», но он поэтому-то и не хотел отдать их на поправку архиерейского дома. Притом же ему было досадно, что его *повысили*, при переводе произвели из епископов в архиепископы, а более существенного ничего не дали. Он этим обижался, находя, что ему «позолотили пилюлю». Вдобавок ко всему, владыка отдыхал от своего весьма дальнего пути и не совсем хорошо себя чувствовал, а нетерпеливые благочестивцы в это время на него набежали. Усталый архиерей начал позевывать и замечать:

— Не к дождю ли? что-то морит…

И действительно, пошел дождик, сначала маленький, а потом и большой.

— Эге, да вам надо зонт, — сказал владыка и велел подать зонтик, с которым он имел привычку гулять по саду.

Оба святоши встали, но вот новая беда: оба они считали слишком большою для себя честью «идти под *владычным* зонтиком» и стали пере-

коряться.

— Нет, я не могу, я чувствую, что я недостоин идти под владычным зонтиком.

— А нет, уже идите вы я еще менее достоин держать владычный зонтик.

И все это у самого крыльца, под окнами у владыки, а дождь их так и поливает.

В это время откуда ни возьмись какой-то балда и говорит:

— Оба вы недостойны ходить с владычным зонтиком, а потому я его у вас беру.

И с этим хвать! да и был таков, а глядевший на все это владыка, вместо того чтобы рассердиться и послать погоню, расхохотался и говорит:

— А что же такое: это резент! он умно рассудил! Что за святыня, взаправду, в моем зонтике?

N. и Z. долго ломали головы: как мог так опрометчиво сказать владыка и не есть ли это своего рода нигилистическая ересь?

Вскоре за тем епископ стал собираться летом сделать объезд части своей обширной епархии. Узнав об этом, N. тотчас же просил его не лишить своего посещения его «пустынку» и благословить его детей, которые обыкновенно съезжаются к старику на лето из Петербурга.

Владыка едва ли считал нужным быть в «пу-

стынке», где, как он достаточно знал, благодаря усердию помещика не только все внешним образом исправно, но даже великолепно: однако, по доброте своей и по отличавшему его неумению говорить слово «нет», он склонился на просьбу N. и дал ему обещание быть у него в гостях около Петрова дня.

К Петрову дню молодые люди, живущие обыкновенно в столице, всегда приезжали на отдых к отцу в «пустынку», и потому обещание архиерея было во всех отношениях удобно и приятно для благочестивого хозяина. Загодя еще об этом было возвещено местным причтам, которые сейчас же и взялись за «божие дело», то есть начали тщательно перетирать все вещи в храме и мыть стекла, а сам N. в это время блаженствовал за хлопотами по приготовлению помещения для владыки. Ему, разумеется, устраивали покои в доме, а во флигелях для его свиты, которая у прежних здешних архиереев всегда была очень обширна. В покои владыки наставили икон и настлали перед ними ковров, чтобы его преосвященству «не грубо было кланяться», а в свитских покоях, во флигеле, учредили «столы», так чтобы все, могущее здесь произойти, произошло *скромно*. N. был уверен, что, когда здесь вся челядь будет

питаться, он с владыкою поведет целонощную Никодимову беседу и сподобится сам прочесть его высокопреосвященству полунощницу.

Затем оставалось только ждать этой радости, и притом недолго: около Петрова дня, в самую веселую сельскую пору уборку покосов, в «пустынку» прискакал за десять верст выставленный N. нарочный с известием, что владыка едет.

Глава одиннадцатая

N. тотчас же сел в экипаж и поскакал навстречу «дорогому гостю».

Помещик выехал один, потому что не считал удобным представлять владыке детей на дороге, и к тому же он не знал, «как его преосвященство с ним обойдется». После происшествия с «владычным зонтиком» N. несколько сомневался насчет владыки, и сомневался даже до такой степени, что не был уверен, удостоит ли владыка пересадить его к себе в карету, как это делали все его предшественники, или же оставит его скакать по-полицмейстерски, спереди или сзади. Это и в самом деле могло серьезно озабочивать N., потому что он очень любил почет, и все прежние п-ские владыки обыкновенно сажали его с собою в карету. Отчего же было его этим не утешить, особенно после такой *двусмысленной* истории с «владычным зонтиком», которую человек более решительный назвал бы просто «владычным нигилизмом»?

И вот, с небольшим через полчаса, на пологом косогоре, далеко видном с верхнего этажа дома, показался быстро несшийся столб пыли, а в нем

архиерейский поезд, который, однако, оказался очень малым. К храму подскакали только троечные дрожки, в которых сидел несколько недовольный или смущенный N., а в карете очень простой старичок с добродушным лицом, в черном клобучке, за ними же, в заднем кабриолете за каретою, человек, который один и составлял *всю свиту* архиерея. Это, между прочим, было одною из причин заметного на липе хозяина смущения. N. не привык к такой простоте и считал ее новым признаком всюду проникающего нигилизма, который мог иметь дурное влияние не только на крестьян, но и на детей владельца и на самое духовенство. К тому же эта столь желанная и столь благодетельная для бедного сельского духовенства простота оставляла без употребления многое из приготовленного к угощению предполагаемой обширной компании и портила весь эффект встречи. Даже и «исполлаети деспота» некому было грянуть при входе владыки. Как хотите судите, а добрый православист не мог оставаться спокоен и доволен, видя такое «разорение отеческого обычая».

Но кроме того, N. имел еще сугубое огорчение в том, что владыка не только не посадил его в карету, а даже «уязвил его» за усердие. А именно,

он просто раскланялся с N. в окно и спросил:

— Куда поспешаете? верно, по делу хозяйственному? Резент! Дела прежде всего, а я и без вас справлюсь.

— Нет, как можно, владыко! Я нарочно выехал навстречу вашему преосвященству.

— А для какой причины?

N. смешался; он не ожидал такого странного вопроса и отвечал:

— Так… хотел засвидетельствовать вам мое почтение.

— Ну вот! эко дело какое! Это и дома бы можно.

— Хотел благословения, владыко…

— Ага! благословения; ну, Боже вас благослови, отвечал владыка, — а теперь садитесь же поскорей на свое место да погоняйте. Жарынь, я устал, в холодок хочется.

И, усадив N. на его прежнее местечко, владыка прикатил, как доселе ехал, один в своей карете и затем непосредственно начал ряд крайне смущавших благочестивого хозяина «странных поступков в нигилистическом штиле».

Во-первых, епископ ходил скоро, и когда, при вступлении его в церковь, дети помещика (между коими один был в мундире кавалерийского

офицера) пропели «Достойно есть» и «Исполатие», то он остановился и слушал их с большим вниманием и удовольствием, а потом похвалил их и, скоро обойдя храм, опять принялся хвалить их стройное пение. Узнав же от молодых людей, по выходе из церкви, что они составляют домашний хор, которым исполняют оперное хоровое пение, пожелал послушать их *светское пение*. Это старому N. казалось уже совсем соблазнительно, а молодые люди с удовольствием спели для епископа несколько мест из «Жизни за царя» и из «Руслана», а также из «Фауста» и из «Пророка».

Владыка все слушал и все одобрял. Затем, усмотрев, что недалеко перед домом на лужайке убирают сено, он захотел пройтись на покос и был так прост, что взял из рук одной девушки грабли и сам прогреб ряд сухого сена. А на обратном пути с сенокоса к дому, повстречав возы с сеном, он до того увлекся мирскими воспоминаниями, что проговорил из козловского «Чернеца»:

Вот воз, укладенный снопами,
И на возу, среди снопов,
Сидит в венке из васильков
Младенец с чудными глазами.

И опять все простое, человеческое, а ничего ни

о попах, ни о дьяконах и о просвирнях. К вечеру же владыка даже пожелал половить в местном пруду карасей, смотрел на эту ловлю с большим удовольствием и не раз ее похваливал, приговаривая:

— Старинная работка апостольская! Надо быть ближе к природе она успокоивает. Иисус Христос все моря да горки любил да при озерцах сиживал. Хорошо над водою думать.

И так он провел весь день совсем без всяких разговоров о странниках и юродивых и, покушав чаю, отказался от ужина и попросил себе только «Христова кушанья», то есть *печеной рыбки*. Затем он ушел в отведенные ему комнаты, но от услуг N., который его сопровождал и просил позволения прочитать ему полунощницу, отказался, сказавши:

— До полунощи еще далеко; я тогда сам почитаю, а пока пришлите-ка мне какой-нибудь журнальчик.

— Какой прикажете, владыка: «Странник» или «Православный собеседник»?

— Ну, эти я дома прочту, а теперь нет ли — где господин Щедрин пишет?

Старый N. этого не понял, но молодые поняли и послали владыке «Отечественные записки»,

которые тот и читал до тех самых пор, пока ему приспел час становиться на полунощницу. Своего дела он, несмотря на всю усталость, не опустил огонь в его окнах светился далеко за полночь, а рано утром на другой день епископ уже дал духовенству аудиенцию, но опять очень странную: он все говорил с духовенством *на ходу* — гуляя по саду, и потом немедленно стал собираться далее в путь, в город О.

Бенефис, который готовил себе в архиерейском посещении N., совершенно не удался, и только «высокое почтение к сану» воздерживало хозяина от критики «не по поступкам поступающего» гостя. Зато младшее поколение было в восторге от милой простоты владыки, и владыка в свою очередь, по-видимому, чувствовал искренность сердечно возлюбившей его молодежи.

Это можно было видеть из всего его поведения, и особенно из того, что, не соглашаясь оставаться обедать по просьбе самого N., он не выдержал и сдался, когда к нему приступили с этою просьбою кавалерист, два студента и молодые девушки и дамы. Он их только спросил:

— Но для какой же причины я должен еще остаться?

— Да нам, ваше преосвященство, хочется с вами

побыть.

— А по какой причине вам так хочется?

— Так… с вами как-то очень приятно.

— Вот тебе раз!

Владыка улыбнулся и добавил:

— Ну, если приятно, так резент: я остаюсь только вы мне за это хорошенько попойте.

И он остался, попросив хозяина не беспокоиться особенно о его обеде, потому что он все «предлагаемое» кушает[96]. Просидев почти все дообеденное время в зале, владыка опять слушал, как ему, под аккомпанемент фортепиано, пропели лучшие номера из «Жизни за царя», «Руслана» и многих других опер.

Откушав же, он тотчас стал собираться ехать, и карета его была подана во время кофе. Он как приехал один с своим слугою «Сэмэном», так с ним же одним хотел и уезжать, но три молодые брата N. явились к нему с просьбою позволить им

---

[96] Примечания: 96

Кушать «предлагаемое» без строгой критики, кажется, не только позволительно, но даже полезно, а несоблюдение этого, напротив, ведет иногда к соблазнам, и притом таким, которые после никак нельзя разъяснить. Так, например, епископ Л., посетив в г. Минске известного епископа Михаила (из униатов), остался у него кушать с некоторым страхом, потому что был предубежден, будто владыка Михаил кушает мясное. Но как к столу были званы и другие гости, то преосвященный Л. думал, что при людях этого

проводить его до г. О.[97]

— А по какой причине меня надо провожать? спросил владыка.

— Здесь глухая дорога, ваше преосвященство.

— А я не боюсь глухой дороги: у меня денег только триста рублей, и те честным трудом заработаны.

— Да нам хочется вас провожать, владыка.

— А если хочется… это резент, сопровождайте.

И поездка состоялась с провожатыми. Архиерей сел, как приехал, в свою карету, а впереди его курьерами снарядились в большом казанском тарантасе три рослые молодца: мировой посредник, офицер и университетский студент. Сам хозяин, видя, что его владыка не приглашает, остался дома. Он удовольствовался только тем,

---

[97] Примечания: 97

не случится. Но предубежденность преосвященного Л. довела его до того, что все подаваемые к столу блюда стали ему казаться мясными!

— Не могу, владыка, — сказал гость хозяину, отведав одну ложку, это говяжий бульон.

— Успокойтесь, ваше преосвященство: это такая уха.

— Какая же это уха?

— Уха, я вам докладываю, и прошу кушать.

Но преосвященный Л. не поверил и кушал хотя не без аппетита, но со смущением, а через то, разумеется, предубежденность его еще более увеличилась. И вот подают второе блюдо, сделанное вперекладку, и хозяин спрашивает гостя:

— Какой рыбы позволите вам положить, этой или этой?

Но предубежденный гость уже совсем на блюде рыбы не видит, а видит только рябчиков вперекладку с индейкой!..

И предубежденному епископу Л. все это было так трудно скушать, что у него сделалась отрыжка, на которую он не переставал жаловаться даже до самого недавнего времени, когда епископ Михаил уже был удален на покой и должен был сократить свое хлебосольство до крайнего minimum'а. (*Прим. автора.*)

что проводил поезд за рубеж своих владений и, принимая здесь прощальное благословение от архиерея, выразил ему свою о нем заботливость.

— В О. там ничего нельзя достать, владыка, так вы меня не осудите.

— А по какой причине я вас могу осуждать?

— Я велел кое-что сунуть вашему слуге под сиденье.

— А что именно вы под моего Сэмэна подсунули?

— Немножко закусочек и… шипучего.

— А для чего шипучего?

— Пусть будет.

— Ну, резент; пусть будет. Сэмэн, сохрани, друг, под тебя подложенное.

И с тем хозяин возвратился, а поезд тронулся далее.

От «пустынки» до города О. на хороших разгонных конях ездят одною большою упряжкою, и владыка, выехавший после раннего обеда, должен был приехать в город к вечеру. Время стояло погожее, и грунтовые дороги были в порядке, а потому никаких «непредвиденностей» не предвиделось, и оба экипажа пронеслись доброе полпути совершенно благополучно и даже весело. Веселости настроения, конечно, немало

содействовало и то, что путники, скакавшие впереди в тарантасе, молодые люди, тоже выехали не без запаса и притом не закладывали его очень далеко. Но они не совсем верно разочли и раньше времени заметили, что оживлявшая их возбудительная влага исчезла прежде, чем путь пришел к концу. Достать же восполнение оскудевшего дорогою негде было… кроме как у архиерея, которому хлебосольный старец предупредительно сунул что-то под его Сэмэна.

И вот расшалившаяся молодежь немножко позабылась и пришла к дерзкой мысли воспользоваться архиерейским запасом. Весь вопрос был только в том: как это сделать? Просто остановиться и попросить у архиерея вина из его запаса казалось неловко, обратиться же за этим к Сэмэну еще несообразнее. А между тем вина достать хотелось во что бы то ни стало, и желание это было исполнено.

Ехавший впереди тарантас вдруг остановился, и три молодые человека в самых почтительных позах явились у дверец архиерейской кареты.

Владыка выглянул и, увидев стоявшего перед ним с рукою у козырька кавалериста, вопросил:

— По какой это причине мы стали?

— Здесь, ваше преосвященство, в обычае: на

этом месте все останавливаются.

— А по какой причине такой обычай?

— Тут, кто имеет с собою запас, всегда тосты пьют.

— Вот те на! А по какой же это причине?

— С этого места… были замечены первые месторождения руд, обогативших отечественную промышленность.

— Это резент! — ответил владыка, — если сие справедливо, то я такому обычаю не противник. И, открыв у себя за спиною в карете форточку, через которую он мог отдавать приказания помещавшемуся в заднем кабриолете Сэмэну, скомандовал:

— Сэмэн, шипучего!

Сэмэн открыл свои запасы, пробка хлопнула, и компания, распив бутылку шампанского, поехала далее.

Но проехали еще верст десять, и опять тарантас стал, а у окна архиерейской кареты опять три молодца, предводимые офицером с рукою у козырька.

Владыка снова выглянул и спрашивает:

— Теперь по какой причине стали?

— Опять важное место, ваше преосвященство.

— А по какой причине оно важно?

— Здесь Пугачев проходил, ваше преосвященство, и был разбит императорскими войсками.

— Резент, и хотя факт сомнителен, чтобы это было здесь, но тем не менее, Сэмэн, шипучего!

Прокатили еще, и опять тарантас стоит, а молодые люди снова у окна кареты.

— Еще по какой причине стали? — осведомляется владыка.

— Надо тост выпить, ваше преосвященство.

— А по какой причине?

— Здесь, ваше преосвященство, самая высокая сосна во всем уезде.

— Резент, и хотя факт совершенно не достоверен, но, Сэмэн, шипучего!

Но «Сэмэн» не ответил, а звавший его владыка, глянув в форточку, всплеснул руками и воскликнул:

— Ахти мне! мой Сэмэн отвалился!

Происшествие случилось удивительное: за каретою действительно не было не только Сэмэна, но не было и всего заднего кабриолета, в котором помещалась эта особа со всем, что под оную было подсунуто.

Молодые люди были просто поражены этим происшествием, но владыка, определив значение факта, сам их успокоил и указал им, что надо

делать.

— Ничего, — сказал он, — это событие естественно. Сэмэн отвалился по той причине, что карета и вся скоро развалится. Поищите его поскорее по дороге, не зашибся ли!

Тарантас поскакал назад искать отвалившегося Сэмэна, которого и нашли всего версты за две, совершенно целого, но весь бывший под ним запас шипучего исчез, потому что бутылки разбились при падении кабриолета.

Насилу кое-как прицепили этот кабриолет на задние долгие дроги тарантаса, а Сэмэна усадили на козлы и привезли обратно к владыке, который тоже не мог не улыбаться по поводу всей этой истории и, тихо снося довольно грубое ворчание отвалившегося Сэмэна, уговаривал его:

— Ну, по какой причине так гневаться? Кто виноват, что карета *напъянилась*.

По таком финале поезд достиг города, где сопровождавшие владыку молодые люди озаботились тщательно укрепить кабриолет Сэмэна к карете и здесь, прощаясь с преосвященным Н-м, испросили у него прощения за свою вчерашнюю шалость.

— Бог простит, Бог простит, — отвечал владыка. Ребята добрые, я вас полюбил и угощал за то, что

согласно живете.

— Но, владыка… вы сами так снисходительны и добры… Мы вас никогда не забудем.

— Ну вот! петушки хвалят кукука за то, что хвалит он петушков. Меня помнить нечего: умру одним монахом поменеет, и только. А вы помните того, кто велел, чтобы все мы любили друг друга.

И с этим молодежь рассталась с добрым старцем навсегда.

Кажется, по осени того же года старший из этих трех братьев, необыкновенно хорошо передававший maniere de parler[98] епископа Н-та, войдя с приезда в свой кабинет, где были в сборе короткие люди дома, воскликнул:

— Грустная новость, господа!

— Что такое?

— Сэмэн больше уже не даст петушкам шипучего! — сказал он, подражая интонации преосвященного Н-та.

— А по какой причине? — вопросили его в тот же голос.

— Милый старичок наш умер вот нумер газеты, читайте.

В газете действительно стояло, что преосвя-

---

[98] Примечания: 98
Манеру разговора (*франц.*).

щенный Н-т скончался, и скончался в дороге. Вероятно, при нем был его «Сэмэн», но как о малых людях, состоящих при таких особах, не говорится, то о нем не упоминалось. Впрочем, хотя все это было сказано по-казенному, но, однако, не обошлось без теплоты, вероятно совсем не зависевшей от хроникера. Сказано было о каком-то сопровождавшем владыку протоиерее, которому добрый старец, умирая, устно завещал употребить на доброе дело всё те же пресловутые триста рублей, «нажитые им честным трудом» и составлявшие *все* оставленное этим архиепископом наследство. Деньги эти он всегда носил при себе, и они оказались в его подряснике.

Как он их «нажил честным трудом», это остается не выяснено, но некто, знавший покойника, полагает, что, вероятно, он получил их за сделанный им когда-то перевод какой-то ученой греческой книги.

Наступник этого ласкового и снисходительного епископа, ездившего в ветхой карете и читавшего на сон грядущий сатиры Щедрина, кажется, не имел никаких поводов жаловаться, что предместник его сдал ему епархию в беспорядке. Она, подобно многим частям русского управления, умела прекрасно управляться сама собою, к чему

русские люди, как известно, отменно способны, если только тот, кто ими правит, способен убедить их, что он им верит и не хочет докучать им на всякий шаг беспокойною подозрительностью.

За сим, сказав мир праху и добрую память доброму старцу, перейдем к лицам тоже добрым, но гораздо более тонким и политичным.

Глава двенадцатая

Есть очень распространенное, но совершенно ложное мнение, будто наши архиереи все зауряд люди крутые и неподатливые, будто они совсем безжалостны к скорбям и нуждам мирских человеков. Такое давно сложившееся, но, как я смею думать, неосновательное или по крайней мере слишком одностороннее мнение особенно раздражительно выразилось в последнее время, то есть именно в то время, когда представительство церкви, по-видимому, как будто начало сознавать необходимость не раздражать более против себя русское общество и без того раздраженное до весьма искренней неприязни к духовенству.

Новый повод к самым сильным раздражениям был дан в 1878 году, и причиною к нему было так называемое в газетах неожиданное «фиаско брачного вопроса в Св. Синоде».

Синодальные суждения по этому *ноющему* вопросу русской жизни далеко не вполне известны всему обществу, которое должно было довольствоваться только краткими «резюме», а в них для него не было ничего утешительного. Люди, несчастливые в браке, опять остались в

безотрадном и безвыходном положении тянуть целую жизнь тяжкое и неудобоносимое бремя несносного сожительства при взаимных неладах и ненависти. Выходы остались прежние: или смерть, или клятвопреступническая процедура нынешнего развода, или преступление вроде того, какое нам являет судебная хроника в харьковском деле об убийстве доктора Ковальчукова. Желать смерти даже ненавистного человека отвратительно; искать союза с клятвопреступниками, содействие которых необходимо при нынешних законах о разводе, не менее отвратительно и притом стоит очень дорого. Это возможно только людям богатым, а семейное счастье желательно и потребно каждому, бедному оно даже нужнее, чем богатому. Третий способ разделаться с ненавистным союзом есть преступление, на которое, к счастью человечества, способны очень немногие относительно всего числа несчастливых супругов. Далее, выходя из всякого терпения, люди, при какой-нибудь доле благоразумия, предпочитают то, что, по господствующим понятиям, хотя и составляет позор, но при всем том дает людям какой-нибудь призрак семейного счастья: у нас все более и более распространяется безбрачное сожительство поневоле.

Люди эти несут некоторое тяжкое отчуждение и, страдая от него, конечно не благословляют и никогда не благословят тех, кого они считают виновниками своих несчастий, то есть защитников тягостнейших и невыносимых условий нерасторжимого брака при несходстве нрава и характеров.

Понятно, что когда, при таких обстоятельствах, обществу стало известно, что брачный вопрос, поднятый в синоде по почину бывшего об. прок. гр. Толстого, лица светского чина, «потерпел полнейшее фиаско» по неподатливости лиц чина духовного, то это не содействовало притуплению чувства раздражения, питаемого многими против епископов, но, напротив, рожон, против которого решились прать представители церкви, еще более обострился. Послышались речи памятные и страшные, которые можно извинить только тем состоянием ужасной намученности, от которой впадали в отчаяние люди, потерявшие в этом «фиаско» всякую надежду поправить свою несчастную жизнь. Говорили: «Наши епископы, верно, сами хотят доводить нас до клятвопреступничества и даже до преступлений еще более тяжких! Пусть же будет так, но тогда мы знать не хотим этой церкви, у которой такие жестокие

предстоятели».

И было это раздраженное, но неосновательное слово так внятно и так жестоко, что оно, кажется, должно бы проникнуть и за те высокие стены, которыми ограждали себя неподатливые устроители этого фиаско. И было бы непонятно и ужасно, как этот стон не тревожил их сна и не вредил их аппетиту, если бы… *если бы они могли поступить иначе*. Но дело именно таково, что при данном ему направлении они, *как люди духовного чина*, не могли поступить иначе: они не могли руководиться ни чувствами, ни логикою явлений, которые решительно становят нас на сторону лиц, считающих пересмотр и реформу брачного вопроса в России настоятельно необходимыми. Их действиями правила и должна была править логика иных начал, от которых они не могли и не могут отступить своею властью. Но общество наше, или вовсе не знающее церковной истории, или знающее ее только по учебникам, одобренным Св. Синодом, никаких подобных вопросов не может здраво обсуждать, а умеет только раздражаться. Оно *так воспитано*.

Но здесь не место разбирать интереснейший и самый животрепещущий брачный вопрос, с непостижимым и, можно сказать, предосудительным

равнодушием оставляемый нынче без внимания нашей печатью[99]. Тронув его, надо тронуть очень большую и важную материю, для чего потребовалось бы не только много времени и места, но и много знания и обстоятельности, а моя задача иная, более легкая и более общая. Я не пишу исследования причин фиаско брачного вопроса в Св. Синоде в 1878 году и не обязан представлять критике воззрений, руководивших устроителями этого фиаско. Я хочу только показать живыми очерками архиерейских отношений к людям, страдавшим от пут этого рокового вопроса, что об архиереях несправедливо заключать по этому «фиаско». Многие (если не все) епископы в душе совсем не так жестки и бессердечны, как это думают озлобленные мученики семейного ада, и

[99] Примечания: 99

Очень замечательно, что печать довольно усердно и довольно основательно трогала этот вопрос, когда он совсем не циркулировал в правительственных сферах (см. статьи г. Филиппова в «Современнике»); но когда вопрос поступил на очередь и подлежал решению, печать не оказала ему сравнительно самой малой доли того внимания, на которое надлежало бы, кажется, рассчитывать в интересах общества. Потеря от этого для общества произошла большая. Конечно, нет никакого основания думать, что даже самая энергическая поддержка со стороны печати могла изменить сущность решения, которое можно было предвидеть и которое не могло быть иным при данном этому делу направлении. Но печать, несомненно, могла придать вопросу всю важность его общественного значения и указать другие основания, на коих вопрос о браке может быть и должен быть рассмотрен в сферах, властных дать ему исход более надежный и более удовлетворяющий положению самому мучительному и невыносимому. Печать в этом

случае не была связана ничем, кроме разве изобилия более интересных материалов, постоянно накопляющихся в деловых портфелях русских редакций. Мне, однако, достоверно известно, что лучший компромисс, при котором можно было ожидать самого удовлетворительного решения нашего брачного вопроса, был предложен не публицистами и не юристами, а епископом Филаретом Филаретовым (ум. в Риге), очень умное неофициальное заявление которого обер-прокурору Д. А. Толстому, к сожалению, оставлено без внимания. Немудрено, что, когда мучительный вопрос о брачной реформе снова появится на сцене, это резонное мнение будет уже слишком прочно позабыто и дело опять пойдет не лучшим путем и опять завалится в долгий ящик. (*Прим. автора.*)

я приведу тому небезынтересные и характерные примеры в наступающих рассказах. Они, как я надеюсь, могут показать, что нашим архиереям вовсе не чужды доходящие до них скорби мирских человеков, нуждающихся в милосердном снисхождении к их брачным затруднениям. Мы увидим, что архиереи иногда делают для облегчения этих затруднений не только все, что могут, но даже порою идут в своем соболезновании гораздо далее.

Первый случай такого рода я знаю в моем собственном родстве.

Некто А. Т‹иньков›, довольно родовитый и крупный помещик О‹рлов›ской губернии, был женат на своей кузине. Несмотря на их непозволительный по степени родства брак, они были обвенчаны и жили так благополучно, как будто на союз их самым законным образом низошло самое полнейшее божеское благословение, которого, казалось бы, ничто не в состоянии нарушить. И муж и жена были известны за очень хороших людей, каковыми, вероятно, считал их и местный преосвященный Поликарп, очень строгий монах и чудак, но очень добрый человек, неоднократно посещавший супругов Т-вых в их родовом селе Х‹омут›ах на берегу реки Оки. У Т-

вых было уже несколько детей, и вдруг над ними грянул гром, и притом, что называется, грянул не из тучи, а из навозной кучи. Божие благословение, благоуспешно призванное на это семейство церковью и, видимо, на нем опочившее, захотел снять и снял пьяный дьячок. Это был изрядный забулдыга, который повадился ходить к А. Т. «кучиться», то есть просить у него то дровец, то соломы. Он страшно надоедал этим попрошайством, которое вдобавок обратил в промысел: что выпрашивал, то не довозил до дому, а переводил в кабаке на вино.

Узнав об этом, Т. прекратил отпуск дьячку яровой соломы, и когда тот опять стал докучать и попал под руку во время крайней досады, причиненной прорвою мельничной плотины, то Т. прогнал его не совсем вежливо и, по былой дворянской распущенности, не придал этому особенного значения. Велика ли важность велеть людям вытолкать пьяного дьячка из дому? Но дьячок был на сей раз с амбициею: он почел причиненную ему обиду за важное и отметил за себя знатно и чисто по-дьячковски.

Неделю или две спустя после этого домашнего события в селе Х-х Т. получил от домашнего секретаря покойного еп. Поликарпа приглашение

немедленно пожаловать в город к владыке по самому важному делу.

Таинственное дело это был донос, присланный обиженным дьячком, на незаконность брака Т-ых, повенчанных в недозволенной степени родства.

Еп. Поликарп вызвал Т-ва только для того, чтобы сообщить ему об этом неприятном событии, которого архиерей никак не мог оставить без последствий, и рекомендовал Т-ву по дружбе спешить в Петербург, где назвал дельца, способного уложить все дело о расторжении брака «под сукно, до умертвия».

Т. запасся знатною и, по его соображениям, достаточною для удовлетворения дельца суммою, простился с детьми и с опечаленною женою и прикатил в Петербург.

Я его постоянно видел у себя в эту пору и знаю все перипетии дела до мельчайших подробностей. Оно началось, как говорят, «с удавки». Хорошо аттестованный преосвященным Поликарпом делец даже и состоятельному Т-ву приходился не под силу. Не за то, чтобы опровергнуть донос и утвердить брак двоюродного брата с сестрою, а только за то, «чтобы уложить дело до умертвия», он, не обинуясь, запросил русскую

сказочную цену «до полцарства» и ни о чем меньше не хотел и разговаривать. «Полцарства» — это был его прификс.

Дело это происходило лет двадцать пять — двадцать шесть тому назад, и учреждение, от которого оно зависело, было не в нынешнем составе; но, однако, уже и тогда в нем появлялись новые отважные люди, заменившие старинных подьячих, бравших «помельче да почаще». Преосвященный Поликарп, конечно, и не знал этого нового типа облагороженных взяточников, перед которыми прежние «хапунцы аки бы кроткие агнцы». Притом же делец стоял на почве законности и, стало быть, мог никого не бояться. Что было делать? «Отдать до полцарства», как он просил с остроумною шутливостью, конечно было жалко, да и жирно. Это составляло тысяч около тридцати. Но остановиться на одних переговорах и не дать этих денег значило явно погубить дело самым решительным и притом безотлагательным способом. Делец слыл за человека сколько смелого и ловкого, столько же корыстолюбивого, злого и мстительного.

Все это Т-в соображал и обсуждал, бродя целых три месяца в Петербурге, между тем как в О‹рле› дело его было уже решено как нельзя для него

хуже.

Думал, думал бедный Т-в и, наконец, истерзанный мучениями жены и раздраженный тоскою и огромными упущениями по хозяйству, решился дать алчному чиновнику «до полцарства». Но как такой наличной суммы у помещика в руках не было и реализовать ее тогда было еще труднее, чем нынче, делец же был, разумеется, человек осторожный и не шел ни на какие сделки, а требовал наличность, то ввиду всего этого Т. послал жене распоряжение немедленно запродать все свое имение приценившемуся к нему богачу М-ву, а деньги доставить как можно скорее в Петербург для вручения их дорогому благодетелю.

Молодая дама, конечно, не прочь была исполнить требование мужа, но, по свойственной большинству дам бережливости, не могла расстаться с своим добром, по крайней мере хоть не оплакав его. Ей хотелось спасти свой брак, но нестерпимо жаль было сразу лишиться «до полуцарства».

И вот, по непростительному, но опять весьма свойственному некоторым дамам радикализму, расстроенной молодой женщине вдруг стало представляться, что вся эта игра не стоит такой дорогой свечки.

«Бросить все, да и конец сразу со всеми дьячками и попами и теми, кто еще их повыше», — вот что внезапно пришло ей в ее расчетливую головку.

Она с большим трудом удержалась отписать в этом тоне мужу и еще с бóльшим усилием заставила себя ехать в г. О. с тем, чтобы начать там переговоры о желании продать родовое имение, которое злополучные супруги надеялись передать детям.

В горе, почти близком к отчаянию, прибыла Т-ва в О. и послала человека за некиим «Воробьем», мещанином, исполнявшим тогда в этом городе всякие маклерские комиссии, но посол не застал знаменитого «Воробья» дома; огорченная же дама, чтобы не сидеть одной вечер с своим горем, вздумала проехать к кому-нибудь из своих посоветоваться. Но дело было летом, когда О., представлявший тогда, по выражению близко знавшего его романиста, «дворянское гнездо», был пуст: вся его родовая знать жила в эту пору в своих местностях, и советоваться было не с кем, с местными же деловиками дама не хотела говорить, да и не видала в том никакой для себя пользы.

В таком положении, грустная и одинокая, не

видя ни в ком из людей помощи и защиты, она вспомнила о самом последнем помощнике, призываемом как бы из-за штата, она вспомнила о Боге. Мысль отдать праздный и тяготящий своею пустотою час молитве показалась ей такою утешительною и счастливою, что она немедленно же привела ее в исполнение.

Случай благоприятствовал молитвенному настроению огорченной дамы: в то самое время, как она пожелала обратиться к «последнему защитнику», в церквах ударили ко всенощной, и люди потянулись к храмам. В это время в О. была «болезнь на людях», и все население города было настроено построже, почутче и побогобоязнее. Т-ва вспомнила об уютном уголке в домовой церкви преосвящ. Поликарпа и немедленно же отправилась туда «выплакаться: не просветит ли бог, что ей сделать?».

Таковы, по ее собственным словам, были ее мысли, которым она намерена была просить услышания.

Вздумано и сделано: Т-ва приехала в монастырь и застала домовую церковь довольно отдаленного архиерейского дома почти совсем пустою. Всенощную служил простой иеромонах, а архиерея не было видно: как после оказалось, он стоял

у себя в комнате, из которой, по довольно общему архиерейским домам обычаю, было проделано в церковь окно, занавешенное голубою марлею.

Т-ва стала на колени в уголке, за левым клиросом, и молилась жарко, сама не помня откуда взяв для своей молитвы слова:

«Боже! по суду любящих имя твое, спаси нас!»

Иного она ничего не могла ни собрать в своем уме, ни сложить на устах и, как ветхозаветная Анна, только плакала и шептала:

— Спаси нас, по суду любящих твое имя, — и в том была услышана.

Выплакавшись вволю, молодая женщина даже не заметила, как окончилось служение и немногие богомольцы, бывшие в церкви, стали выходить. И она встала с колен и хотела идти вон, но вдруг к ней подходит архиерейский служка и от имени владыки просит ее завернуть на минутку к преосвященному Поликарпу.

Т-ва почитала о. доброго Поликарпа и в другой раз была бы рада его зову, но теперь она чувствовала себя слишком расстроенною и отказалась.

— Поблагодарите владыку, — сказала она, — я очень бы рада услыхать его слово, но я очень, очень расстроена…

И она пошла далее, но не успела сделать

несколько шагов, как ее снова остановил запыхавшийся келейник и говорит, что владыка потому-то и просит ее к себе, что он видел в окно, как она расстроена.

— Их преосвященство и сами не совсем хорошо себя чувствуют, — добавил келейник, — желудком недомогают, но они непременно хотят говорить с вами.

Дама подумала, что архиерей, может быть, скажет ей что-нибудь полезное по ее делу, и пошла за провожатым.

Едва она вошла в зал, как тотчас была встречена самим архиереем, который ласково протягивал ей обе руки.

Наблюдая бедную женщину в церкви и заметив ее сильное расстройство, он, очевидно, и сам растрогался.

— Что за горе печальное с вами? — заговорил преосвященный участливо, переводя даму в гостиную, где усадил ее на диван и, приказав подать чай, попросил гостью рассказать «все по порядку».

Дама рассказала все, что мы уже знаем из верхних строк нашего повествования.

Архиерей закачал головою, встал и молча начал ходить.

Пройдясь несколько раз по комнате, он остановился перед гостьею и произнес:

— Дорого.

— Ужасно, владыка.

— Дорого… очень, весьма дорого!

— И посудите, владыка, где же я могу так скоро взять столько денег? — продолжала сквозь слезы дама.

— Где взять столько денег? Негде взять столько денег! Нет, это дорого.

— Но что же делать, владыка? Я должна исполнить, что приказывает муж…

— Должны, должны исполнить; мужняя воля прежде всего для хорошей жены… Но только очень дорого!

— Но как же нам быть, владыка?

— Как быть, как быть? Право, не знаю, как вам быть, но только это дорого.

— Я уже не знаю, что и предпринять…

— Да и не мудрено… Ишь как дорого!

— Не подадите ли вы, владыка, какого-нибудь совета?

— Да какие же мои советы? Я ведь вот указал на этого деловитого мужа, думал, хорошо выйдет, а он, видите, как дорого. Нет, вам надо с кем-нибудь из умных людей подумать.

— Но когда думать, владыка, и где этих умных людей теперь искать?

— Да, это правда: умные люди везде редки, а у нас даже очень редки, и кои есть еще, очень извертелись и на добро не сродни. Ишь как дорожится… подай ему «до полуцарства». А самому с чем оставаться?

— С половиною только, владыка.

— Как говорите?

— Я говорю: самим нам придется оставаться с половиною.

— С половиною-то это бы еще ничего…

— Как ничего?

— Так, половины вашей еще бы, пожалуй, достаточно, чтобы поднять детей на ноги, но… Вы, право, лучше бы обо всем этом с каким-нибудь умным человеком поговорили: умный человек мог бы вас *одним* словом на полезное наставить.

— Ах, боже! да где я его сейчас возьму, владыка, такого умного человека? вы же сами изволите говорить, что они очень редки.

— Правда, правда, умные люди очень редки, но все-таки они есть где-нибудь в черном углу.

— Я не знаю, куда за ними в какой угол метаться?… Да и в моем теперешнем положении, я думаю, и никакой умник ничего для меня по-

лезного не скажет, кроме как вынь да положь деньги, сколько требуют.

— Ох, не говорите этого; умник не то скажет.

— Право, то же скажет, владыка.

— Нет, умник иначе скажет.

Дама посмотрела на архиерея и думает:

«Что же это, твое преосвященство хитрит или помочь мне хочет», — и спрашивает его:

— А например: какое «одно слово» мог бы мне сказать умный человек?

— Умный человек умно и скажет.

— Да, ваше преосвященство, но что же бы он мог мне сказать? Какое он может знать *«одно слово»?*

— Ну, ведь это вам у него надо спросить.

— Да, но вы предположите, что я его спросила и жду его ответа… Что же он мне проговорит? Вы простите меня, ваше преосвященство, я так растерялась, что совсем бестолковая сделалась, и думаю, что в помощь мне никакой мудрец ничего изречь не может.

— Да, конечно, с вас требуют очень дорого, но мудрец все-таки мог бы порассудить…

— Но что же такое, владыка, он будет рассуждать?

— Что такое? Ну, например, будем говорить

так…

— Я вас слушаю, владыка.

— Если он мудр и к тому же добр и сострадателен…

— Добр и сострадателен, как вы, владыка.

— Нет, не так, как я, а гораздо меня более, то… отчего бы ему, например, не рассуждать так…

— Как же, как, владыка? — вопросила нетерпеливая дама.

— Ну, положим, хоть вот как, — продолжал с расстановками архиерей, — положим, что он, как умник, мог бы знать, как этого петербургского жадника безо всего оставить: он бы вам это ясно и вывел, а вы бы и успокоились.

Т-ва заплакала.

— Ах, бедная! Но чего же вы плачете?

— Владыка! вы ко мне немилостивы, это вы делаете, что я плачу.

— Я это делаю! но чем я это делаю?

— Конечно, вы, владыка! Я и так исстрадалась, но уже привыкла к мысли, что нам нет спасения, а вы оживили во мне надежду, а не хотите сказать, что же мне может присоветовать очень умный человек?

— Ну вот! разве я это знаю.

— Знаете.

— Да откуда же я знаю?

— Знаете.

Дама улыбнулась, и архиерей тоже.

— Позвольте, — сказал он, — я уже давно ни с одним умным человеком не говорил, но разве для вас… переговорить.

— Ах, переговорите, владыка! — воскликнула, всплеснув руками, дама и хотела броситься целовать его руки.

Архиерей ее удержал, посадил опять на кресло и молвил:

— Переговорить… да… переговорить… надо бы переговорить, но только…

На этом слове он неожиданно сморщился и сказал:

— Ну, извините, пожалуйста, я должен вас на минутку оставить…

С этим он повернулся к гостье спиною и быстрою походкою удалился в свои внутренние покои, откуда через неплотно притворенную дверь послышалось торопливое щелканье повернувшегося в пружинном замке ключа, и затем все стихло.

Молодая дама внезапно очутилась в полном недоумении: она решительно не могла понять, что так неожиданно отозвало от нее доброго и,

по-видимому, принимавшего в ней живое участие архиерея. Но, к счастию ее, в эту минуту появился келейник с подносом, на котором стояли две чашки чаю, сухари и варенье.

— Куда вышел владыка? — спросила тихонько дама; но келейник, несмотря на то, что имел в ухе серебряную сережку, сделал вид, будто не слышит.

— Где теперь владыка? — переспросила гостья.

Келейник более не отмалчивался, но, в тоне вопрошавшей, так же тихо ответил:

— Извините этого я объяснить вам не могу.

— Но, однако, он дома?

— О, совершенно дома-с. Они скоро выйдут.

И, как бы для большего успокоения гостьи, что внезапно покинувший ее хозяин действительно скоро вернется, служитель его преосвященства поставил на стол большую голубую севрскую фарфоровую чашку, из которой архиерей всегда кушал, и сам скрылся.

Дама снова осталась одна, но уже гораздо в более оживленном настроении. Ей, во-первых, думалось, что архиерей выйдет или не с пустыми руками, а с нужными ей тысячами, которые и предложит ей немедленно взаймы, или же он принесет ей то «одно слово» умного человека,

которое может обуздать и сделать безвредным петербургского жадника.

Конечно, вынести деньги было бы всего лучше, да притом и всего легче, так как, по мнению наших дам, у всех архиереев десятки и даже сотни тысяч всегда так и лежат готовые, на всякий случай, в шкатулке: стоит только его преосвященству щелкнуть ключом, опустить туда руку, вынуть пачки да отсчитать, вот и дело в шляпе. Ключом уже она сама слышала как его преосвященство щелкнул, а теперь он, очевидно, занят только отсчитыванием поэтому келейник и не смел сказать, где владыка находится и чем он занят, но сейчас он отложит, сколько ей нужно, денег и придет прежде, чем остынет чай в его севрской чашке. Конечно, ей будет немножко совестно брать, но что делать? если он предложит ей, она, хоть это и конфузно немножечко, все-таки возьмет, а потом она ему отдаст. Какая же в этом беда?

И вот даме стало все легче и легче смотреть на свет и думать о своем деле. Легкий, игривый ум ее теперь уж только для забавы занимался разгадкою, какое это могло быть *«одно слово»*, которое стоило только сказать и все дело поправится. Разумеется, архиерей только для политики отсылал

ее расспрашивать о таком слове умного человека, а в существе никакой другой человек тут не нужен, потому что владыка сам и есть человек умный и нужное гостье магическое слово он сам же и знает. Конечно, может быть ему нельзя, неловко выговорить это слово по его монашеским обетам или по чему-нибудь другому, но надо его к этому вынудить: надо вырвать у него это слово или *подловить* его на слове, как был подловлен известный своею тонкостью министр, которого она видела в театре, в прекрасно исполняемой Самойловым пьеске «Одно слово министру». Она вспомнила и Самойлова и то слово, которое он так художественно ловит. В пьесе это слово было: «*молчать*», но какое же должно быть то слово, не в театральной пьесе, а в русском деле «о расторжении незаконного брака и о прекращении безнравственного сожительства?» Это, конечно, не мешает знать.

И только что отвлеченная всем этим дама немножко порассеялась и даже утешилась, до слуха ея долетела опять звучная пружина замка какой-то отдаленной двери какого-то таинственного архиерейского покоя, и преосвященный Поликарп, с несколько изменившимся и как бы озабоченным лицом, появился на пороге.

Он шел медленно и, конечно не без причины, держал свою правую руку за пазухою видневшегося из-под черной рясы шелкового коричневого подрясника.

Нечего было сомневаться, что он бережет тут отсчитанные им деньги.

Милой даме, имеющей общие понятия об архиерейских богатствах, конечно и в голову не приходило, что преосвященный Поликарп, как о нем говорили, «был не богаче церковной мыши»: этот архиерей был до такой степени беден, что сам занимал у своих подчиненных по «четвертной ассигнации».

Но в таком случае, что же он так бережно нес в руке, спрятанной за пазуху? Неужто «одно слово умного человека»? Но где же он нашел так скоро этого умного человека? Или у него есть свой «черный угол», где такой человек спрятан? Но тогда зачем же он посылал ее разыскивать умного человека, если такой, как Святогоров конь, у него всегда наготове под замком, удила грызет и бьет от нетерпенья копытом об измрамран пол?

Все это было невыразимо любопытно и раздражительно.

Преосвященный молча сел к столу, положил себе в свою голубую чашку ложечку варенья и

молча же начал ее долго и терпеливо размешивать.

Вежливая гостья не прерывала хозяина она только искоса поглядывала на него, стараясь проникнуть, принес ли он ей нужные для взятки деньги, или он принес только одно могучее слово очень умного человека, с которым, как ей казалось, владыка удалялся для совещания.

И ей было крайне досадно на застенчивость архиерея, который, очевидно, был чем-то смущен и как бы не решался возобновлять прерванного разговора.

Она отпила свою чашку, поставила ее на стол и сделала решительное движение, как будто готовясь встать и распроститься.

Архиерей это заметил и, тронув ее слегка за руку, произнес:

— Не торопитесь.

Она осталась. Владыка опять мешкал, работая в чашке ложечкою, и, наконец, отпив чайку, начал, покряхтывая и морщась:

— Все так и идет, поветриями… то такая болезнь, то другая… У меня на сих днях проездом из Петербурга генерал был… тоже дела имеет и тоже досадует и жалуется: «совсем, говорит, умные люди у нас переводятся; прежде будто были, а

потом стало все менее и менее, и теперь совсем нет». Как бывает годами от ветров неурожай на груши или на яблоки, так теперь недород на умы. Отчего бы это?

— Я не знаю, владыка.

— И я не знаю. Я ему только сказал, что неужели уже мы стали такое сплошь дурацкое соборище? «Не встречали ли, говорю, хоть проездом кого потолковее?» — «Да удивительно, говорит; едешь по дорогам, беседуешь, все будто умные люди обо всем так хорошо судят, а дойдут до дела, ни в ком деловитости нет». Вот не в том ли, говорю, и есть наше поветрие, что деловитые-то умы у нас все по путям ходят, а при делах заместо них приставлена бестолочь?

— К чему же это мне, владыка?

— А к тому, что умных людей действительно остается искать только в глупом месте, куда мы их забили, точно какую непотребность. Вот отчего все и трудно и нудно.

Архиерей опять остановился, а дама обнаружила новое намерение встать, но он придержал ее.

— Это очень дорого с вас хотят, — заговорил владыка.

— Уж мы в этом, ваше преосвященство, согласились. Но как это ни дорого, а все-таки я понимаю

так, что надо скорее давать деньги.

— Из чего же это явствует?

— А из того, что нет другого спасения.

— Да; а в этом-то разве есть спасение?

— Мм… по крайней мере обещают, тогда как, — добавила она, улыбнувшись, — вы, владыка, даже не хотите мне сказать, что думает о моем несчастии очень умный человек.

Архиерей поглядел на нее с некоторым недоумением и в свою очередь спросил:

— Кого вы под сим разумеете?

Дама пошла на риск и ответила напрямик, что она говорит о том, с кем владыка выходил поговорить, оставляя ее в своей гостиной.

Архиерей посмотрел на нее еще с бóльшим недоумением, но потом сию же минуту улыбнулся, махнул рукою и заговорил:

— Пх, так вы об этом!.. Куда я выходил… а что же? Пусть так. Ну, извольте: я от вас не скрою, что оный умник думал. Он тех мыслей, что деньги, разумеется, пустяки, помет в сравнении с семейным счастием, но для иной свиньи и помета жалко. По его мыслям, деньги давать не следует, ибо через то ваше семейное спокойствие не устроится.

— А как же оно может устроиться?

— Это другой вопрос.

— Но умный человек, может быть, и об этом вопросе имеет мысли?

— Имеет.

— И как же он рассуждает?

— Сократически.

— Помилуйте, владыка: что же? Я ничего в этом не понимаю. Сократ был философ, а я простая женщина.

— Это ничего не значит, Сократа все понимать могут.

— Ну, позвольте я попробую.

— Извольте. В мыслях умного человека предлагается такое суждение, как я сказал, почти в сократической форме. По какому поводу возникла вся эта история, простирающаяся ныне до половины вашего царства?

— Она возникла потому, что я и мой муж между собою двоюродные брат и сестра.

— Изрядно сказано, иначе она не могла возникнуть. Но если бы об этом никто не доносил, то не могла ли бы эта история не подниматься?

— Конечно, она никогда бы не поднялась.

— Да, возможно допустить, что она не поднялась бы, хотя это всегда подвержено случайности.

— Какой, например?

— Такой, например, что кто-нибудь из родственников вашего мужа после его смерти мог претендовать на родовое наследство и доказывать незаконность вашего брака.

— Нам это и в голову не приходило.

— Верю. Теперь, продолжая держаться того же сократического метода, основательному человеку представляется нужным определить: не был ли причиною всего донос?

— Да, разумеется донос, владыка! Я не знаю даже, зачем на этом так долго путаться?

— Позвольте, позвольте! Причиною был донос — и кем же сделан тот донос?

— Вы отлично изволите это знать: донос сделан дьячком.

— Дьячком! Действительно, донос сделал дьячок. Но человеку рассудительному может прийти в голову: одни ли только дьячки способны делать доносы, или же этим могут заниматься и другие?

— Разумеется, не одни дьячки, ваше преосвященство, могут доносить. Вы все это изволите знать.

— Верно, так: я это знаю; но дело не во мне. Умный человек далее судит: доносы могут делать не одни дьячки, а кто же еще может делать доносы?

— Разные гадкие люди.

— Гадкие… вам непременно хочется назвать их «гадкими»… Что же… конечно… разумеется… но, может быть… гм!.. дело ничего не потеряет, если мы нравственную оценку доносчиков отбросим. Для умного человека достаточно просто установить тот факт, что доносы могут делать *разные люди*. Согласны ли вы с ним на этот счет?

— С кем, владыка?

— Как с кем?… ну, с этим человеком, который так рассуждает?

— Да, я с ним во всем согласна.

— Прекрасно! Теперь, если так, рассмотрите же с ним: не следует ли допустить, что в числе различных людей, способных делать доносы, могут быть и некоторые пономари?

— Конечно, допускаю, владыка.

— Прекрасно! Но как вы думаете: не могут ли делать доносы также и некоторые дьяконы?

— Верно, могут и дьяконы.

— Могут; но проследим далее. Если это могут делать дьяконы, то уверены ли вы, что это совершенно не по силам иным священникам?

— Ах, им все по силам![100]

---

[100] Примечания: 100

Ниже мы будем иметь случай убедиться, что рассуждавших таким образом архиерея и даму нельзя винить в голословности и пристрастии. (*Прим. автора.*)

— И им это по силам, так. Ну теперь, выше восходя: что же вы скажете об иных отцах благочинных? Не благонадежны ли и они в рассуждении способностей доносить?

— То же самое скажу и о них, ваше преосвященство.

— Выше отцов благочинных нам подниматься уже не для чего. Уяснив себе все сказанное, толковый человек знает, что доносы могут поступать не от одного дьячка, а еще и от дьякона, и от попа, и от благочинного. Теперь обследуем другую сторону. По каким побуждениям сделал свой донос дьячок?

— Ему понадобился воз соломы; он пришел не вовремя, ему не дали; он рассердился и донес.

— Так; а не допускаете ли вы возможности, что пономарю может когда-нибудь понадобиться воз мякины, дьякону воз ухоботья, попу и отцу благочинному возы овса и сена, да еще мешок крупчатки?

— Это все возможно, владыка.

— Да, сведущему человеку может показаться, что все такие случайности возможны, и он смотрит, какое каждое из них может иметь для вас последствие.

— То же самое, к какому привел донос дьячка.

— Вы хорошо судите, очень хорошо судите. Следовательно, если дьячок достигает «даже до полуцарства», то того же самого могут достигнуть и поп и дьякон?

— Все равно.

— И всякий так должен судить, что это все равно; ну, а в вашем царстве сколько половин?

— Конечно, две только.

— Непременно две. Каждому известно, что во всяком целом бывают только две половины. Как же тогда быть, если половины всего две, а охотников уничтожить их множество? Не опасно ли, что таким образом из всего целого для себя не останется ни одной половины?

— То есть как это, владыка?…

— Да так; это человеку деловитому очень просто представляется. Если дьячков донос обойдется до полуцарства, и вы не успеете отдохнуть, как на вас уже пономарь донесет, подавай другую половину. Отдадите, а затем, когда дьякон съябедничает, вам уже и давать больше нечего. Так или нет?

— Совершенно так, владыка.

— Думается, что так, потому что третьей половины уже нет; и тогда что же? Тогда сукно-то вскроется, и все, под него упрятанное, выскочит

на свет. И не будет тогда у вас ни всего царства, ни законнобрачия, которого вас лишают доносы. А посему благоразумный человек думает: не лучше ли сберечь себе по крайней мере свое царство и притом не повреждать с ожесточением нравов ближних!

— Каких же это ближних, владыка?

— А духовенства.

— Помилуйте, они так сформированы, что мы ничего не можем повредить в них!

— Очень многое; увидав такую доходную статью, они станут еще более искушаться в доносах и во всем сами себя превзойдут.

— Ах, что мне до них!

— Да, это вам, светским людям, нипочем, но обстоятельные люди сана духовного так судить не могут. О нас ныне никто не печется, и потому наш долг самим предусматривать вредное и полезное и оберегать свое звание от искушений. Поверьте мне, что настоящий умный человек непременно вам это скажет. Пощадите, господа, бедное русское духовенство: дайте ему, если имеете милость, сенца и соломки, но сделайте милость, не давайте ему повода думать, что вы его на какой-нибудь случай боитесь. Пожалуйста, их к этому не поваживайте!

— Да позвольте, что мне до них за дело, владыка?

— Как что? Разве вы не русская?

— Русская я, русская, я это знаю, но потому-то я и не хочу ни о ком думать, а только боюсь доносов.

— А вы их не бойтесь.

— Да как же их не бояться?

— Так, не бойтесь; разве вы не знаете, что кто холеры не боится, того сама холера боится?

— Но ведь, однако, нас с мужем по доносу развели.

— Ну и что же: какая от сего беда?

— Та, что детей наших признали незаконными.

— А хуже этого что?

— Что же еще хуже, владыка? Я уж и сама не помню, что я там читала: вы ведь сами изволили это утвердить.

— Утвердил, согласился не мог не согласиться: решенье по закону правильно.

— Ужасно, ужасно!

— Да то-то: что же такое?

— Там что-то еще «предать покаянию», «возбранить безнравственное сожительство»… Одно слово страшнее другого.

— Да, вы правы, страшные слова, страшные

слова, а вы им… не того…

— «Не чего», владыка?

– *Не доверяйте.*

Дама поняла, что *это* и есть *одно слово умного человека,* и спросила:

— И это все?

Но архиерей вместо ответа опять сморщился, задвигал рукою, которая была у него под рясою, и проговорил:

— Да, уж извините… я должен уйти… опять поветрие.

И с этим он быстро убежал, даже не затворив за собою двери. Очевидно, что на этот раз он особенно спешил уединиться с «умным человеком».

Верно или нет поняла молодая дама *одно слово* своего епископа, но только она не возвратилась в дом свой, в деревню, а прикатила прямо в Петербург и потребовала от мужа подробного объяснения о ходе дела.

Тот ей рассказал.

— Ну так это все надо бросить, — решила дама.

— Как бросить? — удивился муж.

— А так, что теперь на нас донес дьячок, и за это мы отдадим половину состояния; потом на нас донесет дьякон, и мы должны будем отдать другую половину; а после донесет поп, и нам уже и

давать будет нечего. И тогда нас разведут, и дети наши будут и без прав и без состояния. А потому надо сберечь им что-нибудь одно. Надо дорожить существенным: сбережем им состояние.

— А права?

— Они их получат по образованию.

— А мы сами?

— Что же о нас?

— Мы не будем более мужем и женою.

— Мы будем тем, чем мы есть друг для друга и для наших детей, к которым нам пора возвратиться.

— Но… меня все тревожит…

— Что тебя еще тревожит?

— Что о нас будут говорить? Тебя будут называть не женою моею, а…

Но дама не дала мужу договорить тяжелого слова: она закрыла его губы своею ручкою и с доброю ласкою проговорила:

— Мы будем этому *не доверять*ь.

Муж поцеловал ее руку, и оба они обняли друг друга и заплакали слезами, в которых смешались и горе и радость.

Так эта Ева без больших затруднений склонила своего Адама *«не доверять»* тому, что о них писали в губернских и столичных инстанциях,

и оставила петербургского жадника без куша. Полцарства своего они никому не дали и ныне сидят на нем и преблагополучно господствуют. Их, разумеется, развели, и подписку с них взяли, и покаяние их, где надо, значилось. Все меры к прекращению их безнравственного сожительства были приняты, все страшные слова проговорены и прописаны, но разведенные супруги, держась совета, который ими, может быть, неверно и понят, все-таки никаким этим страстям «не доверяли» и поныне не доверяют, и бог их на доброй русской земле терпит. Семья их и до сих пор сохраняет свой прежний счастливый состав и мирное благоденствие, а недоверие их имеет столько заразительного, что все, их знающие, продолжают их посещать по-старому и даже сами совершенно не доверяют, что тут что-либо кем-нибудь изменено. Словом, все, что где-то, когда-то было постановлено об этих супругах, общественным доверием не пользуется. Только дьячка, по доносу которого возникла эта поучительная история, преосвященный Поликарп убрал в другое место, прежде чем сам скончался от того самого поветрия, которое мешало его этюдам в сократической форме. Одно, что изменилось, это то, что с тех пор разведенная семья увеличилась

несколькими детьми, но это никому не мешает: местный сельский батюшка, в своей деревенской простоте, приходит их и молитвовать и крестить. Его сельскому необразованию и в голову не приходит показать свою важность, как умел это сделать, например, расхваленный «образцовый священник» петербургской Знаменской церкви, Александр Тимофеевич Никольский. Этот «образцовый священник», как повествует изданная о нем похвальная книга, в похожих обстоятельствах упорно отказался помолиться над незамужнею родильницею. (Имя этой злополучной петербургской дамы, занесенное в записи о. Никольского, *целиком пропечатано* его усердными друзьями.) Он не только отказался идти к родильнице на двукратное приглашение, но не сдался в этом ни консистории, ни своему епископу. Это ему и поставлено в заслугу, хотя в деле этой дамы или девицы не только преосвященный митрополит Исидор, но даже его консисторские чиновники, конечно, были несравненно снисходительнее и человеколюбивее о. Никольского. Ему, очевидно, помешала его слишком большая начитанность: «представитель нового типа» уперся в своем противлении потому, что знал сочинения Василия Кесарийского, где вычитал,

будто «молитва назначена только для родильниц, состоящих в честном браке и в законе». Осуждать «представителя нового типа» не будем: известно, что «многие книги в неистовство прелагают» (Деян., XXVI, 24) и за то «мертвецы суд приимут от написанных в книгах» (Апок., XX, 12)[101]. Только, к счастию нашему, обыкновенные наши священники, «семинарские простецы», не имеющие широкой известности «представителей нового типа», мало знают отеческие писания, в которых весьма легко запутаться. Зато они бывают проще и покладливее, что нам, при наших строгих на все правилах, весьма необходимо. Они у нас в своей священной простоте молятся над всякою родильницею, которая их позовет, и даже совсем как бы «не доверяют», что есть рождения незаконные. Может быть, это и большой грех, как настаивал на том о. Никольский, но надо надеяться, что бог простит им этот грех их неведения, а духовное начальство, как видно из книги об отце Никольском, давно этой ошибки духовенству в фальшь не ставит. А посему, читатель, если вы имеете неосторожность разделять довольно

[101] Примечания: 101

Драгоценнее всего то, что о. Никольский вел это дело, пока добился себе порицания; но зато он и даму подвел под «епитимию по 22 правилу Василия Великого»… (*Прим. автора.*)

общее мнение, будто наши епископы по собственной охоте стремятся отяготить лежащие на нас бремена тяжкие и неудобоносимые, то поверьте, что это неосновательно. Поверьте, что, может быть, ни в какой другой русской среде, особенно в среде так называемых *«особ»*, вы не встретите такого процента людей светлых и вполне доброжелательных, как среди епископов, которые, к сожалению, большинству известны только с сухой, официальной их стороны. Человек же, как известно, *наилучше познается в мелочах*.

Глава тринадцатая

Показав отношение одного архиерея к мирянам, находившимся в затруднении по случаю расторжения их брака, я теперь покажу другого архиерея и других мирян в еще более трудном и строгом моменте в брачном деле.

В некотором большом городе жил и теперь живет крупный чиновник, Н. А. Е-в, человек почтенных лет, но с юношеским сердцем. Н. А. Е-ва любили все, кто его знал, и не любить его было трудно, так как он чрезвычайно обязательный и милый добряк. У него только два порока, или две слабости, из коих одну можно ему поставить даже и в добродетель: он большой *хлопотун*. Всю свою жизнь он за кого-нибудь просил или за кого-нибудь ручался, кого-нибудь вызволял из разного рода напастей, получая за это сам нередко более или менее чувствительные неприятности. Великое множество разнообразных несчастливцев считает его своим благодетелем, а он скорбит, что не может вызволить всех, потому что фонды его понизились и курс пал. Его беспрестанные за всех просьбы и поруки одним наскучили, а у других потеряли вес и значение. Лядащая мораль наших

прожженных дней такой сердечной докуки не терпит и не переносит.

В городе этого чудака прозвали: «Мать Софья о всех сохнет», а в семейном кружке его зовут *«дядя Никс»*, и мы удержим для него это последнее имя в нашем рассказе.

Дядя Никс был женат первым браком очень рано, на девице очень хорошего семейства, из рода владетельных князей К. Он был как нельзя более счастлив в этом браке, жена его разделяла общую к нему симпатию и уважение и нежно его любила, но счастие их было непродолжительно; молодая женщина умерла родами, оставив мужу маленького сиротку.

Вдовец очутился в грустном и трудном положении один с маленьким ребенком, которого ни за что не хотел отдать из дома. Но бог о добрых людях печется: семья покойницы, принимая живое участие в осиротевшем добряке, прислала к нему пожить и заняться им и ребенком младшую сестру умершей тоже недавно потерявшую мужа, молодую и очень симпатичную женщину, имевшую о ту пору двадцать два или двадцать три года и двух своих сироток, которых она тоже привезла к дяде Никсу.

Прекрасная вдовица обладала душою самою

нежною и была религиозна. Она имела весьма разностороннее образование и довольно замечательный музыкальный талант, а дядя Никс, вдобавок ко всему о нем сказанному, был «поэт в душе» и любил музыку.

Вдовцы зажили дружно, душа в душу, дитя одного нашло в тетке нежность утраченной матери, а дети другой обрели в попечительности дяди Никса самого заботливого отца.

Сводная семья в самое короткое время совсем слилась воедино, как родная, и глубокий траур, который все носили в этом милом *живом доме*, скоро совсем утратил свой суровый характер. Его как бы забыли замечать.

Целую зиму все знакомые люди охотно хаживали посидеть вечерок у дяди Никса и охотно предпочитали его тихие вечерки всяким иным, более шумным собраниям. Но вдруг, под исход Великого поста, приятные беседы расстроились. Причиною тому было, что хозяйка стала часто прихварывать, и хотя болезнь никому не казалась опасною, но она как-то сверх меры озабочивала всегда милого и веселого дядю Никса.

Грубые мужчины, по своей тяжеломысленности, не знали, как объяснить и чему приписать эту непостижимую и грустную перемену, но

всепроницающие очи и всезнающий ум женщин скоро разгадали тайну и объяснили ее кратким определением: милый дядя Никс, по женским приметам, очень основательно утешился.

Утешительница была в положении, которое не могло оставаться без компрометирующего ее вдовство результата.

Все это происходило в то недавнее безалаберное, но живое время, когда мы, по выражению нынешних безнатурных благоразумцев, *«захлебывались либерализмом»*, пли, попросту сказать, бурлили, не зная сами, «что льзя, и то, чего не можно».

В том из «больших центров», где невзначай произошел такой случай с утешительною дамою, это неведение ходило бесшабашными волнами и проницало всю глубь нашего мелкого житейского моря, которое не хитро на глазомер взять от гребня его валов до самого дна. И на высоте и в преисподних творились разные чудеса. О том, как околесили маленькие люди, мы более или менее знаем, а что в этом же роде натворено людьми высших положений, это еще едва-едва вылезает на свет. Во главе местной администрации нашего «центра» тогда стоял высокородовитый генерал, самой необъятной непосредственно-

сти. Его непосредственность была так велика, что он, например, мог судить о книгах, не читая их, и притом судить очень оригинально. Так, например, выдавая себя другом литературы, он говорил, что запретил бы только одну вышедшую тогда книгу, именно: «Историю конституций» А. В. Лохвицкого, но и то запретил бы ее потому, что «все это уже старо и узко». В государственном устройстве сановник метил гораздо дальше, чем брала эта книга. В семье он желал видеть, чтобы дети росли на свободе без всякого «воспитания», и достиг этого вполне в своих собственных детях, *таскающих* его имя где попало и с кем попало. Между множеством анекдотов его административной свистопляски были известны его слова, что он «не только терпеть не может низкопоклонников, но *даже любит, чтобы ему грубили*».

Находились люди, которые пробовали доставлять ему такое удовольствие, и, к чести его сказать, он иногда сносил это довольно терпеливо. Впрочем, после стал обижаться. Но еще более, чем грубиянов, он любил людей неподзаконных, то есть таких совершенных людей, которые любят становиться выше закона, будучи сами себе закон. В таких людях на Руси, как известно, недостатка нет, и сам высокий сановник тоже

был из таких совершенных людей; но он заблуждался, думая, что таковы же и все остальные современные ему правители отдельных частей управления. Особенно же он ошибался в местном владыке, которого всегда очень хвалил, говоря:

— C'est un brave homme, у него нет ni foi, ni loi[102].

Что касается архиерейской foi, то этого высокого вопроса мы поверять не будем, но что до loi, то на этот счет генерал ошибался и получил за то распеканцию.

Узнав как-то от состоявших при его важной особе сплетников по особым поручениям об анекдоте, случившемся при утешении дяди Никса его свояченицею, генерал сейчас же его пожалел, назвал pauvre diable'm[103] и возымел намерение уладить это дело.

— Что же такое, что она сестра его жены? Это не беда… Ведь та, первая ее сестра, уже умерла?

— Умерла, отвечают.

— Ну, а умерла, так эта и должна занять ее место. Она кто такая урожденная?

---

[102] Примечания: 102
Это смелый человек; у него нет ни веры, ни закона (*франц.*).

[103] Примечания: 103
Бедняк (*франц.*).

— Такая-то.

— А сестра ее?

— То же самое.

— А он какой урожденный?

Ему назвали фамилию.

— Ну вот, видите: у них совсем и фамилии разные. Это можно. Что такое за важность!

— Конечно, говорят, но по-нашему, по-православному…

— Ах, полноте, пожалуйста, что это такое за православие и в чем оно состоит, я не знаю, кроме как «Господи помилуй», да «Тебе Господи с подай Господом». Но я знаю, что это можно, потому ведь та его жена уже умерла. Так или нет?

— Так.

— Ну, и можно. Если бы они обе живы были, ну, тогда, конечно… могли быть соображения, ну, а теперь… Скажите ему, чтобы он мне повинился и попросил помочь, я очень рад и сам съезжу к нашему бонзе. Старик мне не откажет, сейчас подмахнет разрешение.

Кто-то выразил было некоторое сомнение насчет такой податливости владыки, но правитель совсем обелил его преосвященство.

— Полноте, пожалуйста; я, говорит, вам ручаюсь, что он ни во что не верит и не имеет ni foi,

ni loi.[104]

Близкие последствия показали, что оба эти мнения о владыке были неверны.

Генерал взялся за дело не только с ловкостью, но и с отвагою настоящего военного человека.

Горячность его была такова, что он, при первом же свидании с дядей Никсом, сам расспросил его в шутливом тоне: «как это вышло?» и, узнав о справедливости смущавшего Никса анекдота, сразу же его ободрил.

— Вы не смущайтесь, — сказал он, — все это в наше время сущие пустяки. Теперь, когда, можно сказать, уже никто из порядочных людей не живет с своими женами, на эти дела смотрят иначе. А вы, если хотите еще держаться старины, чтобы надевать «узы Гименея», так можете свободно жениться вторым браком на сестре вашей жены. Зачем и не побаловать даму: они ведь только егозят, будто стремятся к свободной любви, а в самом деле все очень любят выходить замуж. Им это нравится: «закон принимать», точно они все кухарки. Ну, да это ваше дело. Женитесь, я вас благословляю; и сегодня же съезжу к нашему бонзе и привезу вам от него разрешение. Он на этот

---

[104] Примечания: 104
Ни стыда, ни совести (*франц.*).

счет бесподобен: что вам нужно, все разрешит.

Дядя Никс не отказал генералу в праве ходатайствовать, и тот поскакал с этим полномочием к владыке, но оттуда возвратился чрезвычайно скоро и такой рассерженный, что сразу же начал перед дядею Никсом бранить «бесподобного» *толстоносым невежею, тупым бонзою и упрямым козлом.*

— Никогда себе этого не прощу, что взялся с ним об этом говорить, — пылил генерал. Помилуйте, я всегда был уверен, что он прекрасный старик, что у него ni foi, ni loi, а он, выходит, прехитрый мужичонко! Он все от меня выслушал и улыбался, а потом вдруг давай ахать:

— Ай-ай-ай! — говорит, — какое ужасное дело! Беременная родная сестра его жены. Боже, какая безнравственность!

Я хотел в шутку — говорю:

— Ну, полноте, ваше преосвященство: что за важность!

А он скроил этакую благочестивую мину и отвечает:

— Как что за важность! Ай-ай-ай! Беременна… родная сестра его жены… и он хочет на ней жениться… на родной сестре своей жены… И вы, верховный сановник и правитель, изволите

сообщать об этом мне, вашему епархиальному архиерею, и требуете, чтобы я вам дал на это разрешение! Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Как вы могли за это взяться!

Я говорю:

— Просят меня, ну и я прошу.

— Да помилуйте, мало ли о чем иногда просят! Нет, это ужасно, ужасно, ужасно! Я, разумеется, не удивляюсь вашей всем известной доброте, притом же, хотя вы и должны знать законы, но вы в военной службе служили и законов не изучали.

Я говорю:

— Черт их знает, я их действительно не знаю!

— Ну, он говорит, это вас, конечно, и извиняет, но тот, кто вас об этом просил, не извинителен. Удивляюсь, много удивляюсь, как он, зная законы, мог решиться позволить себе беспокоить особу столь высокого, как вы, звания такою беззаконною просьбою! Статочно ли это, чтобы вы, в вашем положении, просили меня, архиерея, разрешить известному человеку жениться на родной сестре его покойной жены! Ай-ай-ай! Надо его пощунять, да, пощунять его, пощунять. Пожалуйста, ко мне его пришлите, пришлите: я его у себя сам погоняю. Ишь какой дерзкий, как он смел вас так подводить под такую глупость!

Пришлите! Этого без штрафа оставить нельзя.

И, передав с точностию речь архиерея, сановник отмахнул по-военному рукою и добавил:

— Так вот, что теперь изволили заварить, то и извольте расхлебывать: отправляйтесь к нему и извольте объясняться с ним сами, а я более пас. Да-с, я пас, пас, хоть бы у вас не одна свояченица, а полный дом женщин сделались беременными.

Переконфуженный дядя Никс попробовал было отговориться, что уже лучше, мол, все это бросить и не просить и не ехать объясняться, но сановник был не так настроен.

— А нет-с, покорно вас благодарю, — отвечал он, нет-с, извините, ведь это я тут замешан, а я не хочу, чтобы это на мне и оставалось. Начали, так надо доделывать. Он теперь еще, пожалуй, пойдет рассказывать, что я приезжал по такому делу… Нет-с, вы начали вы и кончайте: извольте ехать, да-с, и даже немедленно извольте ехать. Завтра именно извольте ехать и объясняйтесь с ним как знаете, только чтобы я тут был ни при чем. Он мне, может быть, сто раз повторил, чтобы вас прислать, и я вас посылаю, да, сейчас извольте ехать, сейчас!

— Завтра, — говорит дядя Никс.

— Нет-с, сейчас, сейчас, сию минуту! Я имею

основание не хотеть, чтобы такое скандальное дело за мною числилось, и я вас прошу, я вам, наконец, *приказываю* от этого скандального дела меня очистить.

Дядя Никс насилу мог отпроситься отложить свою явку владыке до завтра. Он провел самую беспокойную ночь, скрывая от семейных причину своей тревоги, но открыл ее одному из близких друзей и все у него допытывался мнения, как тот думает: «съест или не съест его завтра разгневанный епископ?»

Но вопрошаемый знал об этом столько же, как вопрошавший, и рассуждал, что «пожалуй, съест, а пожалуй, и не съест».

Шутя, они даже по пальцам гадали, но ничего не угадали: раз выходит, что съест, а другой не съест.

Не добьешься толку: ворожба тайных дум освященного лица не раскрывала. Так, ничего не зная, что будет, Дядя Никс на следующий день, в подходящий час, отправился с стесненным сердцем к его высокопреосвященству, от которого ожидал услыхать невесть какие неприятные для себя напрягаи и строгости.

Архиерей не забыл о дяде Никсе и даже, веро-

ятно, ждал его. По крайней мере, как только его ввели в зал и доложили о нем, владыка сам распахнул двери гостиной и приветливо заговорил:

— Прошу покорно, добро пожаловать, добро пожаловать. Сердечно рад вас видеть.

И, усадив дядю Никса на диван, он продолжал в том же мягком и приветливом тоне:

— Давно и очень давно желал с вами познакомиться. Много наслышался о вас хорошего. Благо тому, о ком так говорят, как о вас, особенно у нас, где ни за ум, ни за доброту хвалить не любят.

Дядя Никс кланяется, а архиерей продолжает:

— Мало у нас, очень мало умных, и еще менее добрых и благонамеренных людей на общественной деятельности, а вы не такой, не такой… Да, вы не недотрога.

Дядя Никс опять кланяется, а архиерей снова продолжает:

— Я давно интересовался вашими хлопотами о народном образовании. Могу сказать, не для вида одного занимаетесь, а действительную пользу делаете. За это вам за наш бедный темный народ поклон до земли. Но вы ведь, кроме того, и еще во многих комитетах.

— Точно так, ваше преосвященство.

— Усердны, очень усердны.

— Что делать, избирают.

— Да, да, где ни прочитаю, все вы сидите. Хвалю, очень хорошо, очень хорошо делают, что такого доступного добру человека избирают. Ну и что же у вас, например, по такому-то комитету делается?

Дядя Никс опять отвечает. А владыка далее любопытствует: как идут дела в третьем, в пятом и в десятом из тех бесчисленных комитетов, при посредстве которых таким живым ключом кипит наша смелая и оригинальная административная деятельность.

Дядя Никс обстоятельно, по всем пунктам, удовлетворил любознательность владыки и успел ему показать в этом разговоре свою сведущность, искреннее добросердечие и приятный ум. Владыка с удовольствием его слушал и не раз принимался похвалять словом.

— Одобряю вас, весьма одобряю.

А потом и сам высказал несколько замечаний, поразивших гостя не только своею глубиною и меткостью, но и благородным свободомыслием, в котором, впрочем, у русских людей не бывает недостатка, пока они не видят необходимости согласовать свои слова с делом.

Дядя Никс, конечно, знал эту черту наших

нравов и не обольщался ее проявлениями у владыки.

«Знаю я вас, — думал он, — широко ты, брат, расписываешь в том, что до тебя не касается, а небось, в чем дело к тебе клонит, так ты мне жениться не позволил, а про закон запел, да вот и о сю пору все виляешь, а о моем деле ни слова не говоришь!»

А владыка как бы прочел эти мысли на его лице и говорит:

— Ну, приятно, очень мне приятно было с вами побеседовать, а теперь позвольте же мне, ваше превосходительство, спросить: что такое у вас дома случилось неловко по женской части?

— Да, владыка… извините, что я осмелился…

— Сшалили?

— Виноват, владыка.

— Да, вчера князь налетел с этим на меня, как с ковшом на брагу, говорит, что будто вы его просили со мною на этот счет переговорить. Да ведь он на гулянках много празднословит, я, признаюсь, ему не поверил.

— Нет, это точно так, владыка.

— Вы его просили?!

— Просил, владыка.

Владыка пожал плечами и закачал головою.

— Для чего же вы это сделали?

Дядя Никс молчал.

— Ведь вы, кажется, без шуток… имеете *серьезное* намерение жениться на сестре вашей покойной первой жены?

— Да, то есть… я имею это желание, я имею в этом нужду… потому что у меня есть сиротка, который в этой женщине только мог бы найти вторую мать, но если это нельзя…

— Позвольте, позвольте, вы совершенно справедливо и совершенно основательно судите: действительно, кто же сироте по женской линии ближе тетки; но ведь такой брак у нас недозволителен.

— Я думал, что как у всех других, например у католиков и у лютеран, это не считается препятствием, так, может быть, теперь уже и у нас…

— Нет, опять позвольте… Во-первых: что такое значит это ваше *«теперь»?* В рассуждении духа времени это так, но в рассуждении правил соборных постановлений это *«теперь»* и тогда и всегда будет одно и то же. Указываете, что у инославных это позволяется, но ведь мы с вами не инославные, а православные, и, родясь в лоне православной церкви, должны знать, что этого нельзя. Зачем же вы о такой невозможности

просите?

— Извините великодушно, владыка; я вижу, что сделал непростительную глупость, и умоляю вас, не гневайтесь и простите.

— Простить извольте, прощу, потому что просящему прощения и Бог прощает, а извинить не извиню. Другому, менее вас умному человеку, я охотно бы это извинил, но вам не могу. Как, помилуйте, возможно, чтобы по этакому деликатному делу прислать ко мне, монаху, этакого бесстыжего петуха, который и без того везде орет во все горло, что у меня нет ни foi, ни poi (sic), и давно на грудь мне наступает, чтобы я закона не почитал. Помилуйте вы меня! Да к чему же мне это, и для чего нам, бедным людям, такая роскошь? Я ведь не в корпусе на Садовой улице учился, а Эврипида читал:

> *Nam si violandum est jus, regnandi gratia*
> *Violandum est, aliis rebus pietatem colas*[105]

Нарушить закон *«для того, чтобы царствовать»*, это и умные люди делали, но нарушать его для того, чтобы один действительный штатский

---

[105] Примечания: 105

Ибо если есть у тебя право нарушать закон, нарушай его для того, чтобы царствовать, а в прочих случаях будь благочестен (*лат.*).

шалун с моего разрешения на своей свояченице женился, это уже никакого резона нет.

Владыка встал с места и подал руку дяде Никсу, но не выпустил ее, а тепло придержал своею другою рукою и добавил:

— Нет, напрасно вы, напрасно прямо сами ко мне не пожаловали: я бы вам разрешения, разумеется, все равно не дал, но зато прямо бы вам объяснил, что вам мое разрешение вовсе и не нужно.

— А без разрешения ничего нельзя сделать, владыка.

— Да и я бы так думал, но мне говорили, что именно *так только и можно*, как вы сказали: «без разрешения». Я не знаю, где это, но только не раз слыхал, будто тут есть такие попы, что за пятьсот рублей вас не только на свояченице, а хоть на родной матери перевенчают. Нам ведь этого в точности не доведут, но вам-то, чай, скажут. Для чего же при таких тайностроителях в эти дела епископов путать, да еще через важных русских либералов это делать? Помилуйте… Сей род самый опасный и ничим же изымается; с ними надо очень, очень опасливо: они сами подзадорят да сами же первые и выдадут хуже школьников. До свидания. Поеду вашему покро-

вителю визит отдать.

— Сделайте милость, владыка, посетите его: он рад будет.

— Знаю… Чудак! а то подумает, что я на него сержусь, и «предупреждать» пойдет повсюду. Свистун, а мужик добрый. Будьте покойны; я сейчас ему либерального елея на самый главный винтик капну и до дна его смаслю. Бог с ним. Таких разболтаев тоже надо беречь. Он еще, может, пригодится вам на всякий случай. Храни Бог доноса, тогда умом уж ничего не возьмешь, а этакой цыцарь как раз «цыц» и выхлопочет… Прощайте, и желаю вам счастливого успеха.

Гость тронулся, но хозяин его опять придержал и добавил:

— А говорят, если здесь неустойка, то к единоверам в Молдавию хорошо съездить: там будто, говорят, никаких затруднений не знают за деньги эти православные молахи и валдахи не только на матери, а даже и на отце родном женят. Невероятно, а впрочем, чего на свете не бывает! Прощайте!

С тем дядя Никс и вышел от владыки, а через неделю после этого разговора он уже был обвенчан со своею свояченицею, и притом даже несколько меньше, чем за пятьсот рублей, и в

Молдавию не ездил.

Читателя может поинтересовать: как все это сделалось и как это вообще делается? А потому я в конце моих очерков расскажу, что мне на этот счет известно, теперь же еще два последние портрета.

Глава четырнадцатая

В Москве за несомненное рассказывают следующий характерный случай, имевший место с одним полицейским генералом у покойного митрополита Филарета Дроздова.

Генерал, обязанный блюсти благочиние столицы, не всегда хорошо знал пределы своей власти и, случалось, вмешивался куда не следовало. На это иногда жаловались или пробовали дать ему сдачи собственными средствами, но, к общему огорчению, все это выходило малоуспешно.

Генерал же от ряда таких беспрестанных удач делался смелее, и без оглядки «забывая задняя на передняя простирался», и в таком неуклонном стремлении наскочил на митрополита Филарета.

Случай этот возник с следующего повода. Довелось беспокойному генералу быть на чьих-то похоронах или по другому какому случаю заглянуть в одну из приходских церквей столицы, где его превосходительство не ждали и служили попросту, «как для христиан», то есть пели кое-как «олилюй и Господи помилюй». Служение генералу страшно не понравилось особенно со стороны

козлогласующих певцов.

Разумеется, все это могло быть совершенно основательно, потому что в приходских церквах Москвы служение часто бывает поистине *ужасное*, что и отталкивает в значительной мере раскольников, любящих уставное пение и чтение истовое. Генерал счел, что все это надо исправить, и обозначил в самом вежливом письме к митрополиту Филарету, которое и было послано по адресу без лишнего раздумья. Отправляя такое послание, генерал, конечно, был как нельзя более доволен собою, потому что делал владыке сообщение, которое того не могло не интересовать, так как касалось самых живых вопросов церковного благочиния. Генерал, знавший, быть может, очень многое в петербургском свете, откуда недавно пришел, не знал вовсе неприступной щекотливости того лица, к которому он обращался, и за то поплатился очень досадительным уроком.

Митрополит Филарет, получив генеральское письмо, возымел себя совсем не так, как предполагал и неверно рассчитывал автор. Указание на то, что где-то в московской церкви не благочинно служат и не хорошо поют, обидело владыку; он усмотрел в этом дерзость. Такие вещи он если и

терпел, скрепя сердце, от Андрея Николаевича Муравьева, то это была милость без образца, и затем он уже никак не хотел этого терпеть ни от кого другого тем более от человека военного и занимающего полицейский пост. В его глазах это имело такой вид, как будто полиция начинает вмешиваться в церковное дело, для которого в Москве не упразднена еще своя настоящая власть, сосредоточенная в крепко ее державших руках митрополита Филарета.

И вот владыка, отложив письмо на угол стола, переслушал все другие поданные ему в этот день бумаги, а потом, отпуская секретаря, указал на генеральское послание и сказал своим бесстрастным и беззвучным голосом:

— Это положить в конверт… и надписать генерал-губернатору.

Секретарь спросил, как отправить, то есть при какого содержания письме или бумаге? Но митрополит был недоволен этим расспросом и отвечал:

— Без всякой бумаги, послать просто.

Так и было послано.

Дело родилось и назревало в тиши, но вдруг и забурлило.

Генерал-губернатор (который именно, я этого

не знаю)[106], вскрыв поданный ему конверт и достав оттуда генеральское письмо к митрополиту, стал искать в пакете какого-нибудь препроводительного писания от самого владыки. По всему он имел основание предполагать, что такое писание непременно есть, но его, однако, не было. Тогда родилось другое, тоже весьма естественное в сем случае предположение, что препроводительное писание, по недосмотру или иной какой оплошности секретаря, не положено в конверт и осталось где-нибудь в митрополичьей канцелярии.

Поэтому генерал-губернатор пометил на письме карандашом: «справиться у секретаря, где бумага, при которой прислано».

Справка была сделана немедленно, и притом не письменная, а личная, через посредство одного из чиновников генерал-губернаторской канцелярии. Но тот, побывав с пакетом у митрополичьего секретаря, привез назад этот пакет без всякого восполнения и притом с странным ответом, что

---

[106] Примечания: 106

Во всяком случае, это не был Закревский, которому представлялось, что митрополит Филарет сочинил и велел читать в церквах молитву об избавлении Москвы от лютого положения, то есть от управительства Закревского. Об этом было официальное дознание, память о котором уберег будущему историку митрополит Исидор. См. список рукописей, пожертвованных высокопреосвященным Исидором Петербургской духовной академии. (*Прим. автора.*)

никакого препроводительного письма от митрополита не будет.

Опять доложили генерал-губернатору, и опять отряжен старший по чину и званию посол с посольством, имевшим прямою целью узнать: «что его высокопреосвященству угодно?» Но это новое посольство было не удачнее первого: не легко секретарь поддался просьбе спросить владыку: «что ему угодно?» через посылку упомянутого письма, да не привело ни к чему и вопрошание.

Филарет посмотрел на секретаря долгим, укоризненным взглядом и тихо молвил:

— Мне ничего не угодно.

Он был всеблажен и вседоволен, а в гражданской канцелярии генерал-губернатора от всего этого смущение только возрастало. По чиновничьему скудоверию, там находили невозможным удовлетвориться таким безмятежным ответом и считали неотразимо нужным добиться: для чего вседовольный владыка прислал это письмо и чего ему хочется? Делая такие и иные соображения, нашли наконец, что удивительное событие это всех более обязан разъяснить не кто иной, как сам полицейский генерал, который заварил всю эту кашу, бог знает зачем и для чьего удовольствия.

И, как это часто водится, прежде чем хваткий

генерал успел показаться и дать какие-нибудь разъяснения об этом беспокойном обстоятельстве, про самое обстоятельство уже меньше говорили, чем про его вздорливый нрав и его злившость, с которою он беспрестанно надоедает то одному, то другому, то пятому и десятому. И всем уже становилось радостно и мило, что вот-таки он нарвался. И с чем пристал? «Не хорошо поют!» Да ты регент, что ли, тебе какое дело? Не нравится выйди, не слушай, ступай к цыганам, там хорошо поют. А чего лезть, зачем надоедать?... Ведь это не какой-нибудь простой митрополит, а Филарет; он тайны знает; его боятся... Его только тронь, так и сам не обрадуешься. Вот и наскочил, так тебе, сорванцу, и надо! Радовались не только люди русские, которым, по справедливому замечанию Пушкина, «злорадство свойственно», но даже некий немецкий чиновник, имевший за свою солидность особый вес у начальства. Он ведал это дело, и он же сказал о нем: «нашла коза на камень», и с этою немножко измененною русскою пословицею сделал такое обобщение, что быть за все в разделке самому беспокойному полицейскому генералу.

Так и сталось.

Во утрий день, когда полицейский генерал

стал в урочный час по обычаю перед генерал-губернатором, сей последний сразу сморщился и заговорил скороговоркою и в недовольном тоне:

— Очень рад вас видеть… Вчера, почти только что вы от меня уехали, я получил конверт от митрополита. Вот он: возьмите его, пожалуйста; он здесь прислал ко мне ваше письмо, и кто его знает: зачем он его прислал? Я посылал узнавать, но ничего не узнали… Столкновение с ним всегда чрезвычайно неприятно… Кончите это, пожалуйста, как-нибудь сами.

Генерал сконфузился, и даже не на шутку, но подбодрился и, чтобы выдержать спокойный тон, спрашивает:

— Что же… мне самому прикажете съездить?

— Как хотите… Да впрочем, я не знаю, как же иначе, лучше съездите.

— Хорошо-с, я сейчас съезжу и сейчас же заеду вам сказать, если угодно.

— Пожалуйста… Как-нибудь…

— Да ведь это такие пустяки!

— Ну, однако… все-таки… пожалуйста, кончите и заезжайте.

Генерал поехал, но неудачно: вместо того чтобы получить возможность успокоить начальника, он заехал с самым коротким, но неприятным

ответом, что митрополит его *не принял*.

— Ну вот видите!

— Да он, говорят, действительно болен.

— Положим, а все-таки неприятно. Вы уже сделайте милость… постерегите… когда он выздоровеет.

— Непременно-с, непременно.

— Вы там… келейника…

— Да… я уже все сделал и *просил*.

(Вот он уже начал *просить!*)

— Но и сами… наведайтесь, когда он может.

— Я заеду, заеду.

Он два раза повторил свое «заеду», а довелось ему заехать несколько раз, потому что владыка все недомогал, а генерал-губернатор скучал, что это еще не разъяснено и не кончено.

Генералу это так надоело, что он говорил, будто уже «готов хоть пять молебнов у Иверской отпеть, лишь бы отвязаться от этого письма и от всей этой истории». И бог, который, по изъяснению Иоанна Златоустого, «не только деяния приемлет, но и намерения целует», внял нужде утесненного этими событиями генерала и воздвиг владыку с одра болезни. Под вечер одного дня дали генералу с подворья весть, что владыке лучше, а на другой день, едва его превосходительство собрался на

Самотек, как через подлежащих чинов полиции пришло дополнительное известие, что Филарет нынче утром раненько совсем выехал на лето за город к Сергию и затем в Новый Иерусалим.

Крепкий, непокладистый человек был генерал, но это уже и его вымотало. Теперь хоть и не говори ни слова, а отправляйся туда же вслед за ним к Сергию и в Новый Иерусалим. А примет ли еще он там? это опять бог весть. Скажут: устал с дороги, отдохнуть нужно, беспокоить не смеем; или говеет, к причастию готовится; или с отцом наместником заняты… Да вообще конца нет претекстам. И это такому-то человеку, который и сам кипит и любит, чтобы вокруг него все кипело и прыгало!..

Черт знает, что за глупое положение, и все из-за чистейших пустяков, и притом в правде, потому что служение он видел нехорошее, пение безобразное и хотел обратить на это внимание, так как это у него в городе.

Генерал давно уже был не рад, что он все это поднял: крепкий и крупный во всех своих неразборчивых поступках, он ослабел и обмелел от этой святительской гонки, которая так не так, еще пока и до объяснения не дошла, а уже внушала ему необходимость известной разборчивости.

Даже ухарская бодрость его подалась и спесь поспустилась до того, что он стал панибратственно спрашивать людей малых: как они думают, что лучше немедленно ли ему ехать вслед за владыкой или подождать — пусть он отдохнет, начнет служить, и тогда… прямо к обедне, да от обедни под благословение, подделаться на чашку чаю и объясниться.

Как мышь могла оказать великую услугу льву, так и тут случилось нечто малопозволительное: у мелкого человека нашлось ума и сообразительности больше, чем у крупного.

Малый советник сказал, что прямо от обедни генералу к митрополиту являться нехорошо, раз потому, что его высокопреосвященство в такую пору бывает уставши, а во-вторых, что и дело-то требует свидания тихого и переговора с глаза на глаз, «чтобы если и колкость какую выслушать, то по крайней мере не при публике».

Это было первое упомянутие о колкости, но оно было принято без удивления и без спора. Очевидно, все иначе и думать не хотели, что без колкости дело обойтись не может. Вопрос мог быть только в том: какая?

— У него ведь это все применяется, — говорили советники, — что простецу, что ученому, что

духовному, а что военному человеку… Особенно ученым строго; он вон иерея Беллюстина вызвал, посмотрел на него, да опять пешком в Калязин прогнал.

— Господи!.. это черт знает что такое… И что за мысль попа пешком гонять!

— А-а, он ученый, статьи пишет.

— Да хоть бы и какие угодно статьи писал, все же ведь он не скороход или не пехотинец.

— А Голубинского еще хуже: прямо по руке ударил: он к ученым лют.

— Ну а к военным каков, а?

Собеседники плечами пожали и говорят:

— Про военных не знаем; военных, пожалуй, не смеет.

— Ведь не может же он меня заставить идти от Сергия пешком за покаяние а? что? Я его не послушаю: сяду, да и уеду… что?

— Да, конечно нет: не смеет.

— Еще бы! пускай попов гоняет, а я не поп.

На самом же деле все это приводило генерала в большую нервность, и он, волнуясь, кипятился и попеременно призывал то бога, то черта, не зная, к кому плотнее пристать.

— Господи, что такое!.. черт бы все это драл… С коронованной особой, кажется, легче бы объ-

ясниться!

Но малый советник, до беседы с которым генерал не напрасно унизился, вывел его на хороший путь: он присоветовал генералу «сочинить» к владыке письмо и «поискательнее» просить его высокопреосвященство дозволить представиться по нужному делу, «когда он прикажет». И при всех этих варварских фразах о сочинении, искательности и приказании особенно настаивал, чтобы последняя фраза была употреблена в точности.

— А то иначе, — говорит, — он прошепчет секретарю: «напиши, я готов выслушать», а когда и где опять не доберетесь. Нет, уж лучше пусть «прикажет».

Генерал, в досаде, уже ни за что не стоял и готов был испросить себе и «приказание», но только «сочинять» ему не хотелось.

— Сделайте милость, — говорит, — черт бы все это побрал… Господи! напишите, пожалуйста, как это по-вашему нужно, я все подпишу.

— Нет, говорят, тут нельзя «подписать», а надо своею рукою написать, или переписать, да еще почище хорошенько.

— Да у меня, говорит, почерк скверный.

— Надо постараться.

— Ах ты господи!.. ну да черт с ними, со всеми этими делами; сочините мне, пожалуйста, я перепишу.

И он сдержал свое слово переписал. Он взял черновое домой и хотя вначале сильно его критиковал и называл «хамским», но дома переписал его сполна и очень хорошо: буквы были все аккуратно дописаны, строчки прямы, очевидно, выведены по транспаранту, а внизу подпись со всяким почтением, покорною преданностью, поручением себя отеческому вниманию и архипастырским молитвам и просьбою о его владычном благословении. Словом, сделано как подобает.

Письмо, в видах наибольшой аттенции, а может быть, и ради вернейшего получения скорого ответа, послано не по почте, а с нарочным, из сорока тысяч курьеров, готовых скакать во все стороны по манию каждого начальника в России.

Ждут ответа. Ждет сам генерал, поминая то бога, то черта. Ждут и его подчиненные, которым казалось, что он им уже «протоптал голову вдоволь».

Здесь среди этих форменных людей, в которых, несмотря на всю строгость их служебного уряда,

все-таки билось своим боем настоящее «истинно русское сердце», шли только тишком сметки на свойском жаргоне: «как тот нашего: вздрючит, или взъефантулит, или пришпандорит?»

Слова эти, имеющие неясное значение для профанов, для посвященных людей содержат не только определительную точность и полноту, но и удивительно широкий масштаб. Самые разнообразные начальственные взыскания, начиная от «окрика» и «головомойки» и оканчивая не практикуемыми ныне «изутием сапога» и «выволочки», все они, несмотря на бесконечную разницу оттенков и нюансов, опытными людьми прямо зачисляются к соответственной категории, и что составляет не более как «вздрючку», то уже не занесут к «взъефантулке» или «пришпандорке». Это нигде не писано законом, но преданием блюдется до такой степени чинно и бесспорно, что когда с упразднением «выволочки» и «изутия» вышел в обычай более сообразный с мягкостью века «выгон на ять голубей гонять», то чины не обманулись, и это мероприятие ими прямо было отнесено к самой тяжкой категории, то есть к «взъефантулке». Владыка, однако, не мог же иметь такого влияния, чтобы «сверзнуть» генерала или сделать ему другую какую-ни-

будь неприятность, а он просто его не более как «вздрючит», но, конечно, в лучшем виде.

Посол возвратился на другие сутки. Ему довелось переночевать у Сергия, но зато он привез ясный ответ на словах, что его высокопреосвященство может принять генерала.

— Когда же?

— Когда угодно.

— Я поеду завтра.

Так и решено было ехать завтра.

Генерала проводили, и когда поезд отъехал, то, смеясь в кулак, проговорили:

— Напрасно ты, брат, перемены белья с собой не захватил.

Между тем, ко всеобщему удивлению, генерал возвратился в Москву раньше вечера и был очень жив, скор и весел. Он тотчас же поспешил успокоить генерал-губернатора, что они с митрополитом объяснились, и дело это теперь кончено.

— Я доказал ему, что я прав, и он согласился и просил вам кланяться.

Тот был доволен, но подчиненные, которым никак не хотелось такого окончания, не верили, чтобы дело обошлось без вздрючки. Краткое сказание: «я доказал ему, что я прав, и он согласился»,

малодушным людям казалось как-то неподходящим. Выходило это как-то очень уж кратко и не имело на себе, так сказать, никакого облика живой правды. Как он это доказывал, что поп дурно служил и дьячки нехорошо пели? Разве попа и дьячков туда тоже выписывали? Нет, этого не было и не могло быть, во-первых, потому, что это дало бы делу такое положение, что митрополит все-таки придал какое-нибудь значение письму генерала, а во-вторых, этого не могло быть просто потому, что владыка не знал, когда прискачет к нему генерал с своим объяснением. Не мог же он содержать при себе упомянутого попа и дьячков, про всякий случай, по вся дни. Да и все это было бы совсем не по-филаретовски. Нет, молодшие люди имели крепкое подозрение, что генерал митрополиту ничего не доказывал, потому что ему еще никто никогда не доказал ничего такого, что он сам не хотел считать доказанным, а просто генерал вытерпел у него неприятную минуту, но как ею кончается вся эта долгая возня, то он и рад, и опять прыгает и носится. А доказать митрополиту нельзя, нельзя потому, что он такие дарования и способы имеет сразу самого доказательстного человека взять и отсадить от его доказательств. И отсадить в самый дальний угол, где тот даже и

сам себя не сразу узнает.

И вот эти-то приемы его очень интересны, как он это выведет так, что прав — неправ, а сказать нечего. И все это непременно было с генералом, но как же это было? как владыка его вздрючил и как тот извивался? Это положили узнать. А взялся за это некто близкий по своим связям с какою-то «профессориею», а та профессория знала еще кого-то, через которого доходили прямо до самого близкого человека. И, когда весь этот порядок был ловко и ухищренно пройден, то результат превзошел все ожидания.

Вот верное сказание о том, как объяснялся генерал с митрополитом.

Владыка, зазвав гостя в отдаленные Палестины, был внимателен к его приезду и не заставил его ожидать. Пожаловал генерал, доложили митрополиту, он и вышел: по обычаю своему не велик, нарочито худ, а из глаз, яко мнилося, «семь умов светит».

Разговор у них вышел недолгий и, все объяснение, до которого генерал достиг с таким досадительным трудом, свертелося вкратце.

— Чем позволите служить? — начал шепотом владыка.

Генерал отвечал обстоятельно.

— Так и так, ваше преосвященство, я был случайно месяц тому назад в такой-то церкви и слышал служение… оно шло очень дурно, и даже, смею сказать, соблазнительно, особенно пение… даже совсем не православное. Я думал сделать вам угодное довести об этом до вашего сведения, и написал вам письмо.

— Помню.

— Вы изволили отослать это письмо для чего-то к генерал-губернатору, но ничего не изволили сказать, что вам угодно, и мы в затруднении.

— О чем?

— Насчет этого письма, оно здесь со мною.

Генерал пустил палец за борт и вынул оттуда свое письмо. Митрополит посмотрел на него и сказал:

— Позвольте!

Тот подал.

Филарет одним глазом перечитывал письмо, как будто он забыл его содержание или только теперь хотел его усвоить, и, наконец, проговорил вслух следующие слова из этого письма:

— «Пение совершенно не православное».

— Уверяю вас, ваше высокопреосвященство.

— А вы знаете православное пение?

— Как же, владыка.

— Запойте же мне на восьмой глас: «Господи, воззвах к тебе».

Генерал смешался.

— То есть… ваше высокопреосвященство… Это чтобы я запел.

— Ну да… на восьмой глас.

— Я петь не умею.

— Не умеете; да вы, может быть, еще и гласов не знаете?

— Да я и гласов не знаю.

Владыка поднял голову и проговорил:

— А тоже мнения свои о православии подаете! Вот вам ваше письмо и прошу кланяться от меня генерал-губернатору.

С этим он слегка поклонился и вышел, а генерал, опять спрятав свое историческое письмо, поехал в Москву, и притом в очень хорошем расположении духа: так ли, не так ли, противная докука с этим письмом все-таки кончилась, а мысль заставить его, в его блестящем мундире, петь в митрополичьей зале на восьмой глас «Господи, воззвах к тебе, услыши мя» казалась ему до такой степени оригинальною и смешною, что он отворачивался к окну вагона и от души смеялся, представляя себе в уме, что бы это было, если бы эту уморительную штуку узнали друзья,

знакомые и особенно дамы? Это очень легко могло дойти до Петербурга, а там какой-нибудь анекдотист расскажет ради чьего-нибудь развлечения и шутя сделает тебя гороховым шутом восьмого гласа.

И он не раз говорил «спасибо» митрополиту за то, что при этом хоть никого не было.

Но, однако, как «нет тайны, которая не сделалась бы явною», то нерушимое слово Писания и здесь оправдалось. Вскоре же все в Москве могли видеть независтную гравюрку, которая изображала следующее: стоит хиленький старичок в колпачке, а перед ним служит на задних лапах огромнейший пудель и держит на себя в зубах хлыст. А старец ему говорит:

«Служи (собачья кличка), но на мой двор не смей лаять. А то я заставлю тебя визжать на восьмой голос».

Такова или сей подобна была подпись под картинкою, которая вначале показалась многим совсем неостроумною и даже бессмысленною; а потом, когда разведали, в чем тут соль, тогда уже немногие экземпляры картинки сделались в большой ценности.

Когда именно, в каких городах и при каких правительственных лицах имело место это

происшествие, не знаю. Филарет Дроздов на московской кафедре пропустил мимо себя не одного генерал-губернатора, а полицейских генералов еще более, но сказание это надо считать несомненно верным, потому что о нем мне и другим приходилось слышать от нескольких основательных людей, да и картинка тоже даром появиться не могла.

Глава пятнадцатая

Был кавалерийский генерал Яшвиль. Он умер после окончания последней турецкой войны, которую тоже делал. Это был замечательный человек по складу ума, складу привычек и складу фигуры; он же обладал и красноречием, притом таким, какому в наше стереотипное время нет подобного. Он был человек большой, сутуловатый, нескладный и неопрятный. Лицо имел самое некрасивое, монгольского типа, хотя происходил из татар. По службе считался хорошим генералом и шел в повышения, но в отношении образованности был очень своеобразен: литература для него не существовала, светских людей он терпеть не мог и на этом основании избегал даже родственников по жениной линии. Особенно же не любил балов и собраний, на которых притом и не умел себя вести. Рассказывали случай, что однажды, подойдя к вазам с вареньем, он преспокойно выбрал себе пальцами самую приглядную ягоду, пальцами же положил ее себе в рот и отошел от стола, не обращая ни на кого внимания. Быть с ним в обществе одни считали мучением, другие же хотя и переносили его, но более ради того,

чтобы за ним подмечать его «деликатности». Но в своем в военном деле он был молодец, хотя тоже все с экивоками. Подчиненные его ни любили, ни не любили, потому что сближение с ним было невозможно, а солдаты его звали «татарином». Но мы имеем дело только до его красноречия.

Военное красноречие генерала Яшвиля, как выше сказано, было оригинально и пользовалось широкою и вполне заслуженною известностью. Оно и в самом деле, как сейчас убедится читатель, имело очень редкие достоинства. У меня есть один образец речей этого военного оратора притом образец наилучший, ибо то, что я передам, было сказано при обстоятельствах, особенно возбуждавших дух и талант генерала Яшвиля, а он хорошо говорил только тогда, когда бывал потрясен или чем-нибудь взволнован.

Генерал Яшвиль занимал очень видное место в армии. У него было много подчиненных немелкого чина, и особенно один такой был в числе полковых командиров, некто Т., человек с большими светскими связями, что Яшвиля к таким людям не располагало.

Неизвестно, каких он любил, но таких положительно не любил.

Была весна. Хорошее время года, а тем больше

на юге. Генерал предпринял служебное путешествие с целью осмотреть свои «части». Он ехал запросто и с одним адъютантом.

Приехали в город, где стоял полк Т., и в тот же день была назначена «выводка».

Дело происходило, разумеется, на открытом месте, невдалеке за конюшнями. Офицеры стоят в отдалении на обозревательном пункте только трое: генерал Яшвиль, у правого его плеча его адъютант, а слева, рядом с ним, полковой командир Т.

Выводят первый эскадрон: лошади очень худы.

Яшвиль только подвигал губами и посмотрел через плечо на адъютанта.

Тот приложил почтительно руку к фуражке и общей миной и легким движением плеч отвечал, что «видит и разумеет».

Выводят второй эскадрон еще хуже.

Генерал опять полковому командиру ни слова, но опять оглядывается на адъютанта и на этот раз уже не довольствуется мимикой, а говорит:

— Одры!

Адъютант приложился в знак согласия.

Полковник, разумеется, как на иголках, и когда вывели третий эскадрон, где лошади были еще худее, он не выдержал, приложился и говорит:

— Это удивительно, ваше сиятельство… никак их нельзя здесь ввести в тело…

Яшвиль молчал.

— Я уже, — продолжал полковник, — пробовал их кормить и сечкою и даже… морковь…

При слове «морковь», в смысле наилучшего или целебного корма для лошадей, генералу показалось, что это идет как будто из Вольного экономического общества или другого какого-нибудь подобного оскорбительного учреждения, и генерал долее не выдержал. Его тяжелый, но своеобразный юмор и красноречие начали действовать он обернулся снова к командиру и сказал:

— Морковь… это так… А я вам еще вот что, полковник, посоветую: попробуйте-ка вы их овсом покормить.

И с этим он повернулся и ушел, не желая смотреть остальных «одров», но назавтра утром назначил смотреть езду. Лег он недовольный и встал недовольный, а при езде пошли такие же неудовлетворительности. Генерал и закипел и пошел все переезжать с места на место что у него выражало самую большую гневность, которой надо было вылиться в каком-нибудь соответственном поступке: изругать кого, за пуговицу

подергать или же пустить такой цвет красноречия, который забыть нельзя будет.

Дела пошли так, что командир сам подал ему повод к последнему, и живой дар генерала начал действовать.

Как вчера полковник пустил себе на выручку морковь, так теперь он хотел найти оправдание в молодости эскадронных командиров. Генералу всякого повода к речам было довольно, а этого даже с излишком. Услыхав, что вся беда в том, что молоды офицеры, он отскочил на своей лошади в сторону, сделал свою обыкновенную в гневном времени гримасу и страшным громовым голосом, долетавшим при расстановках до последнего фурштата, заорал:

— Вздор говорить изволите!.. Что это еще за манера друг на друга ссылаться-я-я!.. Полковой командир должен быть за все в ответе-е-е! Вы развраты этакие затеваете-е-е-е!.. По-о-лко-вой командир на эскадронных!.. А эскадронные станут на взводных. А… взво-одные на вахмистров, а вахмистры на солдат… А солдат-ты на Господа Бога!.. А Господь Бог скажет: «Врете вы, мерзавцы, я вам не конюх, чтобы ваших лошадей выезжать: сами выезжайте!»

Это было начало и конец краткой, но, как мне

кажется, очень энергической речи. Генерал уехал, а офицеры долго еще были в недоумении: как же это возможно, до чего стал доходить в своем гневе Яшвиль? Особенно этим был поражен один молодой офицер из немцев, у которого хранились добрые задатки религиозных чувств. Ему казалось, что после такой выходки Яшвиля он, как христианин, не может более оставаться на службе под его начальством.

Он думал об этом всю ночь и утром, чисто одевшись, поехал потихоньку к архиерею, чтобы ему, как самому просвещенному духовному лицу в городе, рассказать все о вчерашней речи и просить его мнения об этом поступке.

Архиерей принял и терпеливо выслушал корнета, но с особенным вниманием слушал воспроизведение офицером на память генеральской речи. И по мере того как офицер, передавая генеральские слова, все возвышал голос и дошел до «господа бога», то архиерей, быстро встав, взял офицера за обе руки и проговорил:

— Видите, как прекрасно! И как после этого не сожалеть, что духовное ораторство у нас не так свободно, как военное! Почему же мы не можем говорить так вразумительно? Отчего бы на текст «просящему дай» так же кратко не сказать

слушателям: «Не говори, алчная душа, что „Бог подаст“. Бог тебе не ключник и не ларешник, а сам подавай…» Поверьте, это многим было бы более понятно, чем риторическое пустословие, которого никто и слушать не хочет.

Глава шестнадцатая

К сказанному не излишним будет прибавить о том, как иные из наших владык внимательны к политике, литературе, новым открытиям и проч. Хороший материал для этого мы имеем в «Списке рукописей, пожертвованных его высокопреосвященством митрополитом Исидором в библиотеку С.-Петербургской духовной академии». Об этом митрополичьем даре было довольно говорено газетами в свое время, причем было объяснено, что подаренные рукописи не могут быть предметом исследования и критики по жизнь их жертвователя. Но и самое содержание рукописей, даже по заглавиям, оставалось до сих пор неизвестным, хотя это, с одной стороны, очень интересно, а с другой нимало не нарушает условий жертвователя, ибо не может быть почитаемо за разработку. Поэтому, встретив редкий список (отлитографированный только в числе пятидесяти экземпляров), я не захотел расстаться с ним, не сделав из него небольших выписок, которые, мне кажется, должны заинтересовать любителей русской давней и недавней старины. Должны они быть любопытны также и для таких людей,

которым небезынтересно само лицо дарителя.

Вот из чего, судя по списку, состоит, между прочим, дар митрополита Исидора Петербургской духовной академии:

Уроки профессора академии архимандрита Иннокентия (архиепископа херсонского) по общему богословию 293 л.

Его же, уроки по догматическому богословию 188 л.

Его же, уроки по практическому богословию 327 л.

Его же, учение о таинствах церкви 139 л. (Возможно думать, что это те самые знаменитые лекции, которыми когда-то хвалились слушатели Иннокентия. Их ждали видеть в собрании сочинений этого автора, но этому что-то помешало.)

Сорок шесть писем князя Голицына к архимандриту Фотию и двенадцать писем к графине А. А. Орловой-Чесменской. (Материал никогда не ослабевающего интереса.)

Донесение Нила, архиепископа ярославского, в Св. Синод о чудесном поднятии крышки у раки преподобного Сильвестра Обнорского, с просьбою совета по этому случаю и разрешения крестного хода и канонизации службы святому. (Вдвойне интересный материал, как по самому чудесному

происшествию с поднимающейся крышкою, так и по отношению к этому делу знаменитого в своем роде архиепископа Нила — автора исследования «О буддизме»).

Краткое изложение хранящихся в Белогородском монастыре подлинных записок о чудотворениях Иоасафа. (По народной молве, усопший Иоасаф Горленко есть тот очередной святой, мощи которого должны быть открыты первыми после мощей преподобного Тихона Задонского. Отсюда понятно, какой интерес для церкви должно сосредоточивать в себе это «изложение».)

Донесение Христофора, высокопреосвященного вологодского, о необыкновенном приключении с крестьянкою-девицею Агафьею, летаргическом сне, принятом за чудо.

Ответное письмо протоиерея Иосифа Васильева на вопросы, предложенные ему графом Павлом Дмитриевичем N. по поводу присоединения аббата Гетте. (Снова интереснейшее обстоятельство, в оценке которого до сих пор нет чего-то самого важного.)

Рассказ дедушки Алексея Васильевича Первого, почти современника св. Тихона, о некоторых частных фактах из жизни св. Тихона.

Оправдательное письмо М. П. Погодина к

министру народного просвещения по поводу признания его статьи во 2 № газеты «Парус» неблагонамеренною и прекращения издания.

Сведения об убийствах евреями христиан для добывания крови.

Мнение председателя цензурного управления о распространении у нас брошюры о непорочном зачатии девы Марии (1830 года).

Список сочинениям богословского и отчасти политического содержания, привезенным из Варшавы в 1833 и 1834 годах.

Приказ новороссийского генерал-губернатора жителям, называемым духоборцами, о возвращении в лоно православной церкви или о переселении в другие места жительства.

Судебный допрос некоторых из сектантов «Общей» секты (из молокан).

О сектаторе Лукьяне Петрове писано собственноручно митрополитом Исидором.

Донесение подполковника Граббе о новопоявившейся секте, отвергающей храмы, посты, праздники, таинства и не признающей власти. (Это особенно интересно в том отношении, что, по мнению людей, знающих толк в русских ересях и расколах, у нас нет ни одной секты, которая бы «не признавала властей», что, впрочем, и

невозможно для христианина какого бы то ни было толка.)

Мысли о народе, называемом ингилайцами, которых предки были христиане.

Сведения о Евангелиях, записанные (митрополитом Исидором) после разговора с сыном владетельного князя Сванетии Мих. Дадишкилиани.

Высшая администрация русской церкви, сочинение архиепископа Агафангела о незаконности и ошибочности принципов, положенных в основании церковно-административных учреждений. (Это тот самый архиепископ, который один решился открыто противодействовать церковно-судебной реформе, как ее проводил обер-прокурор гр. Д. А. Толстой.)

О влиянии светской власти на дела церковные.

Продолжение сочинения архиепископа Агафангела: в чем должно состоять высшее управление отечественной церкви. (Эти труды преосвященного Агафангела непременно должны быть подвергнуты обстоятельной критике, так как автор их, при отличавшей его односторонности, был, однако, знаток этого еще не успокоившегося вопроса, и, что не часто случается с духовными

писателями нашего времени, он, будучи архиереем, в последние годы своей жизни говорил прямо и откровенно, не преклоняясь ни семо, ни овамо.)

Записка обер-прокурора синода графа А. П. Толстого о подчинении церкви контролю в хозяйственном отношении. Писано собственноручно митрополитом Исидором.

Рассмотрение записки под заглавием «Вдовство священников». (Самый больной вопрос вдовствующих клириков.)

Отношение обер-прокурора графа Д. А. Толстого к митрополиту Исидору о назначении последнего членом комиссии по вопросу о порядке разрешения жалоб на решения Св. Синода по делам, подлежащим его ведению. (Жалобы на Синод, единолично приносимые митрополиту, состоящему членом того же самого синода!.. Невозможно уразуметь: какой это должно обозначать порядок?)

Записка «по вопросу возражений (!) на предположенное учреждение в Петербурге православного братства».

Выписка из отношения министра внутренних дел о неудобстве вышеуказанного братства.

Выписка из отношения главного начальника

III отделения собственной его императорского величества канцелярии о неудобстве того же братства. (Все эти три документа получают особенный интерес ввиду нынешнего протестантского настроения общества, при котором союзы православных уже дозволяются, но, быть может, уже несколько поздно.)

Письмо нантского епископа Жаконэ к протоиерею Иос. Васильеву по вопросу о зависимости русской церкви от императора.

О тождестве бежавшего в Нью-Йорк иеродиакона Агапия с автором (какого-то) письма. Подробные сведения об иеромонахе Агапии.

Секретное донесение архиерею рядового С. Кулышева о заказе ему типографского станка для печатания противоправительственных сочинений и о снабжении его неизвестными ему лицами сочинениями такого же характера: «Что нужно народу», «О сокращении расходов царского величества» и т. п. (Это дело, интересное само по себе, не менее интересно в том отношении: почему солдат, которому сделали упомянутый заказ, обратился с своим доносом не к гражданским властям и не к жандармскому офицеру, а к местному епископу? Все это возбуждает интерес к личному составу властей, которые тогда правили

в Перми.)

«Объяснение с публикой». Программа действий революционного кружка.

О влиянии светской власти на дела церковные.

«Тайна», или секретная апология архимандрита Фотия императору Александру I (рукопись на 158 л.).

Письмо протоиерея М. Ф. Раевского (из Вены) к митрополиту Исидору по поводу замеченного сближения сербских и болгарских воспитанников в Киеве с поляками и о вредных следствиях этого сближения (М. Ф. Раевский, наш венский священник, которому приписывают много политических дел между славянскою молодежью, лицо, небезынтересное на краткий час для историка, а быть может, еще более для сатирика. О. Раевский был обильно прославляем за тонкость, что до сих пор и составляет самую выступающую черту его священства.)

Славянофилы на Востоке.

Письмо архимандрита Леонида о духовном состоянии русских богомольцев в Иерусалиме.

Письмо с препровождением жесткой статьи одной греческой газеты против вселенского патриарха.

Донесение подробное о болгарском вопросе.

Письмо посланника французского по поводу брака его слуги.

Письмо Тишендорфа с препровождением его труда VII édition de Nouveau Testament[107].

Письмо его величества императора русского к султану турецкому о венгерских мятежниках, бежавших в Турцию.

Речь государя Николая Павловича к епископам польским и русским, приглашенным из Польши в Петербург. Писано собственноручно митрополитом Исидором.

Изложение некоторых обстоятельств, обнаруживающих невыгодное отношение закубанцев к русскому правительству. Писано собственноручно митрополитом Исидором.

Последствия неблагоразумного управления генерала Пулло и особенно генерала Засса — восстание чеченцев, черкесов, бегство многих в горы, даже таких, которые более пятидесяти лет были верны русскому правительству. Писано высокопреосвященным Исидором.

Стихотворение Кукольника в виду Крымской войны.

---

[107] Примечания: 107

VII издание Нового завета (*франц.*).

Письмо генерала Муравьева к генералу Ермолову из крепости Грозной о положении края и мысли о началах управления.

О чрезмерной жадности греческого духовенства и симонии (1860 г.).

Заметка, содержащая недовольство кавказцев, особенно войска, на письмо Муравьева к Ермолову. Писано высокопреосвященным Исидором.

Особенно замечательные случаи действия благодати божией чрез митрополита московского Филарета, бывшие при его жизни. (Известно, что на надгробии митрополита Филарета Дроздова выставлено «св.» или «свят.» это в сокращении должно выражать святитель, но как народ мало употребляет слово «святитель» и оно ему не приходит в голову, то большинством это неудачное сокращение признается за сокращение слова «святой». Для других же, каковы, например, наши спириты, почти повсеместно чествующие митрополита Филарета Дроздова, неловкость в сокращении здесь признается за «знак воли божией», которая таким проявлением предупредила замедляющуюся канонизацию покойного. По народным толкованиям, которые так не так надо считать мнениями, прежде Филарета могут быть открыты мощи только одного Иоасафа бе-

логородского, а почивающий в Киево-Печерской лавре Павел, епископ тобольский (Конюшкевич), должен уступить свой ряд Филарету и стать на дальнейшую очередь. В одном Новгороде только надеются, что прежде всех должны быть открыты мощи Фотия, но этому будто сильно мешает то, что нельзя различить: от кого идут чудеса от Фотия или от почивающей с ним рядом графини Орловой? Отличить это трудно, потому что чудеса совершаются при обоих гробах, стоящих рядом, а разъединить их нельзя, и потому надо ждать особого знамения, которого и ждут. Впрочем, сильное распространение в последние годы Св. Писания, обратившее внимание простонародья от людей, о которых им много натолковано, прямо ко Христу, о котором они до сих пор были только слегка наслышаны, до того сильно изменило религиозное настроение русских умов, что в спорах о канонизации новых святых замечается гораздо менее страстности. Мысль о Христе начинает преобладать даже над почивающими в сребропозлащенных гробах Фотия и его послушной графини.)

Много писем митрополита Филарета Дроздова, из коих некоторые писаны по общеинтересным вопросам, а два приводят в некоторое недо-

умение. Это, во-первых, не письмо, а «список с отношения к московскому генерал-губернатору по поводу слуха, что в церквах Москвы читается особая молитва об избавлении от того положения, в котором она находится». А второе письмо «о незаконном, причиняющем соблазн действовании духовного цензора в Петербурге». (Первое, вероятно, относится к тому времени после закрытия библейского общества, когда прозорливым умам казалось кстати поприсмотреть за митрополитом Филаретом, как бы он, при окружавшем его народном уважении, не воспользовался этим и не «воздвиг чего-нибудь через церковь». Это чрезвычайно интересно уже потому, что мысль о возможности такого поступка долго не оставляла многих людей самого первого сорта.)

Легко может быть, что не лишены общего исторического интереса и другие нумера этого митрополичьего дара, которые мы здесь не поименовали единственно потому, что заглавия их показались нам менее интересными. Но, кроме ценности, какую имеет весь этот дар сам по себе, он очень дорог и для характеристики самого дарителя. Жизнь наших владык течет так «прикровенно», что едва о некоторых из них можно узнать и сберечь для истории что-нибудь образ-

ное и живое. В древности их жизнеописания были похожи более на жития, а позже стали походить на послужные списки, из которых ничего или почти ничего не извлечешь для истории. Не больше того усматриваем и в самых поздних некрологах, где уже, впрочем, стали иногда на что-то намекать. Был больше суров или меньше суров владыко, постился ли он и молился больше или меньше и в этом почти все. Исключения очень редки, но и эти исключения не обильны фактами. Биографии даже таких людей, как Платон Левшин, Евгений Болховитинов и Иннокентий Борисов, скудны: нет в них именно тех мелочей жизни, в которых человек наиболее познается как живой человек, а не формулярный заместитель уряда чиновник, который был, да и умер, а потом будет другой на его место все равно какой. Правильно и основательно говоря, надо сознаться, что русские своих архиереев совсем не знают: в городе с владыкой знакомы некоторые власти, среди коих не всегда находятся люди самые теплые к вере, да духовенство, у которого отношение к архиерею особое. Народ же совсем архиерея не знает, да им и не интересуется, потому что ему давно стало «все равно», что делается в церкви, и он выразил это в присловии: «нам

что ни поп, тот и батька» (это у наших лицемеров и ханжей называется «богоучрежденным порядком»). Между тем в числе наших архиереев есть люди замечательного ума и иногда удивительного сердца. (Припомним архиепископа Димитрия Муретова и состоящего не у дел епископа Ф.) Знать о таких и им подобных людях возбудительнее, чем читать иные старые сказания, риторическая ложь которых давно обличена и не перестает обличать себя во всяком слове. Чтобы изолгавшиеся христопродавцы не укорили нас в легкомыслии и «подрывании основ», скажем, что это не наша мысль или не исключительно наша: мы встречаем ее, например, даже у Эбрарда (Апологетика, перевод протоиерея Заркевича 1880 г., стр. 598). «Если предложить вопрос о том, что служит доказательством (христианства), то это доказательство можно заимствовать собственно не из истории христианских обществ, а исключительно только из жизнеописаний частных лиц в христианстве, в которых Евангелие проявило себя как силу Божию». А где же, кажется, и искать бы проявлений этой силы, как не между теми, которые первенствуют в церкви? И вот тут-то, как нарочно, и приложена превосходно кем-то подмеченная манера «манервирования» святителей,

то есть манера представлять их получившими все совершенства, не возрастая и не укрепляясь, они будто так прямо и являются полными всех добродетелей «от сосцу матерне». Некоторые из них даже не сосали по средам и пятницам материнской груди… Результат этого перед нами налицо…

Где всему легко верят, там легко и утрачивают *всякую веру*.

Литературный дар высокопреосвященного Исидора до известной степени иллюстрирует особу нашего петербургского митрополита, которого вообще считают человеком опытным в жизни и благожелательным. Рассматривая этот список, мы проникаем, так сказать, в некую сокровенную сень и узнаем, что наиболее интересовало и занимало высокопреосвященного Исидора, узнаем, что он не пренебрегал весьма разнообразными сведениями и даже, очевидно, думал об очень многом, не составляющем его прямых обязанностей. О нем всегда говорили, что он неутомимый читатель. Значительное количество времени митрополита берет ежедневное чтение газет, в которых он следит за обсуждением разных вопросов, и между прочим церковного. Было известно, что он не остается равнодушным к заявлениям пе-

чати и настолько терпим ко мнениям, что очень в редких случаях жалуется на печать. Сколько известно в литературном кружке, такой, едва ли не первый и не последний, случай был не так давно по поводу диссертации одного молодого университетского профессора, разбиравшего легенду о св. Георгии. Диссертация была из наилучших и составляет дорогой и самостоятельный вклад в нашу литературу, но, разумеется, взгляд ученого, основанный на неопровержимых фактах, и взгляд лица, обязанного во что бы ни стало защищать предания, хотя и освященные временем, но совершенно рассыпавшиеся под методическою силою настоящей, научной критики, сойтись не могли, и наш митрополит протестовал, но совершенно безвредно и даже беспоследственно. Замечательное исследование молодого ученого о легенде св. Георгия напечатано в министерском журнале, а в науке неудовольствие митрополита не получило значения. Но во многих случаях, когда печать указывает что-либо дурное в церковном управлении, митрополит не пренебрегает это поправить, притом всегда без шума и непременно без резкостей, которых не одобряет его благожелательное настроение. Но из того, что высокопреосвященный Исидор имел охоту и уди-

вительное терпение собственноручно списать, можно заключить, что его внимание особенно часто было привлекаемо делами политики, прямого касательства к которой он по сану святителя не имел и, стало быть, занимался ею прямо con amore[108]. Некоторые списки, сделанные его рукою, заставляют еще более удивляться трудолюбию его высокопреосвященства, потому что их оригиналы сохранены нам печатью. Таковы, например, значащиеся под № 232 «Выписка из газеты: „Kurier Wilenski“[109] о собрании раввинов во Франкфурте-на-Майне». № 233 «Заметка о числе и составе европейского народонаселения в Алжире, из „Morning Chronicle“[110].» «О числе жителей по всей земле по верам», из газеты «Золотое руно» аббата Лакордера, об увеличивающемся в Париже числе самоубийств, найденышей и умалишенных, из газеты «Correspondant»[111]. «Россия

---

[108] Примечания: 108
Из любви к искусству (*лат.*).

[109] Примечания: 109
«Виленский курьер» (*польск.*).

[110] Примечания: 110
«Утренняя хроника» (*англ.*).

[111] Примечания: 111
«Корреспондент» (*франц.*).

и Запад», из газеты «Independence Belge»[112]. Есть даже списки статей русских газет, например статьи «Московских ведомостей» из № 11, 1855 года. Владыку, как надо судить по выпискам, занимали также и другие вопросы: его занимали труды Песталоцци, Нимейера, Коверау и Дистервега, а также пресловутый в свое время Шедо-Ферротти, «неправильные действия австрийского главнокомандующего Гайнау» и «удивительные действия зерен белой горчицы», а потом вопрос Кобдена: «Что же далее?» Словом, необыкновенная пестрота, в которой своя доля внимания дана вопросам самым разносторонним…

Говоря об этом списке, который хотя отчасти открывает перед нами кабинетную жизнь первого духовного сановника русской церкви, которого удается видеть только в сакосе и митре или в запряженной цугом карете, мы должны упомянуть и о том, что в большинстве случаев архиерейские бумаги обыкновенно тотчас после кончины их владельца «обеспечиваются», и рука исследователя до них добирается очень не скоро, а до иных даже и вовсе не добирается. А потому, если бумаги, подаренные митрополитом Исидором

---

[112] Примечания: 112
«Независимая Бельгия» (*франц.*).

академии, составляют (как надо думать) только часть его архива, то и тогда следует быть ему благодарным, что он сам, по собственному почину, устроил так, чтобы они стали доступны истории и критике без напрасной траты многого времени. Но пока что (дай бог еще многих лет жизни митрополиту Исидору) одно поверхностное знакомство с его литературным даром, конечно, многих должно удивить: сколько наш ныне уже ветхий и достопочтенный старец хранил в себе постоянно живой способности интересоваться предметами, которые интересуют не всякого из лиц его положения. Это во всяком случае значит жить со своим веком и аскетическое неведение о нем не считать лучшим достоинством церковного правителя. В таком взгляде, кажется, нет ни малейшей ошибки.

Таким образом, при этих слабых данных мы все-таки находим некоторую возможность дать самому отдаленному читателю некоторое свободное очертание лица, имеющего несомненно историческое значение, потому что митрополит Исидор давно стоит во главе управления нашей церкви, и притом в ту пору, когда она и лиходеям и доброжелателям стала часто представляться в состоянии, похожем на разложение, или, точнее

сказать, в *кризисе*, который, впрочем, переживает все церковное христианство.

Впервые опубликовано: газета «Новости», 1878.